

Вадим Козовой

# ВЫЙТИ ИЗ ПОВИНОВЕНИЯ

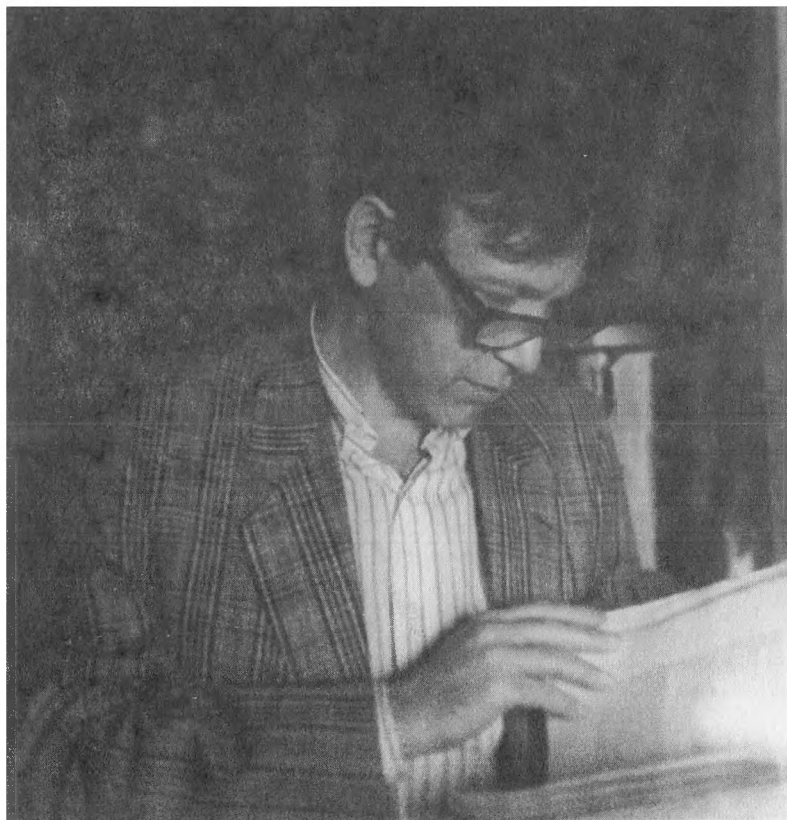
ВЫЙТИ ИЗ ПОВИНОВЕНИЯ

ПИСЬМА  
СТИХИ  
переводы



Н.Б.Тол

Здесь крупницы той самой прозы,  
которая предписана и запущена всем  
моим предшествовавшим... это лишь набросок,  
но если бы такие наброски собрать -  
СЛЕД ДВУХ ПРОШЕДШИХ ЛЕТ.



Вадим Козовой

**ВЫЙТИ  
ИЗ ПОВИНОВЕНИЯ**

письма  
стихи  
переводы



МОСКВА  
Прогресс-Традиция

УДК 882-1

ББК 84.5

К 55

Составитель, автор предисловия  
и комментариев *И. Емельянова*  
Художник *А. Орешина*  
Редактор *Л. Павлова*

### **Козовой В.**

К 55 Выйти из повиновения. Письма, стихи, переводы. — М.: Прогресс-Традиция, 2005. — 376 с.

ISBN 5-89826-233-4

Вадим Козовой (1937–1999) — русский поэт, переводчик, эссеист, провел шесть лет в советском Гулаге. В 1981 году ему пришлось сделать тяжкий выбор — «выйти из повиновения»: находясь во временной поездке во Франции, он решает остаться там навсегда. О первых годах (1981–1982) мучительного вживания в другую иноязычную культуру, о попытках «стать мостом» между двумя великими литературами рассказывает он в своих письмах-дневниках.

Кроме писем в сборник входят стихи В. Козового, отобранные им самим для книги «Прочь от холма», прекрасные иллюстрации к которой сделал когда-то Анри Мишо. Последняя крупная переводческая работа В. Козового — цикл стихотворений в прозе А. Мишо «Помраченные» — завершает книгу.

*В оформлении книги использованы зарисовки  
Вадима Козового и графика Анри Мишо*

ББК 84.5

- © И. Емельянова, составление, предисловие, комментарии, 2005
- © Б. Дубин, послесловие, 2005
- © А. Орешина, оформление, 2005
- © Прогресс-Традиция, 2005

ISBN 5-89826-233-4

## «СУЩЕСТВО ВНЕ ГРАЖДАНСТВА СТОЛИЦЫ»

Пояснение к публикуемым ниже письмам

17 февраля 1981 года Вадим вылетел из Шереметьева вместе с нашим старшим шестнадцатилетним сыном Борисом в Париж. В то время такая поездка — на три месяца во Францию, да еще не к родственнику, а к поэту, чьи стихи он переводил, да еще для человека, шесть лет отсидевшего в лагерях за антисоветскую деятельность, — казалась чудом, непонятым благорасположением небес. Чудо это, однако, было взято с бою — за право на трехмесячный отрыв от московской земли Вадим заплатил мучительнейшей борьбой с советскими вершителями судеб, с «пирамидой», с «пентагоном», который, как говорил он, цитируя «Упанишады», всегда надо штурмовать с «шестой стороны».

Сейчас, слава Богу, даже трудно себе представить, что было время, когда за такую невинную поездку в гости к любимому поэту надо было восемь лет получать бесконечные отказы ОВИРа, писать жалобы, ходить на унижительные переговоры, делать заявления в западной печати, собирать подписи под письмами протеста («Призыв французских писателей в защиту поэта Вадима Козового» в газете «Монд»), давать пресс-конференции, каждодневно рискуя и потерей работы, да и просто свободой. Но слишком сильно у Вадима было чувство независимости, он никогда не мог смириться с натяжением крепостной цепи — «грызть до последнего» было его девизом. И «пирамида» поддалась, «шестая грань пентагона» дала маленькую

трещину: разрешение на трехмесячную поездку «для лечения больного сына» было получено.

Живший, как он сам говорил, только русским словом, русским языком и русской поэзией и столько сделавший для нее, Вадим второй своей духовной родиной считал Францию. Эта любовь зародилась, наверное, в детстве под влиянием отца — историка по образованию, влюбленного во Французскую революцию. Став студентом МГУ, Вадим продолжал быть верным своей страсти: писал работы о «Культе разума и верховного существа», зубрил французский, конспектировал Паскаля... А в мордовском лагере, где ему пришлось провести шесть лет своей молодости, он открыл для себя французскую поэзию, верным рыцарем которой остался до конца жизни. Освободившись, он с головой ушел в работу — переводил Лотремона, Валери, Мишо, Шара, Реверди, «проклятых поэтов», весьма мало популярных в то время в Советском Союзе. И оставалась несбыточная (по тем временам) мечта — коснуться их земли.

«L'espoir luit comme un brin de paille dans l'étable...» («Надежда, как в хлеву соломинка, блеснула..»)

Как сейчас помню телеграфный бланк, на котором аккуратными латинскими буквами выписывал Вадим эти стихи Верлена... Это было на московском почтамте в августе 1980 года, куда он побежал сразу же после очередного (на этот раз — последнего!) разговора с высоким лицом в КГБ, которое, наконец, соизволило снизить до милостивого разрешения. Помню и адрес на телеграмме — Франция, Воклюз, Иль-сюр-Сорг, Рене Шару... Мы встретились с Вадимом у входа на почтамт — он был взбудоражен, потрясен, вернее, ошарашен. Восемь лет биться головой об стену, требуя поездки, и вдруг — «обещанная визитная карточка Навуходоносора», как горько обозначал он цель этих восьмилетних мытарств в своей поэтической книге, почти на руках...

Приемщица в окне «международной корреспонденции», не моргнув глазом, пересчитала «знаки», выписала квитанцию, и телеграмма полетела.

Поразительно, но Рене Шар откликнулся стремительно и теми же стихами Верлена: «L'espoir luit comme un caillou dans un sceux» («Надежда, как в песке голыш, светла») — таков был текст телеграммы, полученной на Потаповском буквально на следующий день.

Ко времени своего отъезда во Францию Вадим был уже известным переводчиком французской поэзии и автором вышедшего в Лозанне в издательстве «L'Age d'homme» сборника стихов «Грозовая отсрочка». Была готова и вторая поэтическая книга со знаменательным названием «Прочь от холма», которую он собирался издать там же. Вынашивались и планы третьей — «Поименное» (вышла в 1988 году в Париже в издательстве «Синтаксис»).

«Грозовая отсрочка»... Это цитата из стихотворения Рене Шара:

Гонец в кровавой хватке западни,  
по истеченьи ГРОЗОВОЙ ОТСРОЧКИ  
без порыва сжимаю тебя, без оглядки, о любовь  
проливная, созревшая весть.

Поэтический темперамент Рене Шара был всегда близок Вадиму, который находился под сильным влиянием этого мощного голоса. И потому в собственных стихах Вадима 70-х годов чувствуется напряженная, несколько отстраненная «шаровская» патетика.

В 1973 году в Москве в издательстве «Прогресс» вышли его переводы стихов Шара, а также поэзии Анри Мишо, которого Вадим первым открыл русскому читателю — незабываемый Плюм в журнале «Иностранная литература». Прогрессовский сборник он послал во Францию — и так завязалась интенсив-

нейшая переписка с двумя величайшими французскими поэтами XX века Рене Шаром и Анри Мишо. В эти же годы Вадим открыл для себя прозу Мориса Бланшо. Потрясенный книгами Бланшо (их привозили знакомые французы), он написал ему в Париж. Переписка с Морисом Бланшо, продолжавшаяся до самой смерти Вадима, — необыкновенный человеческий и литературный документ. (К сожалению, по не зависящим от меня причинам я не могу сейчас ее опубликовать. Ее время еще не настало.)

Можно представить себе, каким глотком свободы, выходом в другой мир, были все эти письма, приходившие на Потаповский в мрачные годы брежневской безвременщины!

Сразу же по получении прогрессовского сборника Рене Шар прислал Вадиму свое первое приглашение посетить Францию, погостить в его деревенском доме в департаменте Воклюз в Провансе. Причем не одному, а с женой — «с женщиной», как было написано (русскими буквами!) на доморощенном консульском бланке. Последовал отказ, за ним — новое приглашение, опять отказ — «нецелесообразно» — и так восемь лет борьбы! И наконец «для лечения больного сына» разрешена поездка на три месяца, тем более, что в России остаются «заложники» — жена и младший сын...

Эти три месяца обернулись почти двумя десятилетиями жизни в Париже, мучительно трудным вхождением в чужую среду, в иноязычие, в мир, во многом отличный по своим ценностям от всосанного с молоком. И можно сказать, что, несмотря на то, что Вадим был человеком «междумирья», двух культур, свою миссию моста между которыми он отлично сознавал, до конца своих дней он не изжил этого дуализма, «сидел между двух стульев», и чувство разрыва, отрыва от родной почвы, окрашивало все его существование — недаром сборник своих замечательных эссе он назвал «Поэт в катастрофе». И недаром так любил он гоголевское выражение — «сущест-

во вне гражданства столицы», применяя его к себе и себе подобным.

Особенно тяжелыми были первые месяцы — ведь у Вадима на руках был больной сын-подросток. Ответственность за его судьбу камнем давила на сердце. Поэтому столь мрачен, порой близок к отчаянью тон многочисленных писем-посланий, которые он, нуждавшийся в постоянном самовыражении, направлял в Москву при первой возможности.

Итак, февральским днем 1981 года Вадим и Борис приземлились в аэропорту Шарль де Голль. Наши друзья — замечательная семья Татищевых, Анна и Степан, — встретили их и отвезли в свой дом в пригороде Парижа, в Фотене-о-роз. В этой гостеприимной самоотверженной семье прожили они первые месяцы.

Спустя несколько лет Степан так вспоминал об этом времени: «Переночевали. На другой день я проводил Вадима на станцию, купил ему билет на электричку и сказал: “Помнишь Растиньяка, который приехал завоевывать Париж? Вот он перед тобой. Ты — юный Растиньяк. Давай, покоряй!” И посадил его на поезд».

Но нашему Растиньяку было в ту пору сорок пять лет, и столько горя позади. Завоевание Парижа обернулось и победами, и поражениями. «Мильон терзаний» ожидал его, как сам определял он это свое «вживание». Так можно было бы озаглавить и эту книгу. На его руках больной подросток, плохо говоривший по-французски, а потом и вовсе погрузившийся в беспробудное молчание — травма от перемены обстановки. Кроме того, Вадим приехал в период, когда французская медицина была в угаре «антипсихиатрии». Не во всех случаях этот метод оправдывает себя. Начались метания от одного светила к другому, надежды, разочарования... В конце концов Боря нашел свое место в интернате под Парижем, где и живет до сих пор.

Бездомность, безденежье... Болезненный разрыв с Рене Шаром. Их «роман», так окрасивший затхлое московское десяти-

летие, при личной встрече обернулся катастрофическим несовпадением вкусов, темпераментов, позиций. Может быть, как говорил Вадим, Шар «плохо постарел». А может, все гораздо проще? Часто ли личная встреча после многолетнего заочного общения перерастает в дружбу? Вспомним «невстречу» Цветаевой и Пастернака после их страстного эпистолярного романа, страх перед даже мимолетным свиданием Чайковского с фон Мекк и многое другое... Во всяком случае конкретные причины этого разрыва остаются за пределами данных писем. О них можно только догадываться. Чудом, скорее, является другое — когда участники переписки становятся друзьями и в жизни. Таким чудом была наша с Вадимом встреча после его выхода из лагеря. Таким чудом стала помощь и самое сердечное участие замечательных французских писателей и прежде всего Анри Мишо и Мориса Бланшо.

Этим двум знаковым фигурам французской культуры XX века в данной книге посвящено много страниц. Они стали читателями Вадима, его собеседниками (Бланшо, ни с кем никогда не встречавшийся, помогал издавать — почти ежедневными письмами). Мишо, который, по словам Вадима, как никто другой во Франции, «почувствовал» его поэзию и как истинный друг отозвался «делом», — выполнил замечательные иллюстрации-гуаши к двуязычной книге Вадима, шедевр своих последних лет. Легкость и красота линий этих рисунков говорят о неувядаемом таланте мастера, а ведь ему было в ту пору уже семьдесят три года.

Таким же чудом стали встречи и с другими писателями Франции — Жюльеном Граком, Жюльеном Грином, Жаном Кассу и дружба с более молодыми — Жаком Дюпенем и Мишелем Деги. С этими двумя замечательными французскими поэтами, своими друзьями, Вадим проводил долгие вечера, а иногда они засиживались и за полночь, пытаясь «втиснуть», «вколотить» кое-что из своей поэзии в каркас французской

(письменной по-преимуществу, как без конца сетует он на этих страницах) речи. Страстный во всем, Вадим с головой уходит в эту «борьбу» с французским языком, гений которого столь отличен от русского. Широко известно поразительное по точности, снайперское определение этого различия, сделанное Пушкиным мимоходом, в заметках о переводе Мильтона Шатобрианом. Можно вспомнить и Тургенева: «Русский язык удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе. Странное дело! Этих четырех свойств — честности, простоты, свободы и силы — нет в народе, а в языке они есть». Удался ли Вадиму и его двум друзьям (картина действительно символическая: три разноязычных поэта в поисках незнакомого, но общего троим языка — «башкой о вавилонскую стену») этот труд? Стала ли эта книга победой или поражением Вадима? Знаю только, что Анри Мишо почувствовал силу его стихов по этим переводам и иллюстрации его — тому доказательство. «Я хочу быть на уровне этой поэзии», — писал он.

Книга «Hors de la colline» («Прочь от холма») вышла в 1983 году в издательстве «Hermann». Послесловие к ней написал Морис Бланшо. Мучимый вековечным вопросом, есть ли будущее у поэзии, Бланшо так и озаглавил свой текст: «Восходящее слово, или Достойны ли мы сегодня поэзии?»

Именно поэзия Вадима, как пишет Бланшо, «заставляет сызнова почувствовать связь между ужасом и словом». Указывая на ее «особый истребительный пыл и еще более истребительную нежность», он выражает надежду, что эти стихи «исподволь готовят иные времена». В разных статьях своих последних лет Бланшо часто цитирует поразившие его строки Вадима: «Поэзия — кратчайший путь между двумя болевыми точками. Нас только краткий, что ее взмахом обезглавлено время».

Можно сказать, что несколько — но каких! — читателей во Франции Вадим нашел. Не зря бился он «башкой о вавилонскую стену».

С последним утверждением в письме Тургенева Вадим вряд ли бы согласился. Он всегда был «славянофилом», безумно любившим Россию, ее культуру, ее «гений». Он верил, что это страна огромных человеческих возможностей, что большевистскому холокосту не удалось выжечь ее живое начало. «Нет, ни с Розановым не соглашусь, ни с Мерабом (Мамардашвили. — *И.Е.*): русская литература и русская совесть не на пустом болотном месте возникла», — пишет он в одном из писем. «Воздух бедствий», которым веками дышала несчастная страна, особенно в кровопролитное последнее столетие, был воздухом его поэзии, вся она — горячий сгусток сострадания.

Вот он разглядывает альбом (французский) с фотографиями предреволюционной России. «Господи! — вырывается как стон, как вопль. — ЖИВАЯ страна! И какие вдруг попадают лица! Какие дети (мальчишки-кадеты) — прелесть! Всех перебили, втоптали в гнойную беспробудную землю!.. Страшно становится, когда видишь на фотографиях Живые лица Живых людей. Это ведь было! И будущее у них было! И невозможно (а нужно!) смириться с мыслью, что, оказывается, НЕ БЫЛО: вонючая яма, даже не братская могила».

Но Советский Союз 80-х годов своим затянувшимся гниением внушает настоящий ужас. И как перед сотнями русских, оказавшихся в подобной «временной» поездке за рубежом, перед Вадимом встает роковой вопрос: вернуться или остаться? Он без конца меняет решение. Эти метания превращаются в навязчивый невроз, раздражают друзей. Да, он был действительно тем, что называют «семь пятниц на неделе». Правда, сам формулировал это несколько иначе — словами Розанова: «Я был и всешатаем и непоколебим». Или — «существом вне гражданства столицы».

Жизненные обстоятельства также толкают к эмиграции. Психиатры настаивают на длительном лечении сына, вселяя надежду на улучшение его состояния. Удастся и переменить

жилье — осенью 1981 года Вадим с Борей поселяются в общежитии для художников-иностранцев, Сите-дез-ар, на берегу Сены в самом центре Парижа. Окна этой комнаты, почти без мебели, заваленной книгами и бумагами, выходят на шумную набережную, где даже ночью грохочут машины. Там прожили они два года — 1982-й и 1983-й. Оттуда продолжали приходиться письма-послания, похожие, скорее, на дневник. В одном из них он написал: «Знаю, в этих письмах тебе (и отчасти Морису) среди нитя, шелухи и гнилого мусора можно выбрать страницы, “готовые к публикации”... здесь крупницы той самой прозы, которая предписана и запущена всем моим предшествующим... это лишь набросок... но если бы такие наброски собрать... СЛЕД ДВУХ ПРОШЕДШИХ ЛЕТ».

Я не стала выбирать из этих посланий отдельные фрагменты. За исключением мелких сокращений, касающихся исключительно бытовых деталей, письма печатаются полностью — тем живее звучит голос вечно неприкаянного, бунтующего, оспаривающего все и вся поэта, для которого единственным домом всегда был только письменный стол, горящая всю ночь лампа и машинка, на которой в ночь своей смерти (22 марта 1999 года) он печатал так и не завершённый перевод «Озарений» Рембо...

В сборник вошли стихи, составляющие книгу «Прочь от холма», выбранные самим Вадимом для французского издания «Hors de la colline», те, чью «истребительную нежность» почувствовали Мишо и Бланшо и, надеюсь, почувствует и русский читатель.

Завершает книгу поэтический цикл А. Мишо «Помраченные» («Ravagés»), одна из последних переводческих работ Вадима, и статья Бориса Дубина «Человек двух культур».

То, что Вадим выбрал для перевода именно этот цикл стихотворений Анри Мишо, — не случайно. В этом выборе ска-

зался горький опыт его двух парижских лет. В лице Мишо он нашел союзника. В своих текстах французский поэт сумел проникнуть в тайное тайных человеческой психики — той, что мы привыкли считать больной, асоциальной, прикоснуться к самому нерву страдания, угадать, как писал Вадим в статье «Анри Мишо, близкий и далекий», в этих людях «несомненные формы сопротивления стихии... Эта книга освобождает от навяздения не только того, кто ее писал, но и отдавшегося ей читателя».

*Ирина Емельянова*

P.S. В письмах к человеку, понимающему его с полуслова, неизбежны синтаксические и орфографические «огрехи», которые не всегда нуждаются в правке. И хотя даже в письмах Вадим был необычайно внимателен к своему русскому языку, подобные «нескладицы» встречаются и у него — но тем живее поток его темпераментной речи.

Что же касается довольно часто попадающихся французских цитат, то крупные, значащие фрагменты приводятся по-русски с оговоркой: «В оригинале по-французски». Если же это короткие названия, смысл которых ясен из контекста, сохранено французское написание.

Комментарии расположены непосредственно за каждым письмом.

В своих посланиях Вадим неизменно обращается к поэзии — своей и чужой. «Бесконечное самоцитирование» — так сам он определяет свой эпистолярный стиль. Составитель не счел нужным каждый раз давать ссылку к тому или иному его стихотворению — это нарушило бы цельность интонации, придало ненужную академичность. Поэзия и повседневная жизнь сплетены в этих текстах неразрывно.

*Декабрь 2003-го, Париж*

«След двух  
прошедших лет»

ПИСЬМА 1981-1983





## 1981 ФЕВРАЛЬ

...Это тебе на прощанье, надеюсь твердо и, как умею, упрямо, что скоро тебя (и Андрюшу) встречу в Орли или Бурже.

### Перемена мест<sup>1</sup>

*Посрамленное солнце рыло себе яму. Рыжие сумерки ему не препятствовали.*

*Когда выскочила из-за угла ласточка-акробатка и набросилась, жжик, жжик, на догорающего крота.*

*Эпоха к чертям опостылела. Учебники медлили и преспокойно жухли.*

*Тогда выглянул в окно бессонный и болезненный мальчик. Егорка, Васек или Федька, он попросил акробатку об имени-отчестве вчуже не вспоминать. Он сказал ей без голоса, чтобы самоубийцу оставили в покое и чтобы времена, под хламидой сумерек, на минуту увиденного считались последними.*

*Учебники вместе с учителями истлели на складе в зачарованном лесу. Жизнь, плюнув, ушла по грибы.*

*Мальчик был некрасив. Крот этого не знал и поверить этому не мог, укладываясь в долговременную могилу. Мальчик без имени был красив.*

*Эта могила казалась пучеглазым звездам ночной и плоской забавой. Одна только медведица шелохнулась в испуге за свою мозг-*

---

<sup>1</sup> Стихотворение В. Козового, впоследствии вошедшее в книгу «Прочь от холма».

*лявую дочку. Но страх, мигом скукожившись, уступил место протяжной заботе, как это бывает всегда — постоянно, когда на руках у тебя — любимые и единокровные до глубины печенок.*

*16 февраля 1981*

## 1981 НОЯБРЬ

...Что еще добавить к моим многочисленным письмам и телефонным звонкам? В сущности ты все знаешь: положение настолько запутанное, что сам черт ногу сломит. А с Борей\*, во всех смыслах, трудно; в этих условиях — до помешательства. Уже три недели пытаюсь ответить Морису Бланшо\* на его конкретные, полные тревоги вопросы... Не могу. Нет ответа! Настоящее запружено чудовищными непролазными головоломками; будущее темно, чревато всяческими опасностями.

Пишу ночью... Ценою жутких бессонниц... Но что делать? Кое-какие просветы. Деньги на книгу (пожалуй, на третью тоже), кажется, есть. «Холм»\* уже в наборе. Третья\* пойдет следом (надо подсократить и добавить, но когда?). Мишо\* сделает для «Холма» 2 рисунка: титул и обложка. Я примерно объяснил ему, что нужно. К французскому изданию (если...) сделает специально большие литографии — тоже по моему замыслу. Мы с ним разглядывали его литографии; он подарил мне целую кучу и еще подарит. Относится он ко мне прекрасно, очень прислушивается и каким-то сверхсказочным чутьем угадывает — через «меня» и слабые (на мой взгляд) переводы — мое поэтическое. Часто вспоминает Целана\*, с которым был дружен... И чувствую какое-то родственное ко мне отношение.

...Тобою занят здешний МИД. Послу дадут на днях указания. Увидеть Миттерана? Увы... Вряд ли... Это почти то же самое, что встретиться с Брежневым. Робер Антельм\* (друг его со

времен Сопротивления, муж Моник) с ним давно не встречался. Можно попытаться. Но легче будет встретиться с кем-то из его помощников в Елисейском дворце. По сути это то же самое. И там тоже старые друзья.

В консульство схожу на днях. Заранее знаю, что ответят. «Продлить визу? Но мы не имеем права. Запросим Москву. Придите в январе. Жена? Но мы тут ни при чем. Решают в Москве». Тем не менее пойти, со всеми бумагами (в т. ч. письмо министра Жюльену Грину\*), необходимо. Решать буду потом. К тому же подозреваю, что ответить могут и резко; если у них уже есть московские указания, начнется грубый шантаж. Кто надо, будет предупрежден. Не беспокойся.

...Деньги. Очень тревожно. Махонькая постоянная помощь имеется. 4-го решится вопрос насчет стипендии. Боюсь загадывать. Помогли все: Грин, Грак\*, Мишо, Дюпен\*, Морис, Мишель Деги\*, Кассу\*, Сувчинские\*... Все, кроме Шара\* и его подруги Тины\*, о которых думаю уже не столько с обидой, сколько с отвращением. Говорю о помощи не материальной (хотя и она важна) — душевной, дружеской, деловой.

Многие участвуют в подписке на книгу. Морис (небогатый!) переплюнул всех и спрашивает Мишеля, не нужно ли еще. Шагал 1000 фр. прислал. Питер Брук, Френо и др. А комитет такой: Морис Бланшо, Мишо, Грак, Мишель Окутюрье\*, Аня Шевалье\*, Деги, Дюпен, Петр Сувчинский. Особенно Жак Дюпен помогает. Шару я заранее написал — нет ответа. Еще раз написал. Молчание. Из Антиба — пересилил себя — написал, что могу на денек заехать... Ни ответа, ни привета. И Тина совершенно исчезла. Ну их! Грин извинялся: мол, не вошел в подобный комитет по изданию Маритена (его многолетнего друга). Да и впрямь: к моей поэзии, при всей преданной дружбе — какое может быть у него отношение? Но привязан ко мне очень, пишет мне с Эриком\* из Швейцарии (где сейчас находится), заняты всеми моими и особенно Борькиными пробле-

мами... Когда-нибудь прочтешь, вероятно, обо всем этом в его дневнике. Надписанную Андрюше книгу\* я, откровенно говоря, не читал. Читаю «Монд» и ночью — детективы. Страдаю нестерпимо без работы, без чтения и поэзии.

А работа возможна. С помощью, которая у меня есть, я бы, вероятно, не пропал. Хотя найти здесь работу для «безрукого» иностранца — невозможная задача. Тем не менее. Кое-что временное, одноразовое и весьма небезынтересное предложено полтора месяца назад — благодаря рекомендации Грака. Но все это время, за исключением десятидневной поездки на юг, жизнь была (и остается) безумной; работать не мог и все еще не могу, даже не позвонил.

Квартира\*... Тут безумно трудно. А жаловаться на неудобства жилища попросту непристойно: я уже счастливчик, ведь живем мы в самом сердце Парижа...

Обедаю, как правило, в дешевейшем ресторанчике: *pieds poirs*<sup>1</sup>, евреи, но не кошерные. Очень симпатично; всегда с часами играют в карты, домино... Хозяева меня знают, угощают кофе бесплатно (впрочем, ведь копейки... но приятно), болтаем о том, о сем. Такое же привычное место — маленькая лавочка, где обычно покупаю продукты на завтрак, ужин. Район удивительный! В двух (буквально) шагах от меня — книжный магазин, в основном — поэзия и прочее, на отличном уровне. Там тоже — друзья. Но забегая на 5 минут, изредка... А хотелось бы порыться в книгах.

Видел Франсуазу\*. Много вещей она взять не может, но кое-что возьмет. Жаклин Абенсур\* хочет послать Андрюше подарок и поможет выбрать маме кофточку. Мелетинского\* мы встретим с Бремоном\*; он заедет за мной на машине... Иначе не доберусь в этакую даль. Леви-Строс\* ждет, я ему звонил.

---

<sup>1</sup> Букв.: черные ноги (*франц.*). — Речь идет о французах, выходцах из Алжира, возвратившихся во Францию в 1962 году.

Ничего я, Ириша, не забываю о «проклятых» и «трижды проклятых». Просто не считаю нужным об этом писать. Мое возможное решение, как можешь понять, связано и с этим, не только с Борей, хотя — клубок, разобраться не в состоянии. Против остаются прежние доводы плюс опыт плюс (главное): ты с Андрюшей. Многое будет зависеть от ответа в консульстве. Ползать, изворачиваться не стану. Но не следует терять голову: трезвость прежде всего!

Ты предлагаешь отказаться и отправить Борю в Харьков? Но именно этого просит в нем «больной человек». Т. е. остаться маленьким. Поверь, сам Боря с этим маленьким борется. Высыпается. Ест теперь лучше (а ведь витамины какие!). Не в этом дело... Как ему ни трудно, он постоянно отвечает мне, что хочет еще тут остаться. Ты знаешь, как ему трудно, мучительно трудно выбирать. Но в этом — тверд. Не преувеличиваю. Надо считаться.

Прости, что пишу деревянным языком. Почти Борин словарь: «трудно», «прекрасно» — совсем оупел. Надо и о себе подумать. Груздем-то я назвался... Но в кузов не желаю!

Бедняжка... Вижу, переписал «дурацкое» (сам так назвал) письмо бабушке на другой открытке. Столь же «изящно», однако кое-что явно нелепое исправил.

Слушает он меня с вниманием поразительным, многое верно схватывает. Не знаю, право, что скрывается в его «личности» (нет, без кавычек!). Жерар Абенсур уверяет, что Боря понимает быструю французскую речь... Но за общим разговором следить не в состоянии. Степа\* давно обещает свозить нас в Реймс или хоть в Фонтенбло... Пока не получается.

Посылаю фотографии... Какие есть. Надо попросить кого-нибудь, чтобы запечатлели мою физиономию. М. б. знаменитый фотограф, который снимал Мишо (см. в «Les Cahiers de l'Herne» — с сигаретой). Но когда???

Жоржика\* на днях, вероятно, увижу. Звоним друг другу, с Люсиль\* перешел на ты... Очень хотелось бы еще раз к ним

выбраться... Да и на Ривьеру!!! Ведь огромная квартира ждет!!

Потрясающий документ в «Монд» — письмо родителей 14-летнего безумца (у них еще двое детей) против «антипсихиатрии» и конкретно Ленэ (психиатр). «Чем мы виноваты? Чем виноваты наши здоровые дети? Позвольте и нам жить по-человечески, спасите нас от разъяренного сумасшедшего, который превратил нашу жизнь в ад!» Абсолютно согласен. По-моему, антипсихиатрия — бред. Кое-что разумное в применении к таким, как Боря, но в иных случаях... Виновата, видите ли, среда и прежде всего родители (отец или мать или оба вместе): «угнетение». Нет, дайте безумцу волю, назовите его другим именем... и...и...и... ну, а дальше? Толковал с Мишо на эту тему.

Еще одно, Ириша, насчет груздя. У нас с тобой общая дорога, но ведь судьба различная. Страдаешь ли ты, как я, оттого, что не пишешь? Нелепый вопрос. Однако ты все прибегаешь к столь же нелепой уравниловке... Молча или вслух, ты бесконечно упрекала меня в отношении детей и пр. Быт, домашние дела, бессонница... И есть также глубинное, дремучее, растительно-биологическое: не легче ли тебе жить монашенкой, чем мне — монахом? Тысячекратно! Сколько свар и загубленных дней выросло на этой скользкой глинистой почве! И ведь держусь! И ведь не только свары... Многое, из самого лучшего, что написал, — на той же почве! Знаю. Иначе не умею.

...«Забывать прошлое»? Нет, уважаемый генерал\*, оно меня не забудет. Видел тут один фильм («L'ombre rouge»<sup>1</sup>) — все во мне всколыхнулось. Процессы, террор, предательства — и преданная красота («кобелиное слопало с потрохами вымя — чижика моего»). Поэтому Морис мне ближе остервенелых и отпетых умников (какой уж тут ум!). Морис — родной (и Мишо, говоря о Целане, коснулся того же), а они, со всеми их ненавист-

---

<sup>1</sup> «Красная тень» (франц.).

ническими идеями, вывезенными в нетронutom виде из России, — свора пустобрехов. Единственное: не ищите (Морису говорю), красота предана раз и навсегда; при всей моей симпатии к польской революции, знаю, что... не революция. Ах, долгий это разговор. Но тоска по ней — красоте — ностальгия! — остается. В каком-то смысле я сын эпохи (и со мною — немногие), которая стерта с лица земли, которой, может быть, никогда и не было.

Акакию\* послано множество заказанных им книг. Получил ли? Спроси Дуду\*. Если нет, еще повторим. Кому нужны книги на иностранных языках, пусть пишут списки и дают адрес. Это сделаю бесплатно (разумеется, не уникальные редкости).

Вчера видел Жана Hugues\* (крайне редко вижу). Уверяет, что Рене (Шар) был в Париже, ему не звонил (я-то знаю, что он к нему относится как к лакею... Хотя многократно зависел от него денежно). Ладно. Никакого желания гадать... Да и зачем гадать, какую чепуху он избрал, чтобы «надуться», а в сущности оправдать свое предательство\*? Сознаюсь, в своих письмах из Парижа я выражался порою резко, неуступчиво, но тому причиной не самолюбие, нет, а чувство достоинства. В придворные (в том числе и к больному бирюку) я не гожусь, и он это отлично знает. Лицемерить с ним нет никакого смысла. Уж лучше не общаться вовсе.

Выдержу ли? Не уверен. И не сравнивай. Порою чувствую — конец. Потом снова лямка... Никакой жизни у меня нет. Но теперь и на субботу-воскресенье не могу надеяться. Анна Татищева сказала, что они «не могут» — Боря молчит, просиживает часами в своей комнате — им тяжело, понимаю! Да и отдохнуть нужно, и свои дети. Иногда, быть может. Порой на день — и Жерар Абенсур. А у меня масса дел; даже если на время (тем более)... Жизнь в нашем-то смысле началась с нуля. Это трудно объяснить: невозможно. Как быть? Кухни нет. Борю нужно кормить. Да и одному хочется побыть вечером. Ни разу нико-

го не позвал сюда. Невозможно! И работать надо! Совсем перестал смеяться, улыбаться. Живу монахом и, как можешь догадаться, не по недостатку темперамента или избытку морализма. Но дороги назад нет. Остановиться на полпути с Борей, его «лечением» невысказано. Даже отослать в Россию — то есть сдать — нельзя. С кем? Сам я не хочу возвращаться ни завтра, ни послезавтра. Почти восемь лет потратил на эту борьбу, и вот... Только для третьей книги (срочно!) необходимы минимум 2 недели сосредоточенной работы. Да еще неделя, чтобы в эту работу войти. Когда последний раз был у Мишо, минут 15 молчал или мычал, не в силах собраться с мыслями. Снотворные на исходе. За окном — адский грохот. Опять нужно клянчить... Да не забыть, т. к. память выветрилась. Интернат? Ну, буду искать. Абсолютно не надеюсь. Есть один хороший (кажется) интернат, но далеко в провинции. Ведь Борю надо показать, самому посмотреть, что это такое... Для начала. Не знаю, как быть. Магазины, магазины... Холодильник крохотный. Сегодня купишь — завтра утром съедено. И это в «рабочий» день. Взрываюсь иногда — не без причины, поверь. Но вообще держусь, с Борей нежен, даже чересчур порой, он ведь для меня как маленькое дитя. В Лувре мы с ним были, в Centre Beaubourg (Paris—Paris) были, на огромной выставке готики были. Часто каникулы (ох!), шляемся с утра до вечера. И при всем том уезжать (пока) не хочет... Надеется. Недавно, впрочем, и я развешился (после готики, отвезя Борю): на концерте, где слушал Гиллеспи и фантастического саксофониста. Об этом писал тебе. Мне бы разгуляться где-нибудь, сыграть... И среди людей, и на бумаге. Где там! Никак не выберусь в книжный (советский) магазин купить для Мишеля Деги «Новые голоса»\* (если есть), а Борьке франко-русский словарь. В музей импрессионизма. На Монмартре ни разу не был, хотя вообще-то Париж знаю хорошо, а некоторые места — отлично, могу вслепую передвигаться.

Степан тебе, кажется, летние Борины фотографии передал. Если не получила, сообщи. Книги... Книги... Дарят без конца. Куда мне столько? Ведь не читаю ничего.

А все же Борька доволен своим центром\*. У меня тоже настроение улучшилось. Сегодня они были в кино. Мы с ним «поговорили» и сходили вместе за продуктами. Да, это очень важно: ему там нравится, а в школе последнее время (признался) страдал. Вечером я был у очень симпатичного издателя (Bordas — энциклопедии и др.), брата Даниэль Бургуа, у которой на юге гостил. Семья прекрасная. Этот брат женат на чешке; все наши дела знает; дружит с Жаком Амальриком\*. Был (в ужасе) на книжной ярмарке 3 года назад. Другой брат — Кристиан Бургуа (так и называется издательство; смотри, в частности, серию 10x18). Будут всемерно помогать, в том числе и работа возможна, если... Это не шутка. А через несколько дней встречусь по соседству в кафе с фактическим вице-министром иностранных дел (помнишь, звонил мне, когда Барр\* приезжал?). Сегодня договорился по телефону. Много общих друзей. Положение мое — и твое — знает. Можешь быть уверена: шаги предпримут и все возможное сделают. Но хотелось бы не сжигать мостов.... Продлить визу подольше... Вас вытащить.

Учитывая стипендию, я вполне обеспечен по май месяц. Думаю, и дальше что-нибудь найдется. Но... Посмотрим в консульстве.

Будут (обещано сегодня) искать Борьке хорошее неэкспериментальное заведение. Конечно, если бы мы тут жили с налаженным бытом, с обеспеченным тылом, я бы, пожалуй, не стал забирать Борю из Centre Etienne M. По его рожице, по ответам вижу, как он доволен. Но сам справиться не в состоянии, да и ему плохо. И учитывая вероятное возвращение в логово зверя...

Обо всем тебе сообщу и постараюсь максимально облегчить твои заботы.

...После разговора с тобой (от Ани). Снова беседовал с Борькой. У них было очередное собрание: каждый говорил, что ему нравится в центре, а что не нравится. Боря меня уверяет твердо — в ответ на мой провокационный вопрос, — что тут в центре ему больше нравится, чем в московской школе. Ведь это, черт подери, невероятно важно!

...Обедал с Мишелем Деги. Был в галерее у Жака Дюпена. Надо срочно переводить: страниц 50 (больших) достаточно, с литографиями Мишо у Магта\*. Жак к нему ходит; обсудим. А «Повесть о карлике» (перевод) пошлем Миро; к сожалению, сейчас у Магта склока (сын, наследство), и Миро держится в стороне, а то бы — по просьбе Жака — тотчас согласился. Увидим. Но надо работать!!! Целую крепко, тоскую. И люблю.

P.S. Был в консульстве (до 12-ти). Даже во дворе охрана. Ладно. Встретился с молодой бабенкой, которая продлила визу в апреле и меня вспомнила. Показал бумаги, рассказал. В ответ: «Ах, ах... Ну конечно, вы же не можете его бросить. Значит, вам нужен еще год?» Я кивнул, и казалось, вот-вот оформят. «Володя, посмотри». Молодой, с неглупым лицом. «Сейчас схожу к консулу». Вышел и тотчас возвратился: «Его нет. Вы можете оставить нам бумаги?» Я: «Разумеется. Для вас и принес». — «Позвоните в понедельник. Знаете, сегодня такой день... У нас прием». Я киваю. «Но думаю, что придется запросить Москву». Вот оно! Этого я и ожидал. «Напишите заявление, пожалуйста». Написал (в том числе кратко и о тебе). Короткий разговор: о министрах, которые участвуют, об астрономических суммах... Володя: «Ну, знаете, у них ведь *sécurité sociale*, они ничего не платят». Я показываю наши *cartes de séjour*: «Вот, на всякий случай у французов запаса. А то боялся, не продлят. Но мальчик болен, история широко известна...» Девица: «Да нет, французы продлевают без труда. Особенно армянам (*sic!*). Не в них дело...» Увидим в понедельник. Но знаю наперед: запросят Москву, долго не будет ответа, а потом — от-

каз. Володя: «Вы хорошо сделали, что пришли заранее». Я: «Нельзя тянуть. Врачи требуют немедленного ответа. Мальчик больной — не игрушка». Среди принесенных бумаг — письмо министра Ж. Грину насчет la prise en charge (государственное обеспечение). «Дорогой академик...» и т. д. Увидим, наше дело правое. Эта история вконец истрепала мне нервы.

По соседству купил Андриюше большую и забавную полицейскую машину. Возьмет ли Франсуаза? Уж слишком велика. Бегал по магазинам (продукты!), обедал у Гольденберга. Истратился! На телефон уходит по 3 часа в день. О тебе... В следующую пятницу Жорж приедет, будем с ним обедать. Каждый день расписан поминутно...

...Кошмар! Отдохнуть днем не удалось. Два часа побыл с Борькой, право же, у меня есть с ним контакт и общение (учитывая...). Снова он мне рассказал вкратце о проведенном дне: доволен. Завтра поедет к Степану, а затем, вместе с Анн, — в Фонтенбло (в Барбизон, увы, не успеем... Рано темнеет). Звонил Моник: она выпрашивает для меня снотворные. Но может только в обед (т. е. в час дня)... А у меня все дни на след. неделе заняты; Жорж «забрал» последний. Морису уже месяц пишу урывками длинное письмо. Марьяна Сувчинская звонит регулярно, хотя их не вижу совсем (уже больше 3-х месяцев). Раздраконила мою третью книгу: лубок и проч. Неприятно. Я ей говорю: «Эта книга засорена слабыми вещами, на уровне самопародии, что не отменяет главного». Но на всех не угодишь, и если я уверен, никто меня этой уверенности не лишит. Но многое ей все же нравится, не говоря уж о «Холме». Надо срочно третью книгу очистить и достроить. Вечером не успел на концерт (фестиваль джаза) Cecil Taylor. Пошел на кино-джазо-фестиваль по соседству. Сеанс — через 1,5 часа. Каковые провел (тоже рядом, в двух шагах) в Centre Pompidou. Выставка новых вещей Дюбюффе\* (говно). Постоянная выставка — без конца можно смотреть, тем более что экспозиция регулярно меняется. Изумительный Цадкин (скульптор). Пикассо

без конца ошеломляет («Confidences» — никогда не видел). Уйма первоклассных шедевров... Но *dii minoris*<sup>1</sup> «Парижской школы» (Кислинг и др.) — отвратительны. Очень хороший (кроме, пожалуй, акварелей) зал Мишо. Я, б. м., сделал ошибку. Надо было тушь попросить. Это у него самое сильное.

Несколько фильмов о джазе. Сонни Роллингс (1973) на джазовом фестивале. Jam-sessions со звездами 50–60 годов: изумительно... В т. ч. атмосфера. Count Basie с приглашенными. Джимми Рашинг поет. Потом Билли Холидэй с Хопкинсом, Маллиганом, Янгом (!!!) Блюзы. И маленький фильмик: датский джаз-клуб, где известный саксофонист Dixter Gordon с замечательным контрабасистом и др. — вариация на тему... «Дорога длинная». О концерте Гиллеспи я тебе писал — великолепный. Знаю, что мне нужно это «вульгарное»... Говорил об этом Мишо; в этой вульгарности — биологическая «правда», тогда как в бумажной эквилибристике, особенно когда она застывает и «красуется» в стиле — неестественность (природа не хочет звать стиля). Оттого, может быть, постоянно меняюсь.

Фонтенбло — красота! Дворец весьма уютен, хотя порой уж чересчур громоздко. Прелестная комната бедной Марии-Антуанетты. Все наполеоновское — уродливо, кроме лестницы, на которой он стоял, прощаясь со своей гвардией (но построена она была за несколько столетий до того). Изумительный парк, особенно сейчас, осенью (холодное солнце).

...Просидел вечер у Грина; разные планы строили... Следующий раз Эрик нас вместе с Грином снимет, пошлю. Он мастер по части фото. М. б., и с Борькой, если удастся его взять днем. Утром я расстроился, пытаюсь проверить его знания по-французски. Уж очень скверно! Оттого-то — вижу! — и замолкает в двуязычной (с уклоном к французскому) татищевской среде. У меня на все не хватает сил. Ах, как надо заняться третьей кни-

---

<sup>1</sup> Малые боги (*лат.*).

гой... Выйти из оцепенения, выбраться из этого водоворота... Ведь просто погибаю!.. Но возврата нет (не буквально), вперед и вперед. Прежде всего, выбрасываю пустословие и словесные побрякушки: «О жокеях», «Простыня», «Равновесие» и др.; подсокращу (еще в Москве собирался) «Двойников». Добавлю кое-что в поэтический раздел. Уединиться бы немножко! А сперва распутать ложный финансовый клубок, связанный с «Холмом». Невозможно в письме объяснить. И сколько все это отнимает времени! Без преувеличения, сумасшедшая жизнь. Тем более еще не хочу возвращаться: и ради наилучшего Бороного устройства, и в надежде на передышку и работу. О вас думать — с ума сходится. Схожу. Не сплю. Оттого-то в этом письме столько глупостей, пустяков и несообразностей. Не суди строго.

Звонил в консульство. Отвечено сухо: «Мы этот вопрос не решаем. Бумаги отправлены в Москву. Об ответе известим». Дальнейшее ясно. Будут трепать нервы до последней минуты, а затем ответят отказом — со всем, что из этого вытекает. Надо готовиться. Бороно лечение я прерывать не буду. Пошли они к дьяволу вместе со своими порядками и законами. В феврале я в Москву не уеду... Разве что похитят. Шучу.

...Весь вечер ходил с Борькой по окружающим улицам. Большой магазин, где хотел купить ему куртку, закрывается рано. Не успели. Поужинали в кафе, а затем прошлись быстрым шагом по музею современного искусства (Centre Pompidou); он впервые все это видел (т. е. постоянную экспозицию). Как понять его подлинные впечатления? Поразило меня одно — он сразу узнал Клее. Смотрели и многое другое. Ответы его: «да», «нет». Рассказы немногословны. Но уверяет, что ему там хорошо. Обучают его игре на гитаре!!! Уже несколько уроков...

Вчера провел вечер с Жаком Дюпенем и Мишелем Деги. Обсуждали, главным образом, мои дела, предстоящие переводы и французскую книгу с литографиями Мишо. Возможно, напишу к этому изданию вступление. Но виза треклятая!!! Обсуждали и

подписочные дела. Жак снова займется, хотя у них там заваруха после смерти Магта (склока с сыном). Я предлагаю ему съездить в Москву; он очень хочет с тобой познакомиться; много рассказывал о Ник. Ив.\*. Он ему напишет и пошлет свою книгу о Джакометти. Как видишь, скучать не приходится. Если добавить к этому 100 телефонных звонков, беготню по магазинам, за бельем (наконец-то выбрался), письма и пр., то поймешь, что голова моя пуста; не только условий, но и минуты свободной не остается для работы и даже для осмысления того, что на нас надвигается неотвратно. Надо доработать (с кем?) перевод «Повести о карлике», которая будет предложена (Жак Дюпен) Мирю для отдельного роскошного (деньги!) издания. Завтра буду обедать (т. е. ужинать по-русски) с Граком, но вряд ли он согласится помочь. Ни ему, ни Бланшо (как и тебе?) не понравилось. Зато Мишо принял!! Но нужно достичь плавности и простоты, которые в русском. Уж слишком тяжеловесно по-французски.

Сегодня об этом говорил с Граком. Ужинали вместе.

Он обещал внимательно перечитать и с моей помощью доработать перевод. День снова безумный. Утром звонки и звонки, еще куда-то надо в субботу пойти после важной — о тебе — встрече (см. выше). Обедал с Аней (Шевалье). Накупила она тебе подарков!.. Потом встретился с Моник; она поговорит с мужем... Может быть, встречусь, если не с Миттераном... то хотя бы с министром (Nicole Guestiaux; она распорядилась об оплате Бороного лечения.). Все дни загружены до предела. На ходу познакомился с кое-какими обитателями нашего Вавилона. Поразительные истории! В пятницу буду обедать с Жоржем, а вечером поужинаю у Жака Дюпена: продолжим переводческую деятельность. Можно — и нужно — добиться двухкомнатного помещения в этом Сите; надо звонить, хлопотать... Не успеваю. Пока помогают, но что будет дальше? Долго так продолжаться не может. Ох, как хочется выспаться... часов бы 20 проспал... Моник раздобыла мне снотворные. О Мелетинском

сообщил Бремону. Рад, конечно, буду его встречать... Но по реакциям Бремона вижу, что это вовлечет меня в новые общения: больше не могу!! Деги его приглашает... ему здесь, разумеется, будет оказан наилучший прием, но — не говоря уж о Боре и «текущих делах» — я живу на вулкане; вряд ли могу сопровождать. Увидим. Мне лично не к чему встречаться с Леви-Стросом (к примеру). И т. д. О Мих. Семенко\* не забыл... Но у бедного Мишеля совершенно нет времени. Не забыл и не забуду. Ох, забыл позвонить Грину; завтра днем (праздник — armistice) — единственная возможность сходить к нему вместе с Борькой. Подписка продолжается. Еще дал Граку несколько «экземпляров». Эрику надо занести. Как все это удержать в голове?

Да, хочу избежать разрыва. Но если не удастся, буду за вас сражаться насмерть. Позвоню еще раз журналисту, который был в Москве. И другим. Не хочу. О, куда спрятаться?

Я московским прохвостам ни на йоту не верю. Да и поздно отступать: после бессмысленного консульского протеста дороги назад не оставалось.

Думаю, что не стану ждать ответа до февраля, как им хотелось бы... чтобы застать меня врасплох. Через месяц обращусь к консулу, резко и твердо. Тебя постараюсь держать в курсе дела и, если что-то прояснится, сообщу тотчас.

Андрюшу, тебя мысленно прижимаю к сердцу. Целую без конца. В.

Грак вчера интересно рассказывал об Эрнсте Юнгере\*, полном сил в свои 85 или 86 лет и странствующем беспрестанно, а также о Помпиду\*, с которым учился в лицее и продолжал регулярно встречаться (ежемесячный ужин школьных друзей!) почти до самой смерти.

*Боря* — сын Вадима и Ирины, родился в 1965 году в Москве, выехал с отцом на лечение во Францию 17 февраля 1981 года. Живет в Париже.

*Бланшо Морис* (1907–2003) — французский писатель и философ, один из крупнейших мыслителей XX века. Переписывался с Вадимом с начала 70-х годов.

«*Холм*» — «Прочь от холма», книга стихов Вадима Козового, вышла в Париже в издательстве «Синтаксис» в 1982 году.

*Третья* — «Поименное», книга Вадима Козового, вышла в Париже в издательстве «Синтаксис» в 1988 году.

*Мишо* — Анри Мишо (1899–1984), французский поэт и художник. Родился в Бельгии. Автор книг «Плюм», «Варвар в Азии», «Внутреннее пространство», «Помраченные» (о рисунках душевнобольных). Выставки его живописи проходили во многих странах мира, в том числе в Москве (июль 1997 года, РГБИЛ, комиссар выставки Вадим Козовой). Переписывался с Вадимом с 1976 года.

*Целан Пауль* (1920–1970) — немецкий поэт румынского происхождения, покончил с собой в Париже. Автор книг «Ничья роза» и др.

*Антельм Робер* (1917–1990) — французский писатель, узник Бухенвальда, друг Мориса Бланшо, автор книги об опыте концлагеря «Род человеческий».

*Грин Жюльен* (1900–1998) — французский писатель, автор романов «Адриенна Мезюра», «Левиафан», «Гость на земле», «Обломки», знаменитых «Дневников». Член Французской Академии.

*Грак Жюльен* (р. 1910) — французский писатель, автор романов «Замок Арголь», «Побережье Сирта», «Балкон в лесу», «Форма одного города» и других. Живет в Сен-Флоране, недалеко от Нанта.

*Дюпен Жак* (р. 1927) — французский поэт, художественный критик, один из создателей журнала «Эфемер». Автор поэтических сборников («Амбразура», «Снаружи», «Неявка», «Еще ничего и уже все»), а также монографий о художниках (Джакометти, Миро).

*Деги Мишель* (р. 1930) — французский поэт, эссеист, теоретик поэтического языка, главный редактор журнала «Поэзи».

*Кассу Жан* (1897—1986) — французский писатель, художественный критик, переводчик, автор романов и поэтических сборников («Роза и вино», «Баллады»). Герой Сопrotивления — входил в подпольную группу «Музей человека», был в концлагере.

*Сувчинские — Петр Петрович* (1892—1985), один из основателей евразийства, музыковед, литератор и *Марианна Львовна* (урожд. Карсавина, 1911—1994), его жена.

*Шар Рене* (1907—1988) — французский поэт, автор книг «Молот без хозяина», «Ярость и тайна», «Встающие на заре», «Утраченная нагота» и других. Участник Сопrotивления. Их переписка с Вадимом началась в 1976 году. *Тина Жолас* — его многолетний друг, в прошлом — жена поэта Андре Дю Буше.

*Окутюрье Мишель* — профессор-славист, переводчик на французский язык поэзии Пастернака, автор монографий о русских писателях и поэтах. Друг О.В. Ивинской и семьи Козовых.

*Шевалье Анн*, урожд. Четверикова (ум. 1998) — заведовала отделом авторского права в издательстве «Галлимар». Познакомилась с Вадимом в 1977 году на первой МКВЯ в Москве.

*Эрик* — приемный сын Ж. Грина.

*Написанную Андрюше книгу...* — Имеется в виду сказочная повесть «Ночь привидений» («La nuit des fantomes»), посланная Жюльеном Гриним в Москву нашему сыну Андрею.

*Квартира...* — По приезде в Париж Вадим с Борисом жили в доме Татищевых в Фонтене-о-роз. Через месяц по протекции Жюльена Грака, который был дружен с мэром этого городка, Вадим переехал в отдельную мансарду около вокзала в том же Фонтене-о-роз, а первого сентября вместе с Борисом поселился в общежитии для художников-иностранцев в Сите-дез-ар в центре Парижа, где прожил до октября 1983 года.

*Сюрмен Франсуаза* — жена работника французского посольства в Москве, много помогавшая своим русским друзьям.

*Жаклин* — жена Жерара Абенсура, профессора-слависта, который в 60-х годах был атташе по культуре посольства Франции в Москве, затем преподавал в институте восточных языков в Париже; перевел на французский язык книгу Ирины Емельяновой «Легенды Потаповского переулка», издательство «Fayard», 2002.

*Мелетинский Елеазар Моисеевич* (р. 1918) — русский ученый, исследователь фольклора, занимался проблемами происхождения повествовательных жанров, автор книг «Герой волшебной сказки», «Происхождение героического эпоса», «Средневековый роман» и др. В 1981 году по приглашению ученого Бремона впервые выехал за границу.

*Бремон Рене* (р. 1929) — французский исследователь структурно-семиотического направления, развивал идеи В. Гроппа.

*Леви-Строс Клод* (р. 1908) — член Французской Академии, этнограф и социолог, ученый-структуралист.

*Степан* — друг Козовых Степан Татищев, в семье которого первое время жили Вадим и Борис. В 70-х годах Степан Николаевич Татищев был атташе по культуре в посольстве Франции в Москве. И он, и его жена Анна самоотверженно помогали своим русским друзьям, рискуя иногда и своим положением, и даже головой.

*Жоржик* — Жорж Нива (р. 1935), друг Ирины и Вадима, профессор-славист, ректор факультета русского языка в Женевском университете, автор многих книг о России, переводчик и литературовед. *Люсиль* — его жена.

*Уважаемый генерал* — скорее всего, имеется в виду Ф.Д. Бобков, генерал КГБ, «курирующий» в то время интеллигенцию. Именно с ним встречался Вадим, отстаивая свое право на поездку во Францию; к разговору с ним он часто возвращается в своих письмах, называя его Б.

*Акакий* — Акакий Константинович Гацерелия (1909—1994), грузинский писатель и литературовед, автор монументального труда по теории грузинской просодии. Друг Вадима Козового. *Дуда* — его дочь.

*Hugues (Юг) Жан* — владелец известной парижской галереи, библиофил.

*...оправдать свое предательство...* — В последние годы жизни Рене Шар порвал почти все свои дружеские связи; он тяжело болел, мало выезжал из своей деревни, жил «бирюком». Оказать гостеприимство Вадиму и Боре (о чем шла речь в 70-х годах) он был уже не в состоянии. Врачи говорили даже о тяжелом душевном расстройстве — обо всем этом Вадим тогда не знал и судил своего бывшего друга слишком строго. Конкретным поводом для разрыва послужила резкая критика Вадимом «Антологии мировой поэзии», составленной и переведенной Рене Шаром и Тиной Жолас. Вадим «бешено разнес», как он умел, выбор русских поэтов, сделанный Р. Шаром. А тот был болезненно самолюбив.

*«Новые голоса»* — сборник стихов современных французских поэтов, вышедший в издательстве «Прогресс» в 1981 году. 16 стихотворений Мишеля Деги переведены Вадимом Козовым.

*Центр* — Centre Etienne Marcel, дневная школа для больных подростков в Париже. Директор — доктор Баранес.

*Амальрик Жак* — журналист, в 70-е годы корреспондент газеты «Монд» в Москве.

*Барр Раймон* — премьер-министр французского правительства (1976—1981).

*Магт Эме* (1906—1981) — французский коллекционер, создатель богатейшего частного музея современного искусства в Сен-Поль-де-Ванс (открыт с 1964 года).

*Дюбюффе Жан* (1901—1985) — французский живописец, основоположник и теоретик «грубого искусства» (ар брют).

*Ник. Ив., НИХ* — Николай Иванович Харджиев (1903—1996), писатель, литературовед, критик, собиратель русского авангарда.

*Семенко Михаил* (Михайль) — украинский поэт, расстрелянный в 1937 году. Вадим высоко ценил его поэзию, хотел опубликовать переводы его стихов во Франции.

*Юнгер Эрнст* (1895—1998) — немецкий писатель и философ.

*Помпиду Жорж* (1911—1974) — в 1962—1968 годах премьер-министр, с 1969 по 1974 год президент Франции.

## 1981 ДЕКАБРЬ-1

...Не знаю, успею ли передать это письмо. Множество okazji (убедишься — подарки...), сегодня еще одна, но я как загнанный заяц, и бессонница свирепая совсем измочалила.

Мелетинский тебе кое-что расскажет, но каждый видит лишь то, что хочет и может видеть и замечать. А я стал вконец невозможен: помнишь ли мои московские упадки? И некому слова сказать... На радио (France culture) хотят немедленно подготовить передачу-беседу: увы, никто не подходит для моего «серьеза»; Жак Дюпен, может быть (?), но он молчалив, а я никого больше не нахожу.

...Вчера встретился с Эдиком\*; он пришел со своей Анни, я был в подавленном невыспанном состоянии, обуреваем заботами и предстоящей беготней. Два с лишним часа проболтали. Эдик еще раздался: крепыш. Поглощен делами, «намолотил» (?) роман и т. д. и т. п. Вечером пришлось пойти к пупсикам\* на новоселье; замерз дьявольски, бегая в поисках подарков для вас. Холодно, а одет я легко.

Шар поступил низко и подло. Никакие причины и поводы (то-то и есть что поводы...) его не оправдывают. И все же рана не заживает, страдаю порой дьявольски. Мир леденящий (там, здесь — особенно), и он был для меня противоположным полюсом. Страшно осознать свою ошибку. Страшно: одиночество безысходное.

Письменное общение с Бланшо, кажется, себя исчерпало: все сказано и пересказано; на его последнее письмо мне ответить нечего. Какая близость не задохнется в таком безвоздушном развоплощенном кругу?

Мишо? Да, он меня ценит, ко мне прислушивается, сотрудничать готов (рисунки к русской книге; возможные литографии к французской) как никогда ни с кем. Единственный, быть может, из этого поколения, кто всерьез почувствовал мою поэзию по переводам (скверным). Но ведь возраст.. «Я вас старше, — говорит, — на 60 лет». «Нет, — отвечаю, — на 10, не больше». А с французской (как и с русской) книгой 1000 проблем. И все мои терзания («миллион») — при мне.

Тем не менее надо продолжать. Кто знает, может быть, визу и продлят. Сомнительно. Отступить некуда, и сдаваться я не имею права. Увидим. О тебе хлопочут и ходатайствуют. Тебе расскажут. На днях тоже. Но на ближайший успех надежды не питаю. Все это у наших «благодетелей», разумеется, вызывает ярость. Плевать. Что будет (в случае отказа) со Спасской и содержимым\*? Об этом надо подумать (книги и т. д.). Друзья помогут — обещали. Оставаться здесь окончательно по-прежнему не хочу, а эмигрантские доводы для меня неприемлемы.

...С деньгами трудно. Высокие ходатайства не помогли, т. е. помогли недостаточно: на среднем уровне решают по-своему; оказалось вдвое меньше ожидаемого. Жак Дюпен много раз помогал. Очень важно в этом смысле французское издание для библиофилов и богачей: Мишо и, б. м., Миро. Но у Магта — после смерти отца и основателя — склока с сыном. Неизвестно даже, останется ли Жак. А мне нужно теперь же... Посмотрим. Миро — несмотря на дружбу с Жаком — отказывается теперь с ними сотрудничать, до выяснения и решения. Жак сейчас у него, повез «Повесть о карлике».

Но все это временное... Нужно бы (если...) и нечто постоянное. Как быть? Ах, не знаю. Все осточертело, и устал до невоз-

возможности. Думаю об Андрюше и начинаю скулить; уже давно знаю: он — мое единственное утешение в этой растреклятой жизни. Надеюсь, что игрушкам обрадуется. Надеюсь, что продукты не испортятся. Бертрану Дюфурку\* дал, в частности, 2 ананаса. Бертран тебе должен позвонить и, м. б., с тобой встретиться. Был у них несколько дней назад.

С бытом (завтрак, ужин, продукты, фрукты, белье, брюки, оторванные пуговицы, грязные носки, глажка, полотенца и т. д. и т. п.) не успеваю справляться. Да и условия — увы... Обнаружил, что нет у нас теплого белья. А у меня и перчаток нет (на одну руку осталась). Так продолжаться не может. И тем не менее так будет продолжаться.

Дважды забегал в огромный универмаг BHV — недалеко от нас. На двух этажах игры и игрушки — хотелось бы вам, еще и еще Андрюше. Столько всего — в глазах темно. Но стал об Андрюше думать — мне бы его сюда, побродить, потолкаться с ним, выбирая подарки, — и сердце застонало, и слезы душат, так и убежал, ничего не купив. А зар не нашел. Я помню; при случае передам. Вообще что-либо выбрать крайне трудно.

...Тебе, кисанька, здесь было бы, возможно, еще тоскливее моего, хотя нет у тебя «милльона трезаний»... Но затевать «процесс» (я уже почти совсем К.) не хочу, а это, б. м., единственная реальная возможность.

Спешу передать это письмо в сопровождении польских новостей\*. Обо всех этих мировых делах ничего тебе не пишу, что не означает благоразумия — отнюдь.

...Снег! Промок! Надо купить ботинки и теплое белье. Борька одет лучше меня. ...А промок я по дороге за версткой «Холма».

*Эдик* — Эдуард Самойлович Кузнецов (р. 1939), арестован первый раз в 1961 году за выступления в составе группы СМОГ («Союз молодых гениев») на площади Маяковского. После семилетнего заключения отбывал ссылку в г. Ступино, откуда

часто приезжал в Москву и заходил в гости на Потаповский. Второй раз был арестован по «самолетному делу» в 1970 году, приговорен к расстрелу, помилован и обменен на советских разведчиков в 1979-м. Живет в Израиле. Журналист.

*...пришлось пойти к пупсикам...* — Речь идет о близких друзьях Вадима и Ирины Антонине и Жераре Рубишу, которые в 1967–68 годах преподавали французский язык в МГУ. А. Рубишу — известная переводчица русской прозы, в том числе текстов В. Козового на французский.

*...что будет со Спасской и содержимым?* — В квартире на Большой Спасской улице, где Вадим прожил с 1979 по 1981 годы, находилась его огромная библиотека.

*Дюфурк Бертран* — в 70-е годы советник по культуре посольства Франции в Москве.

*...в сопровождении польских новостей...* — 21 декабря 1981 года в Польше было объявлено чрезвычайное положение.

## 1981 ДЕКАБРЬ-2

...Сегодня еще позвоню тебе для уточнения, но иллюзий не питаю: видимо, действительно отказ. Я хочу, чтобы ты поговорила на эту тему при личной встрече спокойно и обстоятельно. Насколько могу понять, к делу подошли поверхностно и совершили грубую ошибку. Надо ее теперь же исправить. Ведь я поехал с Борей ради его лечения. Поиски места, формальности устройства, оплаты и т. д. оказались — и это нормально — довольно долгими. Могу сказать даже, что весь подготовительный период — без моей энергии, знания языка и многочисленных, на всех уровнях, друзей, — затянулся бы еще на месяцы и месяцы. Ты вообще ничего бы не добилась. Само лечение — длительное, очень длительное! — стоит (для нас) чудовищных денег. Вопрос недавно решен самим министром.

Наконец лечение начато. И это не интернат (таковых не существует, насколько я знаю, есть лишь жуткие — как везде — *maisons de foux*), а «дневная клиника» (вместе с занятиями и пр.). Т. е. Боря проводит там 6–7 часов, а затем возвращается домой. Дома он остается в субботу и воскресенье. Что же, я должен прервать достигнутое с таким трудом и немедленно вернуться в Москву? Или бросить больного мальчика на произвол судьбы? Чередоваться с тобой — нереально, надо же видеть вещи трезво. Да и не сможешь ты без меня (язык, друзья и проч.) справиться с трудной повседневностью, помогая Боре. Зачем же тогда было огород городить? Зачем выносить первоначальное решение? Тут нет ни малейшей логики... Если не считать таковой закоренелую паранойю. Нет даже и тени разумного расчета. Твое присутствие необходимо (на продолжительное время) по мнению всех специалистов, независимо от направлений и методики. К проф. Томатису — на него очень рассчитываю — без тебя (и тестов с тобой) не могу даже обратиться. Сделано было разумное и хорошее дело. Спасибо. Но зачем же теперь его разрушать и доводить вполне понятное ожидание до точки кипения? А потом, видите ли, мои реакции нехороши...

Ведь, скажем прямо, пожертвовал многим личным, не только работой, чтением, нормальной жизнью в родной среде, не мог даже увидеть папу, проститься с ним... Слезы наворачиваются. И даже если приедете (приедете!) — все равно многомесячная разлука. Мы могли бы искать наилучшую помощь Боре 8 лет назад, когда Рене Шар приглашал... и Боре было легче помочь. Нет, довольно валить с больной головы на здоровую. Никто не поймет.

А «понять» хотят многие. То, что ты знаешь о моих друзьях, писателях и других, — лишь малая крупинка. И поверь, нет никакой рекламы, ни саморекламы, которые мне ненавистны. Просто так получается. Даже Рене Шар удивлялся: как это я

«собрал» людей, которых и тут почти никто не видит. Все заботятся, помогают: и Жюльен Грак (для Р.Ш. он чуть ли не «призрак», а со мной — участливый товарищ), и Грин (особенно; как он всегда радуется моему приходу! Единственный из живых — в Pléiade<sup>1</sup>; любой министр тотчас ему отвечает); и Мишо (советуюсь с ним и о Борьке; его оценка мне особенно дорога — ключий! И если он надписывает мне книгу «au poete admirable»<sup>2</sup>, это взвешено и продумано; к моему мнению он, впрочем, тоже весьма прислушивается), и Жан Кассу, мой нынешний сосед (который за свою долгую и бурную жизнь перевидал едва ли не всех замечательных людей этого века и был в самой первой группе Сопротивления вместе с Вильде и Левицким), и другие, помоложе, особенно Деги и Жак Дюпен, которого полюбил. Кстати, «его» галерея напisyлала мне, кроме великолепных альбомов, кучу афиш-литографий, вплоть до огромных — целая выставка. И вот что удивительно: Боря в восторге от Пикассо, Джакометти и особенно Брака — птицы... Жак дружил с Джакометти и дружен с Шагалом, но особенно с Мирро. Если бы мог оставить на кого-нибудь Борьку (увы, вряд ли), съездил бы повидаться с Мирро.

Странно мне было на выставке «Париж—Париж» в центре Помпиду: повсюду мои друзья и знакомые; фотографии, книги, рукописи, голоса — и живопись. Хотя выставка, откровенно говоря, скверная. Понж\* (с ним тоже виделся) — рядом с Шаром; а ведь Рене теперь к нему... Ох! С Бонфуа\* я встречался перед каникулами; он мне тоже оставил кучу книг в Mercure de France — своих и полного Жува\*. Но как бы преодолел я мучение жизни без Мориса? Убежден: он — из глубочайших мыслителей (нелепое слово!) этого века, а в 5—6 книгах — из самых изумительных и нужных писателей. Пишет мне регу-

---

<sup>1</sup> Классическая «Библиотека плеяды» в издательстве «Галлимар».

<sup>2</sup> «Восхитительному поэту» (франц.).

лярно, часто — дружба поразительная-пронзительная! Кто знает, когда-нибудь эти письма будут читать. Как и переписку с Рене Шаром (мне уже говорили... просили); все же и последнее, месячной давности, его письмо было чудесным; и о тебе — нежно... И надписи на книгах прекрасные. Скоро увижу Моник и ее мужа, который — уже писал тебе — был в Сопротивлении вместе с Миттераном. Тоже много помогли. Уже рассказал об отказе.

Да, список могу еще продолжить, и ведь чихать на «знаменитость»; сколько чудесных «безвестных» друзей, о которых и не писал тебе. И все это при моей трудности и требовательности, от которых никуда не деться. О Боре, о тебе знают все; не только в писательском, художественном, но и в официальном мире. Поверь. И многие тебя заочно любят и ценят.

Все, о ком пишу и о ком не пишу, будут меня спрашивать... Немедленно оповещу об этом сомнительном (мягко выражаясь) решении. Что ж, неужели теперь сворачивать лечение? Без тебя оно невозможно... Да и, черт подери, почему это я не могу, прикованный теперь особенно к больному сыну, провести пару месяцев с женой и младшим мальчиком? Что это за дикость такая? Что тут экстраординарного? В чем и для кого угроза и опасность? Нет, довольно мямлить.

Все здесь сказанное можешь изложить тому, кто умен и поймет. По-моему, самоочевидно. Я ведь и в ОВИРе тоже говорил о твоём возможном приезде; и они восприняли эту возможность спокойно, сказали: «Поговорите в консульстве...» В консульстве я говорил — отнеслись с пониманием. Вот с продлением в феврале будет сложно, однако что же делать? Уже начато лечение, уже отпущена министром сумма на первый год... отступления нет. К послу, что ли, пойти? Тут лучше понимают положение, в т. ч. и значение этой истории. Но ведь решается в Москве... экая нелепость. Посмотрим. Как аукнется... Вот так!

Стараюсь держать себя в руках; жду новостей. Но этим уже занимаются, не сомневайся! Экий бред...

Р. S. Проблема — весьма серьезная — еще вот в чем. Курс лечения займет, вероятно, несколько лет. Первый год — решающее испытание; он выявит дальнейшие возможности. Как же быть? Мне теперь говорят, что консульство не может, не вправе продлевать срок «гостевого» приглашения более чем на год. Т. е. в феврале возникнет труднейшая ситуация. Как быть? Как решить этот вопрос по-человечески, без ненужных осложнений и законным образом? Повторяю: Бороного лечения я не прерву, сделаю для него все возможное (как он надеется, ты не можешь себе представить), но и никакого разрыва не ищу, без Москвы, без привычной жизни, среды и работы не мыслю себе существования... Как это было все годы — вопреки многому. А здесь — несмотря на редкостное дружеское окружение и проч. ... Могли бы понять: для такой позиции нужна исключительная, более чем недюжинная твердость и сила. Вспоминаю стихотворение Ахматовой\*... Подумываю даже: нельзя ли и здесь (пока) заняться какой-то работой для «Прогресса», «Худ. лита», или лучше — библиотеки рядом — для «Лит. памятников»? Учти: по истечении года здешнего пребывания возникает и проблема московской прописки. Таковы удивительные и не мною выдуманные порядки.

Пишу обо всем этом, чтобы ты знала: 1) как обстоит дело, с полной трезвостью; 2) потому что никогда не любил скрытничества и игры в двоедушие; 3) чтобы ты при первой возможности (она, я уверен, представится) изложила все это, даже зачитав мною здесь написанное. Добавлю только, что отправляясь с Борей в поездку, не мог предугадать, насколько все окажется трудным и, главное, какого времени потребует. Да, нелегко, но это так. Мою волю ты (не ты одна) знаешь; можешь на нее полагаться вполне. Спи спокойно, живи спокойно.

Матери — нежный привет.

*Понж Франсис* (1899–1988) — французский поэт и эссеист. Автор книг «На стороне вещей», «Гвоздика. Оса. Мимоза» и др. Участник французского Сопротивления.

*Бонфуа Ив* (р. 1923) — французский поэт, прозаик, переводчик, автор книг о Рембо, Миро, Джакометти. Вадим перевел его стихотворение «Лампа, спящий».

*Жув Пьер-Жан* (1887–1976) — французский писатель-мистик, автор романов «Пустынный мир», «Приключения Катрин Кроша».

*...стихотворение Ахматовой...* — «Не с теми я, кто бросил землю / На растерзание врагам...», июль 1922 года.

## 1982 ЯНВАРЬ

Были мы с Борей на изумительной выставке старинной живописи. Коллекция Тиссена — кажется, вторая в мире по значению (среди частных) после собрания английской королевы. Бесподобный Карпаччо: одна из лучших его работ. Сказочный Балдунг Грин (женский портрет). Феерический Гварди: ничего подобного (жанр *turquerie*<sup>1</sup>) я не видел. Прекрасный Рюисдаль: зимний пейзаж (очень Боре понравился). Прелестнейший Лонги — воздушный! Два первоклассных Ватто. Ранний и поздний (!! ) Эль Греко. Божественный Ван Эйк (два «скульптурных» панно). Изумительные женские портреты Альтдорфера (редкость у него) и Мастера из Нюрнберга. Два отличных Каналетто. Итальянские примитивы, особенно Джованни Паоло (!!!). Магический Петрус Кристус. Очень хороший Лука Лейденский. Мощный мужской портрет работы бургиньонского мастера. Отличный (но не из лучших) Крапах. Неопишимо дивный, полный смысла натюрморт Кальфа (ах, какая

---

<sup>1</sup> В турецком стиле (франц.).

красота и тайна!). Очень хороший Зурбаран, и Гойя, и Мурильо, и Тициан, и голландцы, и Фрагонар, Буше... Если будет время, еще раз схожу. А затем накормил я Борю (ну и аппетит!) и себя, вернулись домой и, чуть отдохнув, отправились к Жюльену Грину. Ели сладости, Боре пора было домой, я усадил его в такси... По приходе к Грину, Боря сразу же попросился пописать, куда (в туалет) и был препровожден академиком. Грину глаза Борины понравились. Но разговор, как сама понимаешь, был односторонним. Все о том же: перспективы, устройство...

Поверь, никакой особой «полноценности». И вот другая сторона медали: Борино молчание, вытягивание каждого слова клещами, неумение писать (в его портфель боюсь заглядывать), грязь, пыль, абсолютный его паразитизм (никогда не сходит в магазин, я устал просить и злиться), хаос в «доме», солдатские койки — и неизвестность, неизвестность, неизвестность... Бессонница! Полуживой (но взвинченный — отлично!) договаривался сегодня с Мишелем Деги и еще кем-то о предстоящей беседе. Первую запись, возможно, сделаем 27 января (!) — в таком случае позвоню вам (Андрюше!) прямо с радио. Постараюсь выразаться осторожно, однако... Да, Ириша, не в Боре только дело — я отказываюсь быть покорной пешкой в их злодейской игре. После того, как тебе отказали... Не «дави» и не «нажимай»... Ты знаешь мое упрямство (и упорство) в главном. С эмиграцией практически не вижусь, но не потому что так кому-то приятно. Французский круг тоже чрезвычайно сузился. При всей внешней общительности одиночество дьявольское — но оно же бывает и счастьем. Думаю, Морис бы меня понял — и так, кажется, больше других понимает, но не видя... Прислал новую книгу\*: сборник всех своих текстов (разных лет, я их знаю и люблю) о Кафке — и «сквозь» Кафку... Если можно «сквозь» эту сумрачную стену одиночества. Сопроводив изумительно нежным и преданным письмом. С Мишо, при его внимании и порой (чувствую) восхищении — да! —

такие отношения невозможны. Гляжу на фотографию Кафки (с собакой, в шляпе — знаешь?) на обложке и думаю о том, почему назвал его «Франтишек»: Милена! Написал Морису.

Да, одиночество и мучительно, и зубодробительно, но я его не боюсь... Если могу ему отдаться в бессонные ночи. Увы, в нынешних условиях ничего невозможно. И ведь скоро год! Пока ответа нет... До сих пор неясно, согласится ли Димитриевич\* на сотрудничество. Если нет, М.В. Синявская\* готова — считает весьма выгодными условия (собрано немало). Но тогда уж мне надо попытаться собрать полную сумму, чтобы издать за свой счет (не хочу под их маркой). Для Андрея Синявского я «заумный». И т. д. Кому нужно? Ответил Феликсу Ингольду\* (нем. переводчик) на вопросы по поводу «Еще одной вариации» и еще раз скажу: такой силы в русской поэзии не было десятки лет. Поймут когда-нибудь, но не эти чурбаны. Боюсь, что перевод будет страшен.

На улице теплынь: почти весна. Но я-то... Вот только что (ночь!) завтрак Боре приготовил.

Нет, Ириша, что бы ни было, сейчас я в Москву не возвращусь. И поэтов *Piéiade* переводить не буду. У каждого свой выбор и своя дорога. Не суждено мне превратиться в Отара\* и тем более, в Евтушенского. А ты, пожалуйста, не паникуй: до сих пор все происходило законным порядком. Если Борю для длительного лечения устрою, тогда и вернусь, невзирая на неминуемые и непредсказуемые опасности. Но не раньше. А как мне тяжело без вас — ты знаешь, не стану повторяться. И тем не менее: при известных условиях сама Москва предпочтет компромисс. Поверь. Больной мальчик; требуется многолетнее лечение; все необходимые бумаги налицо... Поверь и не поддавайся шантажу. Тут ведь кто окажется покрепче, тот сумеет «продержаться» до последней минуты. У меня единственный козырь: мое пребывание здесь (сиречь «руки коротки»). А терять мне (в обычном смысле: «нормальная» жизнь в Москве,

дальнейшие поездки...), в сущности, уже нечего: поздно. Да, потерять могу вас — на долгие годы. Но в случае компромисса этого не произойдет.

Так что не паникуй. Спокойствие (вещь, впрочем, неровная), но зато: «И оттуда летит ко мне братик со дна голос забытого и съеденного и пещерного» — это хорошо!

А по телефону ты будь осторожней. Не ставь мне вопросы в лоб. Не пугай! Ведь буквально хожу на острие ножа (а Мориса я тебе цитировал: «По натянутому канату над пропастью»). Доверься моему инстинкту... А судьбе моей довериться не призываю, т. к. не имею ни малейшего права, да и сам с ней в деликатнейших отношениях. И помни: ведь хочу вернуться! Уже потерял многое, но... бабушка, она сказала надвое... Погоди!..

У Грина Эрик подарил Боре симпатичную и простейшую китайскую (вроде китайской) пейзажную забаву. Сегодня третий день, а штука эта так и осталась в мешке. То же и с игрой, подаренной Жераром на Новый год (т. е. на Рождество). Я несколько раз спрашивал, не согласится ли отдать Андриюше. «Нет, пусть тут побудет». Сама понимаешь... Но при этом гуляет, ходит в кафе: все это для меня внове — и радует. Тоже денежки нужны... Насколько могу понять, первая (из главных) задач в центре — Борю приручить; лишь потом может (надо, чтобы он заговорил) начаться психотерапия. Кажется, постепенно приручают. Боре там — в противоположность московской школе — нравится. На лошадь сел! Но условия нашей жизни, без тебя и при моей взвинченности, никак не способствуют успеху. Все это можно было предвидеть; Баранес выражался точно и ясно еще весной. Теперь и он, психиатр, знает, чего стоит мне все это предприятие. «Стоит ли вам ломать свою жизнь?» — «Но она ведь как будто изначально поломана... И не может не быть рискованной». *Amor fati*. Нет, чересчур красиво.

Договорился с Мишо: встречусь на днях. Как он умен — биологически! И какое отношение к поэзии! Могу сказать

твердо: он на 100 лет моложе едва ли не всех современников моего и более юного возраста. Эх, если бы он перевел кое-какие вещи! Думаю, что и «Отправляю навечно» было бы ему под силу: нашел бы французский эквивалент. Кому он хочет показать мою поэзию? «Да, он русский знает хорошо, но давно не был в Москве». Так что дам ему «Ты и я» (как он просил) и «Еще одну вариацию» и «Отправляю навечно» — и, м. б., «Облака». Вот с Мишо, за редчайшими исключениями (когда он слишком недомогает и колюч), общение действительно полноценное и насыщенное. Он-то знает, что такое (прости за парадокс) «и звезда с звездой говорит». Но еще раз повторю: эта насыщенность (изредка... вздох — выдох) только мне и обязана.

Ах, как хорошеет Париж под солнцем. Сена, стены домов напротив, нежность и свет! Опять в магазин... Там безумец какой-то, начитавшийся «Юманите»... Польша, заговоры, мировая война... Ни к кому не обращаясь, сам с собой. Безумцев, самых разных, тут масса, повсюду. А страх войны вырос в огромной степени.

Вернулся после разговора с тобой (потом и с Аней поболтал). Ох, как это мучительно и противно: взвешивать каждое слово и каждую ноту — в нестерпимой разлуке. И не слишком жаловаться, и взвинтить себя, чтобы почувствовали (уверен, что теперь слушают) — не сдамся и шантажа заложниками (вами!!) не испугаюсь. Ибо делаю то, что считаю нужным: не более и не менее. Борька только что лег. Смотрю: занимался Эриковым подарком. Улыбается, настроение «неплохое». Аня права: что страшно в этом (том) режиме — будущее детей. А если подросткового Андриюшу пошлют усмирять очередную Польшу или Афганистан? Ох... не знаю. Расстаться с Россией и начинать здесь новую жизнь не готов. Но если придется... Будем надеяться, что визу продлят, что Боря устрою, что вернусь — и не разможат мне голову.

В метро полно забулдыг. Клошары. Безобиднейшие. Хуже другие (я пока не сталкивался). То и дело встречаешь русских.

На выставке, в кафе, в метро. Советских узнаешь почти наверняка.

Никак не дозвонюсь Ленэ\*. Его ассистент приглашал для беседы... Но это на окраине «Подольска». М. б., Степа подвезет. Ленэ остался коммунистом, хотя все отлично понимает. С министром здравоохранения в самых лучших отношениях, а потому многое может.

В нашем Сите масса израильтян, которые, кстати сказать, мирно и даже дружески уживаются со всевозможными арабами. Кого только нет! Американцы, итальянцы, иранцы (многие — в эмиграции), шведы, датчане, японцы (и японочки!), а также французы. Кое с кем познакомился у телевизора. Про поляков писал. Есть и югославы, и болгары (!), но советских нет. Есть несколько русских. Но мои общения поверхностны; здороваюсь, иногда поболтаю 2—3 минуты. Приглашать к себе никого не могу; в 9 вечера у нас отбой. На столе у меня — груды бумаг и книг; с трудом разбираюсь, многое теряю безвозвратно. Книг, афиш, альбомов, пластинок столько... что с ними делать, если все же вернуться? На кого можно рассчитывать? Как ты убедилась по опыту — не на кого.

По этим бесконечным письмам ты должна была почувствовать не только мое страдание без тебя, но и вообще меру моего одиночества. Это ведь не пустые слова. Были бы силы — стоило бы предъявить вексель московским садистам поименно. Однако пока сил нет, да и стоит ли? Нет правых, нет виноватых. Мстительность никогда меня не обуревала, и не понять мне этой погони за «преступниками против человечества». Понимаю, впрочем (рассудочно), что это необходимо бывает для «очищения социальной совести». Как и смертная казнь (которую принять не могу), какой требуют отцы и дети невинных жертв. Злость у меня есть, а временами и ненависть, но жить ими я просто не умею (было бы легче). Что буду делать завтра, послезавтра? Без вас — каюк. Подождем. Насчет лета — реше-

ние твердое. (Мишо, кажется, хочет меня переубедить — хотя вообще-то советов давать не любит.)

Виноват я перед тобой, это знаю. Вверг тебя своей дичайшей судьбой в совершенно не нужные тебе пропасти. Иначе, пожалуй, поступить не мог. С какой стороны ни взгляну — отказываться не от чего.

Спасаясь в кино. «Extraterrestre»<sup>1</sup> Спилберга не смотрел, ну его... А вот только что видел американский фильм, который тоже побивает в Америке все рекорды по числу зрителей: «Офицеры и джентльмены». Казалось бы, элементарно (и все же не примитивно), «чувствительно» (и все же не сентиментально) — во славу военной муштры и армии (и все же не о том), в прославление беззаветной любви с первого взгляда (и все же...). Казалось бы... но, во-первых, закон этого (так сказать) искусства выдержан безупречно — ритм, монтаж, перспектива, да и актеры прекрасные (и красавцы не смазливые; во Франции таких, особенно мужиков, не сыщешь!), а во-вторых, какая поразительная витальная сила! Глядишь и думаешь: велики еще нутряные ресурсы у этой Америки, которая издали кажется временами гнивающей огромной клоакой. Такое кино (подумаешь, кино!.. Но за ним-то что?) возможно теперь только там. В сущности, все европейцы относятся к Америке с тайным ужасом, с восхищением, с брезгливостью — но всегда не без зависти. Тут и зависть к уникальной демократической системе... Однако прежде всего к витальности («мощь» — другое дело). Безработица там чудовищная, провинциализм, какой тут в самой глухой дыре и не снился (много рассказывали)... Но! но! но! Не сентиментально, не примитивно и не о том именно и только в силу великого напора жизненной энергии. Слава ей! Если есть энергия, остальное рано или поздно приложится. Тут я буддист. Об этом и тебе писал. Европа давно устала, хотя си-

---

<sup>1</sup> «Инопланетянин» (франц.).

ла инерции велика и силенки еще есть. Россия же видится загнанной, полудохлой конягой... Какие ей еще Кубы, Афганы и прочие Эфиопии? Ей бы отоспаться сотню-другую лет! А потом еще сотню годочков поесть досыта! Но нет больше ни сотен, ни, быть может, и десятков... Вот и гонят ее, еле дышащую (зато ракеты и танки дышат!), на убой и погибель.

Кто об этом тут знает? Кто еще — тут или там — с такой остротой чувствует? Сказать надо печатно... Да разве мне позволено?

Для меня совершенно очевидно: сверхвооружение и шантаж (равно как и внутренние крутости) связаны именно с этим полудохлым состоянием, с одышкой, с отечностью лица и бесильной ползучестью движений. Если сравнить энергетически, толковать (даже с оговорками) о возвращении к сталинским методам и энкеведистскому государству было бы слишком легкомысленно и произвольно. Движение такое есть, но в 20–30-е годы население исчерпало свои возможности биологической мутации. Крестьянство истреблено или «переварилось» в городе, кто был ничем, тот стал всем или кое-чем. Насильственные миграции и дополнительные национальные смещения крайне маловероятны. Верхушечная каста (2–3 миллиона) тоже окончательно заостенела и не позволит «резких движений». Так что поползновение к террору останется поползновением; в энергетическом отношении нынешнее советское население никак не сравнимо с 30-ми годами: некуда! Не о сроках говорю... Кому ведомы сроки? И не об итоге... Его не вижу — разве что в последнем клокочущем котле. Да только не стоит об этом без меры тревожиться: голубь Яшка выручит\*.

Что же касается нынешнего вымирания, надо же было так постараться! Россия ведь всегда была (вопреки Розанову, да и мне, дураку) страной, народом бездонной энергии. Апатия — явление относительно свежее. А пассивность, фатализм, терпение ни в коем случае энергии не противоречат. Не о том я тут

говору. В лучшем русском всегда скажется. Тургенев — «Конец Чертопханова», а не кисейные барышни. Настоящий Розанов обжигает, а не шепчет в бороду Синявскому. И наш моцартианский кудесник Батюшков сходит с ума и пишет Нессельроде грозное слово уязвленной чести.

Собственных «достижений» я не преувеличиваю, но если они есть, искать их надо именно здесь... то, что ты именуешь «яростью». Хочу об этом потолковать с Мишо: он поймет. И НИХ поймет; если хочешь, прочти.

Перечитав все это, думаю, ты удивилась бы, если бы этот фильм увидела: «ничего особенного» — давняя кинотрадиция (тем лучше), с изрядной долей современной брутальности (к месту) и более или менее современного эротизма (но с какой свежестью, силой, тактом — все «на месте» и «к месту!»). Но мне много не дано — и много не надо, чтобы думу думать. К тому же, признаюсь, ударило по самому больному месту. Ибо стал я подобен кое в чем моему бедному стульчаку Васильку\*.

...Послезавтра Андриюшин день рождения. И не могу позвонить... Ох! Получили ли два письма с поздравлениями?

Еще раз подумал о «читательском возмущении» (письмо Панасьева в «ЛГ»\*). Не уверен, что там они оставили мысль о моем приручении или же (если буду брыкаться) примерном наказании. «Вы не хотите отречься от вашей поэзии? И не надо. Напишите просто: находясь на Западе, я поступил легкомысленно, напечатав свою книгу в эмигрантском издательстве. В чем горько раскаиваюсь...» Ничего больше не надо. Каинова печать и соответствующая отчетность перед сатаной. После этого кое-какие переводы и отверженное прозябание. В противном случае возможны: 1) изгнание наше (наилучший выход); 2) множество кар... Вплоть до меткого удара свинчаткой или чего-то другого в этом роде. На выдумки они горазды. Был тут недавно случай с советским инженером, приведший Мориса (и других тоже) в ужас. Инженер проходил тут (в какой-то

фирме) шестимесячный стаж. Поступил в больницу (посольские привезли) с семью ножевыми ранениями. Объяснение посольства (и сам горемычный): «Не мог больше оставаться без жены и сына и хотел покончить с собой». Семь ножевых ранений! Странный способ самоубийства и более чем странная попытка избавиться от тоски по родным.

Впервые за долгое время выспался и взялся за свои многолетние наброски (уйма!). Есть отличные, в том числе и короткий текст, обращенный к Цветаевой. Надо его быстро доработать и вставить в третью книгу (год с лишним назад написано). Нет, русское слово никогда меня не покинет, где бы я ни был. Да только —

Под небом Франции, среди столицы света,  
Где так изменчива народная волна,  
Не знаю, отчего грустна душа поэта  
И тайной скорбию мечта его полна.

Каким-то чуждым сном весь блеск несется мимо,  
Под шум ей грезится иной, далекий край;  
Так древле дикий скиф средь праздничного Рима  
Со вздохом вспоминал свой северный Дунай.

О боже, перед кем везде страданья наши  
Как звезды по небу полному горят,  
Не дай моим устам испить из горькой чаши  
Изгнанья мрачного по капле жгучий яд.

*А. Фет. 1856 год*

Со Степаном недавно говорил по телефону о происходящем в России... Увы, еще раз убеждаюсь, что и он не понял этой страны. Легкомысленный подход, в сущности. Надо обладать изрядной долей катастрофического сознания, чтобы такое осознать. Но подобное сознание до крайности редкостно. Оно

может быть врожденным или благоприобретенным, но узнаешь его всегда за версту. Поэтому говорю с Морисом и рад даже помолчать с Мишо, а например, с Деги только о пустяках... Как сквозь ватную стену. Сознание это, Ириша, — судьба; и увлекает оно в свой круговорот самые обыденные крохи повседневной жизни, приобретающие весомость метеоров и падающих звезд. Живущему рядом нелегко такую метаморфозу «переварить»; еще звучат у меня в ушах твои диатрибы, но виновным в этих крохах свинцовых себя не чувствую, только в судьбе, которую тебе навязал. С любовью, порою. Со страстью — навязал!

Без Андрюши увядаю, без тебя свет не мил.

*Прислал новую книгу...* — Речь идет о сборнике «От Кафки к Кафке», вышедшем в 1981 году.

*Димитриевиц Владимир* — директор издательства «L'Age d'homme» в Лозанне.

*Синявская Марья Васильевна* (она же Майя) — издательница журнала «Синтаксис» (и владелица одноименного издательства), печатала две книги Вадима Козового, «Прочь от холма» и «Поименное».

*Ингольд Феликс* — немецкий поэт, перевел стихотворение Вадима «Еще одна вариация», опубликовано в журнале «Akzente».

*Отар* — кинорежиссер Отар Иоселиани (р. 1930), живший в 1981 году в Сите-дез-ар.

*Ленэ* — известный французский психиатр, сторонник «антипсихиатрии».

*...голубь Яшка выручит.* — Отсылка к стихотворению Вадима «Котел» («Поименное»).

*...стал я подобен... бедному стульчаку Васильку.* — Речь идет о персонаже стихотворения Вадима Козового «Судьба» («Поименное»).

*Панасьев* (он же Поносюк) — автор «запальчивого» письма в «Литературную газету» в одном из октябрьских номеров 1982 года по поводу переводов Вадима Козового из Рембо в книге «Гаспар из тьмы» («Наука», 1981). Скорее всего, это письмо было сфабриковано КГБ, дабы «припугнуть невозвращенца».

1982 МАРТ-1

Ириша родная,

я не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в катастрофичности сложившегося положения. Ведь эта моя туберкулезная вспышка — не выдумка, а следствие безумной усталости. Уже больше недели я не сплю совершенно: с температурой, без сил, на грани истерики, но не имею права и малейшей возможности хоть чуть-чуть отдышаться. Боря с его бесконечными историями и абсолютной беспомощностью усугубляет эту катастрофичность тысячекратно. Советы со стороны только бесят.

Через месяц должно начаться мое лечение. Его денежное обеспечение — проблема с миллионом неизвестных. Профессор — один из крупнейших в мире специалистов, но в плане практическом он бессилён. Даже если мне обеспечат (???) частичную оплату (через *sécurité sociale*), у меня нет никакой возможности оплачивать 20 процентов стоимости лекарств и прочего (бездна!). Сколько времени еще я смогу прожить в Сите-дез-ар — неизвестно. В каком буду я состоянии, принимая ежедневно по 9 антибиотиков, — загадка... Хотя догадаться нетрудно. И не только без повседневной помощи, но — Боря!

Отправить его в Москву? В таком случае:

1) надо найти (???) кого-либо, кто согласится его сопроводить;

2) на его (и отчасти нашем) будущем придется поставить крест — после всех нечеловеческих усилий, предпринятых, чтобы ему помочь;

3) виза в консульстве, возможно, продлеваться больше не будет, и я вскоре окажусь перед выбором: возвратиться не вылечившись и в предвидении всяческих бед — либо никогда больше вас не увидеть.

С французскими переводами — тупик, ничего не выходит. (Моя требовательность в придачу.) Мишель Деги расстроен. Я все переделываю. С Жаком Дюпенем продолжаем. Снова они мне крупно помогли... Ах, стыд какой!

Сборник памяти Кости\*. Два моих отрывка — полная бессмыслица. Обо мне: «Живет в Париже». Что я могу поделывать? На немецкий эта лермонтовская вариация переведена, судить о качестве не могу (послал Морису); появится (антология — вместе с другими) в крупном немецком литературном журнале. А русское издание... Ох, М.С. подводит. Характерец у нее...

...Хлопотал Грин (т. е. Эрик) насчет квартиры — шиш! Шираковская мэрия, депутаты и проч. не реагировали никак. Нескончаемые хлопоты по всем направлениям насчет денег: стипендии в августе кончаются. Преданный Морис воюет: его сверхпочитают, но... Если не добьюсь (очень трудно) новых стипендий, можно собирать чемоданы. Оплата Бориного лечения на след. год... Но где?? От всего этого можно сойти с ума. Будь я один (или если бы ты обеспечила тыл) и без туберкулеза, кое-какие заработки, б. м., нашлись бы. А так... Насчет «Трех сестер»\* не звонят. А жаль. Театр крупный (в Гренобле); обложился бы я старыми переводами; это дело доходное и небезынтересное. Через Грака. Но ведь при эдакой жизни (и опять же антибиотики), в этих условиях — что могу я накалякать?

Ах, эти поездки к психиатрам, в общества помощи больным детям и т. д. и т. п. И звонки, звонки, звонки. И никакой личной жизни. Без тебя, Андрюши — зачем?? Тут симпатичный

виолончелист (Толя Либерман), у которого дочка осталась и жена (не расписаны), тоже страдает.

Может быть, все же доведу переводы до конца (попросил Луи Мартинеза\* помочь), штук 15 надо для издания с Мишо. Жак займется практической стороной дела. У них я отдыхаю душой: дома!

Морис обрадовался твоему письму. Спрашивает, нельзя ли тебе послать «заказным» письмо пооткровенней. Он понимает, что ты измучена (как и я) неопределенностью положения, но при всей самой преданной дружбе нашу страну он знает изда- лека, без «ощупи». За меня страшится и не хочет моего возвра- щения. Я устал объясняться (тем более — на расстоянии). При- дется... В тысячный раз. Ему кажется, что я питаю какие-то ил- люзии... Отнюдь! Но положение дьявольски сложное (он это, разумеется, знает — до конца ли?). Надо, пишет он, чтобы: 1) вы тут лечились; 2) чтобы Боря продолжал свой курс; 3) что- бы Ира с Андрюшей приехали. Тут же добавляет, что все это — *impossibilités*, но что мы, мол, живем невозможностями. Увы: 1) больше так продолжаться не может; 2) мое отношение к Р-и (ну, пусть СССР), в котором и страх, и ужас не определяется только ими. Не в ностальгии дело (и она есть, вплоть до био- логических и природных циклов!).

Завтра буду звонить в какое-то *foyer* (интернат) под Пари- жем насчет Бороного устройства. Но: 1) кажется, там сейчас нет мест и неизвестно, будут ли; 2) жалко Борьку до безумия — надо ли ему это?

Зашел Леня Чертков\*. Хочет пристроить (для перевода) свои рассказы. Гм... Я бессилён.

Е.Г. Эткинд\* готовит антологию (от истоков) русской поэ- зии в издательстве «Масперо» (только по-франц.). Жорж пред- ложил мне дать что-либо мое. Со слов Эткинда я понял, что Жорж хотел бы в своих переводах. Эткинд: «Вы не будете воз- ражать, если я помещу вас в раздел *dissidence esthétique?*» — «Но

что это такое???» — «Нет, нет, не в политическом смысле: поэзия, не отвечающая общепринятым нормам. Вы, Айги и стихотворение вольным (?) размером Слуцкого». Он считает, что в 1982 году норма — это ти-ти-ти и та-та-та. Преуспевает. Я его совершенно не вижу. Да и кого я вижу?

Мишо от встреч уклоняется. В этом году видел его раза 3—4. Говорит (по телефону беседуем), что сейчас он «на повороте» (снова ищет в живописи) и что книжкой пока заниматься не будет. Боюсь, что и этот замысел лопнет, как мыльный пузырь. Удивляется неповоротливости «моей» русской типографии — но что я могу поделаться? В субботу, кажется, будет вторая корректура. Ох!! А последняя книга Мишо (многое уже было опубликовано — в т. ч. см. у нас) — вликолепная, без всяких натяжек. Последний раз был у него две недели назад, показывал новые (мои!) переводы и беседовал, в частности, о Вольфе Мессинге и его продолжателях (он все это знает! в деталях!). Не человек, а сокровище. Самое поразительное знакомство за все это время. Рисовки — ноль, требовательность к себе — беспощадная (раздраконил свои литографии, по отношению ко многим из них — несправедливо) и поиск, поиск. Жак Дюпен его побаивается (да и не видит — раз в год), а у меня настоящие отношения получились. И благодарен я ему за очень многое. Но несколько, мне кажется, в последнее время дружба поостыла. Независимость для Мишо — прежде всего! А я «требую» сотрудничества, на которое он не шел никогда (рассказал мне забавную историю с Caillois\*). Уже и рисунки к «Холму\*» — неслыханное дело. Боюсь, что скверно получится: они в два раза больше формата книги.

Лучше всего, кажется, получился перевод (Жак и Мишель помогли, но я сам все переработал) стихотворения, посвященного Андриюше (une version). Его готов хоть завтра напечатать. Сам перевел «Дорогу!» (НИХу) — ну, это, разумеется, «проходное», однако ритм и ярость в переводе передал. (Тройчатка нужна — побольше!)

Сколько можно жить на этом бивуаке? Не говоря уже о всем прочем, ведь мне почти 45 лет!

Жуткий взрыв сегодня в Париже недалеко от Елисейских полей: уйма раненых, одна женщина убита, все дома вокруг разнесло. Сирийцы или Карлос? Или вместе? И кто за ними? Этот вопрос, впрочем, излишен. За событиями, в т. ч. и внутрифранцузскими, слежу внимательно, хотя никогда тебе не пишу. С Морисом кое в чем не сходимся, но в главном — едины. Смотрю иногда известия по телевизору. Сплетни насчет «происходящего в Москве», на мой взгляд, раздуты. Напряженное ожидание в стране, где ничего не происходит, само порождает псевдособытия. А вот сыр и молоко... Но что это меняет? С Польшей еще бабушка надвое сказала. Вот оттуда («в сторону» Москвы) еще надо ожидать сюрпризов. Интерес здесь, увы, резко пошел на убыль, да и вообще к Восточной Европе почти никакого интереса нет. О Москве, кроме этих сплетен, — почти ничего. В каком-то смысле можно сказать, что «внешний мир» больше присутствует в головах московских «интеллигентов», нежели в здешней толпе (а в московской?).

Третье письмо от Мориса за последние дни. Тревожится он по поводу внутреннего моего состояния и с точностью, я бы сказал, беспощадной (по ходу и строгости его мысли) объясняет — для себя, для меня — неизбежность поэтическую моих катастроф, свирепой, изнуряющей требовательности и (прости — нельзя так о себе) почти дикой неприкаянности. Все это, б. м., глубоко справедливо, но несколько абстрактно и чересчур красиво (страшно!) в применении к моему барахтанью. Проблемы реальные; поэтически, б. м., я бы и ответил на безысходность, но ответа такого недостаточно для Бори и тебя. Ты Морису еще напиши, если захочешь. Он уловил все твои намеки и специальное послание усмотрел в Андриюшиных уроках французского. Я ему недавно рассказал о разговоре с Андриюшей. А впрочем, он и сам тебе напишет. Иногда я с ним говорю всерьез —

по последнему счету. Чувствую, как он меня любит и ценит — и при этом ни разу не встретиться!

Вечером съездил к М. Синявской. Она макетирует — со вкусом! — «Холм». Дадим на развороте два рисунка Мишо. Видел у М.С. очень талантливые каллиграфическо-художественные опусы (целая книжечка может выйти) Лизы Мнацакановой\*. Надо мне ей написать. Уговариваю М.: «Издайте, отличное дело сделаете».

Морису — очередное огромное письмо.

*Сборник памяти Кости* — подборка стихотворений, посвященных памяти убитого в Москве агентами КГБ поэта и переводчика К.П. Богатырева (1925–1976); вышел в Мюнхене в 1982 году под названием «Поэт-переводчик Константин Богатырев, друг немецкой литературы» (двуязычное издание).

*Насчет «Трех сестер»...* — Над переводом этой пьесы Чехова на французский язык Вадим работал летом 1982 года. Перевод не понравился режиссеру Гренобльского театра.

*Мартинез Луи* (р. 1933 в Алжире) — профессор-славист, переводчик, писатель. В 1955 году стажировался в МГУ.

*Чертков Леонид Натанович* (1933–2000) — литературовед, поэт, издатель. Провел несколько лет в мордовских лагерях (1957–1962) в одной зоне с Вадимом. Эмигрировал. Преподавал во Франции и Германии.

*Эткнд Ефим Григорьевич* (1918–1999) — литературный критик, профессор русской литературы. Эмигрировал в 1974 году.

*Caillois* — Кайюа Роже (1913–1978), французский писатель, исследователь мифологии.

*...рисунки к «Холму»...* — Для книги Вадима, вышедшей в издательстве «Синтаксис» в 1982 году, Анри Мишо специально сделал два графических рисунка.

*Мнацаканова Лиза* — музыковед, поэт, автор поэтических сборников. Живет в Вене. В альманахе «Метрополь» была на-

печатана ее новелла «Чехов», очень понравившаяся Вадиму и Н.И. Харджиеву.

1982 МАРТ-2

Ириша родная,

черные краски, которых не пожалел, рассказывая тебе о здешнем мире, обязаны моей требовательности и непримиримости, от которых некуда деться. Много раз повторял тебе: ты в праве мне, моим свидетельствам не верить. Разумеется, отрицать это было бы глупо и даже постыдно — и друзей у меня много, и помощь оказана неслыханная (по здешним стандартам — все так считают), и добиться удалось немало и в кратчайшие сроки. Но положение, даже без туберкулеза, просто отчаянное, а теперь, в предвидении долгого и трудного лечения (в Париже ли? Еще не знаю...), которое, к тому же, создаст массу дополнительных проблем (всего не опишешь...), — абсолютный тупик. Снова надо звонить и звонить: обратился ко многим... Жду помощи с разных сторон... Но есть сложности неподъемные (Боря прежде всего), от которых не спасет никто. Боря... Ему несомненно лучше в центре; там считают, что он должен продолжать посещение, и надеются со временем его «разблокировать». По мнению директорши, его «случай» — достаточно ординарный; трудность подхода вызвана переменной языка... И твоим отсутствием.

...Мишо занят: готовит выставку работ (новых) здесь и большую ретроспективную в Японии. М. б., увижу его через неделю. Как он сказал мне недавно: «Vous êtes injuste» («Вы несправедливы»). Возможно. В его дружбе и солидарности убедишься наглядно. Однако языковой барьер... Ничего не попишешь. Потому-то — из пустого в порожнее. Когда человек на 83-м году жизни поглощен работой и поисками — нужно ли ему это переливание?

Осточертело выступать в роли «несчастненького». И с другими ролями знаком. Но как без нашего русского — наотмашь — языка? Только что — чудесные Андриюшины фотографии в мамином письме.

Миро плох. Жак Дюпен был у него недавно в Испании: старик страдает от бессонницы, работать больше не может.

...Господи, совершенно не замечаю теплой солнечной весны — уже ходят в пиджаках, и женщины хорошеют на глазах. Сплю по 4—5 часов в сутки. И тем не менее, как упрямый муравей, сижу с Жаком Дюпеном и Мишелем Деги над поэзией. Хочу с Жаком сфотографироваться: пошлю тебе. У них ужинаю иногда, чувствую себя как дома. Дома не хватает, б. м., прежде всего. Был сегодня вечером у Грина, который ужаснулся, когда я ответил ему, что о загробной жизни «не думаю». Морису написал недавно — в ответ на мелкие сплетни, историю с Р. Ш. и проч. — большое письмо о поэзии. Он, по-моему, слишком высокого мнения о моем французском — просит прощения за несправедливый «суд» (в высшей степени, впрочем, дружеский), и «потрясен» письмом и считает, что высказаться обо всем этом — à la Holderlin! — мой поэтический долг. Но ведь уже отправил «навечно»... Да, только с Морисом могу говорить о главном бескомпромиссно. С Жаком по-приятельски. Иногда с Мишо. С Граком — очень дружески (на редкость «верная натура» и тревожится обо мне...), но много несхожестей. При всей социальной внелитературности отношение к слову — литературное. Жорж (не он один) его боготворит, собрал все его книги; благодаря мне получил несколько надписанных (хочешь, он тебе пришлет что-нибудь?). У меня тут куча его книг — и штук 30 Грина с надписями.

На «мирке», впрочем, не настаиваю. Но главное не в том: насыщенность общения зависит от внутренней полноты и самоотдачи. Если вспомнить тревожнейшие времена пятилетней давности... Счастье!

У Жака дома изумительные вещи Мирю. Ах, как обидно, что не смог повидать старика и при содействии Жака получить что-либо из лучших вещей (20—25-летней давности). Теперь, когда он в полузабытьи, угасает, и просить неловко. Да зачем мне теперь все это? Я и на книги не смотрю... Сколько мог бы найти библиофильских редкостей! К чему?

Андрюша написал такое чудесное письмо (и рисунки прелестные), что мы с Борей просто поразились. Преданный и добрый мальчик! Пусть исполнится его пожелание! В.

Предыдущие две страницы написал в расчете на обычную почту. Но нужно послать тебе свидетельство о моей болезни. Лучше иным путем.

Ириша, понимаешь ли ты, что происходит? Вот уже год, как я сижу на взрывчатке — и взрыва не вижу, не слышу лишь потому, что закрываю глаза и уши. Еще прошлой весной мне стало ясно, что если и есть у Бори какой-то шанс на спасение, мы должны переселиться сюда окончательно. Иначе невозможно. Особенно очевидно это стало, когда тебе отказали. Возвращение все более меня страшит. Да и не смогу я, после всего, что эти сволочи натворили (с нами особенно... таковы порядки, но в гробу я видал их порядки), жить с ними в мире. Больше того, и они, вероятно, со мною в мире жить не будут. Морис боится, что в Москве меня ожидает либо арест, либо что-нибудь (!) похуже. Он, возможно, и преувеличивает, но представить себе, что я никогда больше не смогу поехать за границу, — ужасно! Это одна сторона дела. Другая... Я не в состоянии поставить крест на России и распрощаться с ней навсегда. Чем дальше, тем это чувство все сильнее. И кроме чувства, есть трезвый взгляд на вещи: здесь жизнь по-своему безумно трудна и ничего хорошего мне дать не может. Работа не предвидится. С квартирой... — ужас! — «выкручиваться» здесь нельзя. Если бы выколотить миллион долларов!..

Французы готовы за тебя ходатайствовать, но положение сложное: мы-то не французы и даже не беженцы; отношения

с Сов. Союзом скверные, а главное, эти ходатайства, как ты знаешь (и особенно в данном случае), лишь приводят в бешенство.

В консульстве разлюбезны (Ох! Ах! Не отчаивайтесь! и т. д.). Я им сказал: «Передайте в Москву, что они играют с огнем, — у моего терпения есть пределы». — «Да, да, конечно, позвоните завтра, вам надо увидеться с консулом!» Позвонил. Консул от встречи отказался: положение знает, в Москву бумаги направлены, но решают там, он помочь не может. «Заходите к нам». И потом: «А почему бы вам не встретиться со Степаном Вас.?» (Посол.) — «Потому!» (Они поняли.) 1) Ни к чему это не приведет; 2) противно видеть физиономию (посол в Чехословакии — 1968); 3) не выдержу, взорвусь — к чему?

Я хотел дотянуть с Борей до июля, а потом, б. м., сдатьсь и вернуться. Теперь — туберкулез! — невозможно. Если уж лечиться, то здесь. Неопишуемые денежные (и жилищные) проблемы. Мои стипендии в сентябре кончаются. Морис предлагает помочь — не хочу! Он очень скромно живет, да и суммы нужны иные — на много месяцев... Мишель будет хлопотать. Грин снова напишет Жоберу. Грак волнуется... Пытался меня куда-то пристроить (по литер. части) — безуспешно... И при Боре работать в этих условиях не могу. Жак и Кристин в свое время очень мне помогли (крупно несколько раз), но всему есть предел. Рынок роскошных изданий (*éditions de luxe*) скуден... Однако кое-какие идеи есть. Но для этого нужна хотя бы дюжина отличных переводов, чтобы Мишо был доволен — и я тоже. Очень трудно дается... Впадаю в отчаянье. Вывозит мое упорство и верная дружба: подумать только — вернусь в Москву и никогда больше не увижу Жака! (Впрочем, он приедет...)

Сувчинских не вижу совсем уже полгода (только по телефону с Марьяной говорю). Они никого не видят. Ведь Сувчинскому 90 лет! (Ровестник Мандельштама, Гиппиус — общий их учитель.) Моник очень давно не видел; регулярно общаемся по телефону. Все они (и Мишо тоже) знают историю с Шаром.

Марьяна настаивает: «Не пишите ему, негодяю!» Морис (вижу по письмам, да и Моник говорит) очень из-за этого страдает: я ему недавно подробно рассказал и поставил точки над *i*. А он мне в ответ рассказал о 1977 годе, как было с Р. Ш. и Тиной. Легко быть «поэтически солидарным» с Мандельштамом или с Гёльдерлином, а вот повседневная верность... Морис теперь все понял; очень он меня любит и верен, как скала (а умен!!).

Степу и Анн вижу редко: подолгу болтаю по телефону. На каникулы они, увы, уезжают...

Радио? Очень я недоволен первой попыткой (а там — довольны???). Нет подходящего собеседника. Мишель рвется, но... Ах, мало времени осталось. Нужен тот уровень серьезности, которого достигаю в письмах к Морису (хотя и о мелочах пишу, о быте и пр.). А что если зачитать отрывки из писем? Прошлой весной меня спросили: нельзя ли попросить письма у Рене? Нет, он бы ни за что не согласился... Да и мне противно их обнаруживать.

О нем (Рене) часто говорю с Жаком и Кристин. 30 лет дружбы! Жак, увы, на радио беседовать не хочет — «не умеет». Но переводы свои прочтет. Впрочем, вряд ли передача осуществится.

Париж сказочно красив. Почти летняя погода. Странно... Физически чувствую себя лучше.

Хочу работать, писать!

Да. Совсем нет у меня французских фотографий. А хотелось бы тебе послать. Когда гостил у Жоржа, он целую пленку снял (в том числе в Анси, у каналов, с детишками). Я ему как-то напомнил — отвечает, что, кажется, ничего не вышло. Нет, на эти мелочи ни у кого нет времени.

Плохо без книг! До стога! Без поэзии! Если... Как получить мою библиотеку??? Да, для Левки\* у меня кое-что есть, но нет пока возможности... Есть ли у кого-либо из друзей какие-то конкретные пожелания? А у тебя? А у Юры\*? Мераб\*?

Объяснюсь. Парижский мирок мельче и легчевесней, нежели его московский близнец, который, как тебе известно, я тоже не очень-то ценю. Но из Москвы кое-кто (я, в частности) способен — без малейшего конформизма — видеть дальше и резче, нежели из этого застойного и пустого копошения. Жесткая альтернатива и грозная опасность. Последнее — удел избранных. Там, где проклятье, там и незримое избранничество.

Всегда был этот «мирок» (говорил об этом с Грином), но теперь настолько он измельчал, настолько далек от существенного, которое расплылось донельзя, настолько лишен критерия в этом мире, утратившем всякое чувство истории, трагедии, бездны, безмолвия.

Говорил давно о проклятии — не поняли...

Морису не так давно (объясняя еще раз желание вернуться) в горечи написал что-то вроде: «Peut-être le trou noir et bouché de Moscou vaut bien le désert glacial et stérile de ces lieux». («Может быть, черная и закупоренная московская дыра стоит ледяных и стерильных здешних мест».)

Ох, грохот за окном. Мотоциклы. Полицейские машины сигналият. И рядом пузатый холодильник гудит (подарок родителей Присциллы, знакомой Мераба, которая у вас только что побывала).

А если возвращаться... Как переправить эти горы книг, пластинок и проч.??

Еще раз объяснюсь. Избранничество? Незримое! Не «ордена и медали» и не кафедра учителя жизни. О нет, все это страшнее. Быть может, тишиной и безголосьем. Все проворонили, но это — невозможно. Слишком серьезен этот разговор, чтобы ограничиваться подобной болтовней. Мог бы высказаться, но необходимо длительное одиночество и повседневный труд. Нет, не сравнивай, Ириша; у нас к жизни разный счет... Не говоря уже о других (и это естественно) различиях. Отсюда и несрав-

нимость повседневного, и нашего к нему отношения, и восприятия жизненных ситуаций.

Боря: не только ни малейшей помощи (в магазин — никогда и ни за что), но каждую мелочь, требующую минимального движения, надо вдальбивать молотком. Оставь его — просидит, как полурастительное существо из Лотреамона. Попытки расшевелить его, бесконечные нотации, нравоучения, беседы о жизни — устал, надоело. И тереться бок о бок в бесплодном рассеянном существовании. Никак не заставлю его написать (начать!) тебе письмо. Зато гуляет, кажется, с удовольствием (сегодня — если не соврал — был у Нотр-Дам). Да и как понять, что в нем происходит? Жить в этих условиях, без тебя, в полной неуверенности (он знает наше положение) ему особенно нелегко. Не сомневаюсь: если бы его «раскрепостили», многое бы в нем изменилось... Но ведь порочный круг образовался по милости наших господ. Зачем я им нужен? Они страдают без моей любви? (Заметил я это еще во время московских бесед: у них сознание прокаженных.) Тошно. И сколько вокруг трагедий! Поляки, застрявшие и не желающие возвращаться, несчастные иранцы... Безумная жизнь!

В консульстве я сказал, что лечиться буду только здесь (они кивают) — пусть в Москве не настаивают.

...Выбрался наконец под вечер на огромную выставку Поллока\* (Бобур — в двух шагах!) Нет, его dripping<sup>1</sup> еще не живопись. Недостаточно создать варварскую фактуру (порой весьма замечательную), необходимо утвердить свою точку отсчета. Ранние вещи подражательны и небезынтересны. Но есть несколько великолепных монохромных вещей, где существует подлинное пространство, и полотна эти по праву (в отличие от самых прославленных) заключены в рамку. Хочу поговорить об этом с Мишо: кое-что общее несомненно. А пока говорил

---

<sup>1</sup> Здесь: кляксы (англ.).

с ним по телефону (через несколько дней увижусь); он советует мне хорошенько подумать о будущем: как устроиться всем вместе, если ты приедешь? Он знает, как мы живем (2 квартиры) и понимает отлично мою дикую потребность в одиночестве (мне кажется, Мишо вообще меня изучил неплохо). Что делать... альтернатива жесткая. Понимаешь ли ты, что тебе и жить будет с Борей негде, если приедешь мне на смену? Сите... Только для меня. И сколько еще? Нужно много денег!

Учат Борю играть на гитаре. Вот увидеть бы! А я тем временем в полном отчаянии ищу для него интернат. Не свалиться бы совсем. Профессор предупреждал: при первых же тревожных симптомах обратиться к нему немедленно. И взял с меня слово, что на протяжении всего курса лечения буду выполнять его предписания неукоснительно. Увы, не могу поручиться...

Нет, Ириша, ничего не забыто. Страшусь возвращения в московскую яму. Но оказалось, что и тут нет выхода. Конечно же, сознаю: раздавлен заботой, Бориным несчастьем, неустроенностью и подвешенностью существования, миллионом терзаний... Но знаю и то, что не в этом только дело: нет желания разглагольствовать на эту тему.

Ник. Ив. вкладываю — передай! — письмо (открытку посылаю по почте). На всякий случай. Уверен, что он не пошевелит пальцем, но все же... Кто знает? Сама с ним на эту тему не говори — если только сам заговорит.

Не употребляю громких слов, которые напрашиваются. Судьба, катастрофа, отрезанное с кровью... Не лечиться теперь и здесь было бы крайне опасно. Лечиться... Какая перспектива? Семья разбита, и Боре я помогать не смогу. Предлагают (бесплатно) поселиться в провансальском пастушьем доме около Ванса. О, господи!

Только что посмотрел телепередачу о Телониусе Монке\* (он недавно умер): соло в Парижской студии — бесподобный пиа-

нист! Но слушаю и классическую музыку: тут в зале иногда молодежь играет. Впрочем, редко выбираюсь...

От Мориса потрясающее по нежности и преданности письмо. А весенний Париж и впрямь прекрасен — стоит, б. м., обедни — для здоровых молодых королей.

*Левка* — Лев Михайлович Турчинский (р. 1933), известный библиофил, знаток редкой книги, близкий друг Вадима и Ирины.

*Юра* — Юрий Петрович Сенокосов (р. 1938), философ, издатель, распорядитель фонда Мераба Мамардашвили. В 70-х годах работал в журнале «Вопросы философии», где Вадим печатал свой текст о Поле Валери.

*Мераб* (1930—1990) — выдающийся грузинский философ Мераб Мамардашвили. Познакомился с Вадимом в 70-х годах в редакции журнала «Вопросы философии», где был заместителем главного редактора.

*Поллок Джэксон* (1912—1956) — американский художник, родоначальник «абстрактного экспрессионизма».

*Монк Телониус* (1917—1982) — композитор, пианист, родоначальник стиля би-боп в джазовой музыке. Прославился своими джазовыми импровизациями.

## 1982 МАЙ

Ириша родная, вместе — не вместе... Пойми простую вещь, Борю я смогу (вероятно) устроить на жительство в интернат (с продолжением курса) лишь осенью, а до тех пор лечиться не смогу. «Осенью после лечения». Но ведь мое лечение, по словам профессора, займет минимум год. Сознаешь ли ты, что это означает? И если добавится еще бездна труднейших проблем, о лечении не может быть и речи. А это, по словам то-

го же профессора, крайне опасно. Да, я привык жить рискованно, однако всему есть пределы, которые диктуются, кстати сказать, моей ответственностью за вас. Яд сколопендры? Но ты знаешь, что в этом смысле — в лучшие минуты — я счастливчик, т. к. почти алхимически умею из яда добывать золотой напиток. Если бы не это, разве были бы сомнения в твоей правоте? Очень немного. Но твое письмо меня потрясло и конкретнейше на меня подействовало. Ты сейчас на деле сталкиваешься с цементной гадостью, которая травила мне душу многие годы. И все же — внутренне выдержал, оставшись верен себе и своему пониманию жизни — неписанному закону, критерию.

Милейший и симпатичнейший (компетентный!) психиатр, у которого — в целях практических — мы были вторично (женщина, отлично знающая наши внепсихиатрические проблемы), тоже считает, что Боре следует продолжать начатый курс в центре и что ему там несомненно — более или менее (тайна!) — со временем помогут. А для этого надо устроить его на жительство с возможностью дальнейшего посещения центра. Уже все это — 100 000 проблем. Другие... Неопишимо. К счастью, есть изумительные друзья. Морис потряс меня (и не только меня) своим предложением. Надо поэтически подготовиться. Но это щепка в море житейских трудностей.

Безумно не хватает моих книг, библиотеки.

И не ссылайся на примеры и случаи. Они, разумеется, помогают видеть вещи трезво и ясно, однако, силы закона никогда для меня не имели. Мою твердость ты знаешь. На нее и положились. Хотя на сердце — туман и смятение. Боль!

Рисунок Андрюши (с поразительным текстом) покажу Мишо — который, впрочем, лишен сентиментальности. Но верность умеет хранить до конца.

...Твои чувства я понимаю и разделяю. Но твой взвинченный тон и шаромыжный лексикон побуждают меня... взбунто-

ваться. Прав ли был Блок со своими проклятиями — слопала, мол, его Россия, как чушка своего поросенка. Возможно. И даже не стану попрекать его «Двенадцатью». Но я, в отличие от него и многих других, не в состоянии вступать в истерическую перепалку с «Россией». Позволь мне остаться при своем, глубоко продуманном и выстраданном. Говорить об этом всерьез не с кем, особенно здесь. Морис — преданнейший друг, но и он в мою шкуру влезть не может (и не надо, впрочем).

Возможно, я более ничего не напишу и никогда по существу не выскажусь. Позволь мне дожить оставшееся таким, каков есть.

Обстоятельства толкают меня почти неотвратно к границе, переступать которую не собирался и за которой не вижу даже призрака истины, подсказываемой мне безошибочным инстинктом. Ненависть и злоба судят порою верно, но лишь до каких-то пределов. Ты (отчасти) знаешь меня и, вероятно, понимаешь, что решение остаться или вернуться — независимо от реальных возможностей и наших запутанных обстоятельств — подсказывается чем-то более долговременным и весомым. И ничего практически положительного (чтобы не сказать сильнее) для себя в Москве не вижу. Но, кроме всего прочего, ты совсем не отдаешь себе отчета в том, что ожидает тебя здесь. Дело даже не в горьком хлебе и не в первоначальных (дьявольски!) трудностях устройства. (Лечение... бездомность...) Московско-французское окружение глубоко обманчиво и призрачно. Скажу прямо: ты, на мой взгляд, будешь здесь глубоко несчастна — возможно, еще несчастнее меня. Не забудь также, что я почти развалина...

Практически твои идеи нелепы. Если уж перебираться на запад, то мне ни в коем случае нельзя возвращаться. Лучше уж пытаться вытащить вас. Кроме того, туберкулез надо лечить тут. Если меня по возвращении отправят в Сибирь, я предпочел бы оказаться там со здоровыми легкими. Но до Сибири да-

леко, т. к. лечение — если оно состоится — будет крайне длительным. А с другой стороны, не имею права лечиться... Вдруг вы приедете? Надо работать. Все висит на волоске. Не выхлопочут мне очередную стипендию (очень возможно) — придется складывать чемоданы. Но и работу надо искать, необходимо найти... В этих условиях и в этом состоянии — и физическом, и гражданском — находиться невозможно. Это лишь один клубок. А их — 1000.

Мои знакомства и общения пусть тебя не обманывают. Все это хорошо для «туристической поездки» и последующих рассказов в Москве.

Если тебя (вполне возможно) пустят, то и Андрюшу ты сможешь взять. Мальчика не на кого оставить! Очень просто. Пойми, что шантажировать нас ребенком, оставшимся (если...) в Москве, никто не сможет, какой бы пост он ни занимал.

Не знаю. Чувствую, что ты раскалилась и что больше жить там не в состоянии. Сумеешь ли, без чрезмерных страданий, тут?

Да и впрямь: как жить в этой полярной голодной сумеречной дыре? Но... но... но...

И Андрюша, забывающий русский язык, и твое недоумение, оторопелость перед этим миром, которые вижу наперед... Подумай. Я бессилен. Как быть с архивами и библиотекой?

Продолжу — пока нет okazji (якобы, несложно, однако звонки, встречи, просьбы...).

Приглашение, разумеется, сделаю, но когда? Аня готова была, съездила в консульство, взяла бумажки, но, прочитав текст, испугалась реакции мужа: «...Все расходы в случае болезни или несчастного случая...» (стиль! цитирую...) Муж — симпатичный рядовой француз. Легалист; наша жизнь и проблемы — дальше, чем луна. Пойди объясни... Все это я заранее понимал.

Боря. Поверь на минутку, что у него тут есть какой-то шанс. Подумай об усилиях (нечеловеческих — Аня dixi, она знает),

которые я затратил в течение этих 14—15 месяцев. Неужели же сдаться? Временами (особенно сейчас) к этому склоняюсь, но нет! Не имею права. И если ты настроена (сознавая, как будет тебе нелегко — тебе, а не Лизе Мнацакановой) переселяться сюда, не рассчитывай на мою вторичную, по возвращении, борьбу. Сперва надо вылечиться (год и более) — иначе околею, да еще на голодный российский желудок. А затем — сколько десятилетий бороться? Нет, надо меру знать. Куда легче будет вытащить вас. Положение мое («не стыжусь этого слова») трагическое и катастрофическое. Ах, не знаю, не знаю...

Время проходит, жизнь проходит (а легкие, быть может, пылают); хочу жить с вами сегодня! Иначе мое существование лишено всякого смысла. Посвящение в «ГРОЗОВОЙ ОТСРОЧКЕ» готов повторить слово в слово. Помнишь? Перечитай:

*«...Да, права она, всегда права, но не правомочна. Потому-то, должно быть, и забываешь о ней, и досадуешь. Что ты все под ногами? На порог даже: пошла к чертям! И уходит, всегда уходит: в своей правоте, в уходящей, неблизкой, но правоте. Дождь, хлеб, стол, град, родная кровь, чужая вина — все больше, меньше ли, а правомочны. Крыша найдется. Но не она — не ей! Есть у нее и когти, и зубы — есть! Но ПОЭЗИЯ — она всегда права лишь потому, что бесправна. Сама отказалась, раз навсегда. И не перечисляй: нет их, прав. Не перечисляй ни заслуг, ни достоинств. Этих — особенно. Нет, их не примет. Нет, говорит она, право заслуги, права достойных — лишь для свиней. У нее их нет.*

*Но есть у нее сестра. И без этой сестры ей не жить; и сестра эта тоже всегда права, хотя нет у нее ни заслуг, ни достоинств. Но когти и зубы — еще какие! Вся она — перья, зубы и когти! Да, у этой сестры — все права, и лишь потому она права, и потому-то, должно быть, хоть и неразлучны, хоть и срослись, а подчас так свирепо они враждуют: бесправная и та, другая, что взяла все права. Хотя неразлучны, хотя срослись, одна*

*без другой — никак... Да, не жить, но подчас, но когтями, одна с другой, до крови, цепко, в клубок... Вечно они то срослись, то в клубок. Неразлично. Так или иначе. Угадай-ка: кто из них яростней?..*

*Тебе, И., по праву любви хочу посвятить эту книгу...»*

Мне легче говорить обо всем этом с Марьяной Сувчинской (несмотря на долгую жизнь тут она русская), нежели с разными «специалистами по России». С эмиграцией то же («с другой стороны») — ничего общего. Но это уж мое поэтическое «проклятие»: вечная бездомность и вечное безвременье. Морис понимает, но не конкретно. Сегодня прислал текст обо мне, написанный для радио\*.

...Чего ты от меня хочешь? Надо выбирать!! (Самое трудное; Жюльен Грин рассказывал о молитве одного священника: «Господи, я готов слушать тебя, но выражайся ясно».)

О Господи, понимаешь ли ты, как я страдаю (Аня видит, когда звоню от нее), слушая его голосишко? Вот тут-то вскипает во мне ненависть к московской нечисти... Которую готов разорвать в клочья. Даже с потерей легкого.

А без тебя... Ириша родная, как я еще дышу? Если тебе на сей раз откажут... Не знаю... б. м., порву их треклятый паспорт. Но к чему это приведет?

Если бы не бактерии, устроил бы Борю — и вернулся. Но лечиться надо — лечиться тут. Именно это усложняет дьявольски все дальнейшее. В конце концов, можно расстаться даже с библиотекой, лишь бы вас заполучить... Думаю, что и работу нашел бы... И постепенно наша жизнь наладилась бы... После эдаких «номеров» (плюс публикация «Холма») — кто меня снова выпустит?

Но... но... но... Вернулся бы.

Только что попросил Борю «нарисовать дом». Что же ты думаешь? Прогресс! Несомненный! Рука не скована, линии ров-

ные и все «атрибуты» имеются (даже дым из трубы — резко и энергично). «Психиатрия на дому». Нет, не знаем мы еще его возможностей. Ты должна приехать, и надо пытаться ему помочь.

...Прочел оттиск большой статьи (из сборника) Сувчинского о Стравинском: недавно прислал. Неровно. Местами — особенно пятый раздел — великолепно. В 1975 году написано! Может быть, через неделю их наконец увижу. Только без «Петров Петровичей» (П.П. Петух! — по его словам...): Пьер. Ладно, пускай. Метроном! А книжку до сих пор не получил. Думаю, Сувчинский мог бы неплохо о моей поэзии написать. Но теперь ему, пожалуй, слишком трудно. Текст Мориса прост (нарочно... для радио), да и не знает ведь русского. Что по переводам угадаешь? Вставлен перевод: «ni fleurs ni couronnes»<sup>1</sup> (халдай-холодок) с оговоркой, что, мол, трудно и даже невозможно перевести. На мой взгляд, хороший перевод; и Жак Дюпен со мной согласен. Сизифов труд.

Перед Морисом даже стыдно становится: он об мне (верю!) «днем и ночью» думает, не спит... В последние две недели получил от него не менее десяти писем.

Любимый, несравненный Морис! Сегодня снова письмо: потрясен переводом «Ярость и тайна» (с Жаком переводил, потом сам доработал) и моим письмом о том, «как пишу». И вот переделал (расширил, углубил) половину своего текста. Мои ночи... Если хочешь, пришлю тебе этот текст с переводами (два стихотворения — я бы сам хотел их прочитать). Лучше всего было бы три стихотворения: «Ярость и тайна», «Ни цветов, ни венков», «В путь» (Андрюше) — те, что по-французски, лучше всего получились.

Мишо тоже на удивление верен. Я боялся его тревожить перед вернисажем (18) — знаю, как он нервничает. Ничуть не бы-

---

<sup>1</sup> «Ни цветов, ни венков» (франц.).

вало. Зовет меня 17-го (в тот же день к легочному профессору, вечером с Граком ужинаю) посмотреть переводы для подготовки нашей с ним роскошной книги. О тебе расспрашивал, мои легкие, Боря — всем дружески интересуется. Спрашивает, нельзя ли использовать текст Мориса для предисловия или послесловия к «нашей книге». Посмотрим. В таком случае надо его несколько переработать. Борьку все же надеюсь устроить в хорошие (с заботой и продолжением лечения) условия. Каких это усилий стоит... Однако важен результат.

А м. б., Морис напечатает его в «Quin. Lit.» с моими стихами, в т. ч. «Себя ли ради» — очень понравилось — поэтический «гений» — спасибо, спасибо...

...Приглашение тебе хочу подготовить быстро через Жака или Мишеля (мои друзья, так и скажешь в ОВИРе... но не спросят), чтобы передать его с этим письмом. А также письмо НИХу... Новые обстоятельства. А второй экземпляр — по почте. Ты не думай, умоляю, о результатах. При таком настроении действовать невозможно. И можешь твердо рассчитывать на меня. Еще раз: зубами вытащу (если...).

Прием у Ширака (мэр Парижа) в честь этого Сите-дез-ар. Ладно, пойду, хотя общение это осто...

Грин (вернее, Эрик) уверяет, что, если приедете, будет и квартира. С Андрюшей, разумеется. Но деньги??? Работа, да... Завтра буду обедать с главным редактором (директором) «Экспресса». Он ничего не забыл. К врачу (очередной визит) не успею.

На улице жара. Слава богу. Надоела сырость и дожди, дожди.

Ириша, я тебя нежно люблю и без конца целую.

Твой бедный воитель В.

Потрясающие сцены по телевизору: массовые демонстрации («мелкие беспорядки» — согласно варшавскому радио)

в Польше. Краков... Ну и ну! Вот где коса на камень. Это совершенно новое явление в царстве сатаны.

А как мать? Волнуюсь. Поцелуй.

При всем том: ведь едим с Борькой круглый год овощи и фрукты (стараюсь) — это важно! Если буду лечиться...

Съездил под конец дня (рабочего) к Жаку в галерею: составили тебе 2 экз. приглашения. Жак постарается все формальности (мэрия—МИД—консульство) выполнить молниеносно, но пятницу он проведет под Парижем, а в понедельник у меня сумасшедший день: в 11 часов — Мишо (и литографии будем отбирать), днем — визит к профессору (страх-ужас), вечер занят. Да еще куча домашних дел. И для Борьки надо разное успеть. Увидим.

У Шара в «заначке» хранятся замечательные первоиздания Реверди, переданные вдовой галерее. Один экземпляр (номерной, с пометкой и портретом работы Пикассо) — мне. Но куда??? Где моя библиотека?? Литографии, эстампы, афиши — все свалено в углу (могу — Жак устроит — получить и роскошную литографию Миро).

Выспаться не могу! И не по биологическим причинам, а: 1) условия; 2) тревоги; 3) безбабье; 4) поэтическая взвинченность к часу—двум ночи.

Морис пишет обо мне и цитирует Фр. Кафку: «l'existence de l'écrivain dépend réellement de sa table. Il n'a pas le droit de s'en éloigner, il doit se cramponner avec les dents»<sup>1</sup>. Это я подчеркиваю.

Вечером часто — по 2 часа — «беседы» с Борей. Т. е. я ему рассказываю разное, наша жизнь в прошлом и настоящем, его детство и все без упрощений (но простым языком) — и с «выходом» к иным темам (история, поэзия и т. д.).

...Еще дополняю. Прав ли Морис? Вероятно. И Мишо тоже. Под угрозой, в «Грозовой отсрочке» мои поэтические силы

---

<sup>1</sup> Существование писателя реально зависит от его стола. Он не имеет права от него удаляться, он должен вгрызаться в него зубами (франц.).

(ритм! ритм!) удесятерятся: отвечаю залпами. Увы, подавляющей частью силы эти (в каком быту! в каких тревогах и хлопотах!) отданы теперь переводу... Который, впрочем, внезапно почти (!) уравнился в правах с тем, что пишу по-русски. Днем, ночью, без сна — работаю как зверь. И практически это важно. Помимо публикаций, о которых тебе писал (с М. Б.), сегодня окончательно решил с Мишо вопрос о совместной книге (édition de luxe, т. е. деньги!). Вот кто безошибочный судья. Прочел сегодня дюжину моих переводов (кое-что исправил) и был дружелюбен как никогда. В конце книги — страницы две Мориса (надеюсь, согласится). Предполагаемый богач-издатель\* (невероятный сноб) надевает в штаны от восторга.

Подумываю о том, что бы такое особенное написать для «Э» («Экспресс». — *И.Е.*)? В перспективе, если сумею, большие возможности. Сумею ли?

Но... но... но... Отправляюсь на свидание с легочным профессором. Будет настаивать — откажусь! Не могу иначе.

Борька вчера со Степой и Анной слушал (концерт) Окуджаву. Доволен. «Доволен? Понравилось?» — «Да». Вот и весь разговор. Впрочем, поздно, перед сном.

Майя Синявская вернулась из США (Андрей обедал с Рейганом! И еще несколько диссидентов — ну и словечко! Соответственно... А.И. (Солженицын. — *И.Е.*) отказался от их компании) — стало быть (уже звонила), надо то и дело носиться в Фонтене (расположение строк, текстов, рисунки А.М. и т. д.).

Итак. Посев — тоже ничего нет: ни одной культуры. Снимок — никаких изменений. Вывод профессора (сверхлюбезен): туберкулез, но стадия спокойная, бактерии вялые. На всякий случай через месяц снова встречу, а перед тем 3 раза (в 8 утра!) пробы из желудка. Учитывая мое положение, можно, видимо, не лечиться. Никому (т. е. «им») не говори, т. к. карту туберкулеза надо использовать. Гора с плеч! Симпатичнейшие лаборантки. Обо мне, о вас меня спрашива-

ли: «Мы много о вас говорим (!!)

Расскажите, если будут новости». И т. д.

Продление жилища. Хлопоты. Но тут у меня сильная рука. Как вас вытащить? Положись на меня!

Прости, Ириша, бесконечное «продолжение следует» — т. е. моя любовь и почтение. Сегодня впервые за все эти месяцы напился с Жаком: на приеме у богача-любителя живописи по случаю (после вернисажа) выставки Мишо. Наконец-то познакомился с его подругой Мишлин Пан Кин (бывшая жена Куперника; он тоже был). Акварели весьма неровные. Но масло есть бесподобное!!! И тушь. Сам Мишо изумителен, полон юмора, дружбы — и «выделывает над головами коленца!» У богача масса его вещей (и Дюбюффе — гм.... нет, ничего — и др.), в т. ч. мескалиновые. Ко мне — !!! Сердечности, дружбы и внимания. Книжку подготовим (надеюсь... тьфу, тьфу!). Завтра Жак будет говорить с издателем. Дениз Эстебан рассказывала о Шаре, которого недавно видела. Мою с ним историю (многолетнюю) все знают. Все — это малюсенький мирок. Тем не менее.

Ах, верный Жак! Если бы устроил Борьку на лето (возможно), какое-то время провел бы у них на юге. Нуждаюсь! И особенно с теми, кого люблю. Мишо говорит: «Бактерии вас боятся». М. б. Но думаю о других, куда более страшных. Ничего, одолеем.

Мелочи купил — на ходу — Андрюшке.

Переводы... Пишу... Но что в «Экспресс»?

Попрошу у Мишо для Ник. Ив. книгу «Saisir»\* — высший класс. Или уже послал? Ох, пьяный... И готовлю Борьке завтрак.

...У тебя скоро день рождения. Кисанька, прими «рубашечки» в качестве юбилейного подарка. И помни, как я тебя нежно люблю.

Матери к 27-му постараюсь написать. Если не успею, передай, что я ее люблю, ценю и уважаю («а ты меня?») — увижу ли еще?

А все-таки приятно, что мама (моя) увлечена платьями и «водолазкой» (есть ли тут таковые? Не уверен... Магазины километровые внушают страх, а маленькие сверхдорогие). Вот ты бы искала... Поймешь!

Конечно же, надо подавать документы. «Поезжайте-ка лучше в Харьков...» Шиш с маслом. Уже то отрадно (злорадно), что я их сейчас мариную — пусть понервничают. Подонки. То, что требуют от тебя соблюдения формальностей, — нормально и ни о чем не говорит. Откажут? Ну, тогда пусть пеняют на себя. Я, пожалуй, в консульстве — дипломатично и ясно — предупрежу.

Я нарочно все вышесказанное отчеканил резко — потому что за определенной гранью «туманы» для меня нестерпимы. И еще потому, что мои звонки, насколько могу понять, лишь действуют тебе на нервы. Скажи прямо. И вырази определенно свои пожелания относительно нашего будущего. Ни ради Мориса, который бесконечно об этом спрашивает. Ради меня. Я к тебе должен прислушаться, а затем, приняв решение, готов совершить невозможное. Или... или...

Письма твои мне неинтересны? Неправда! Об одном Андрюше можно писать подробно без конца. Ведь я его 15 месяцев не видел! И о себе. Об окружающем. О друзьях. О быте. Мне надо вдумываться и решать. Решать. Не говоря уж о том, что в письмах частица нашей души и любви. Пока дышится. Пока любитя. Как быть без этого? Знаю, что во мне ничто не угасло, и только это сознание позволяет продираться сквозь дебри.

...Устал. Но доволен. До часу ночи переводил вместе с Жаком — каркас подготовил сам. Говорю ему: «Вот стало на душе легче. А казалось бы: тридцать—сорок пустяковых строчек, которые и 5 сантимов не стоят». — «Да, “Озарения” не вращают турбины и не стреляют по аргентинским судам. И однако...»

Доказал — в последние 2—3 месяца, — что можно переводить сильно и на французский. Так здесь, мне кажется, еще

никто не переводил. Жув — Гонгору. Но куда мне до Гонгоры... Который все же ближе к «малофранцузскому» Жуву.

Эх, Ириша, погулять бы нам по Елисейским Полям! Пока не наглотался антибиотиков...

*...текст обо мне, написанный для радио. — К сожалению, текст Мориса Бланшо, написанный для радио, не сохранился. Но он лег в основу его отзыва на программу работ Вадима в CNRS (Национальный центр научных исследований), приводимый ниже:*

## ПОЭЗИЯ И ВРЕМЯ

*Я могу лишь отметить (в силу ограниченности моих познаний: неискушенности в русском языке, знакомства с русскими поэтами по неудовлетворительным переводам) важность исследовательской программы, предложенной Вадимом Козовым. Каждый чувствует и всегда предчувствовал, что к концу девятнадцатого века и в начале, да и на всем протяжении века двадцатого, в двух странах (Россия, Франция, да и другие, например, Англия с Т.С. Элиотом и его «Бесплодной землей») поэзия, требовательность поэзии обнажили не просто крах языка, но глубочайший переворот всей социальной и интеллектуальной практики. Переворот, который настолько же катастрофа, насколько и обещание, катастрофа в самом обещании и vice versa. Поэтическое произведение, уединенное, что бы ни связывало его с другими, являет в себе время, некое время, так что задним числом кажется пророчеством, хотя никто не в силах знать наверняка, что именно оно возвещает и не исчерпывается ли оно этой вестью либо, напротив, каждый раз возрождается в ней заново. В этом смысле можно сказать, что Малларме, Рембо (совершенно разными путями) выявили и назвали то содрогание времени, которое позднее проявилось в России, резче, чем где бы то ни было, хотя не оставило незатронутой «культуру», историю и других стран.*

По-моему, никто лучше Вадима Козового, благодаря его блестящему знанию русской и французской «литератур» и тому, что своим творчеством он принадлежит им обеим, не сумеет проследить, понять и донести до других готовность к перевороту и разрыву, заложенную в утверждениях поэтов названного периода и выраженную в их произведениях или через них. Речь идет о новом прочтении поэзии, а сквозь поэзию — о новом прочтении времени<sup>1</sup>.

Богач-издатель — Пьер Берес (собственно, Пьер Берестов, р. 1913), парижский книготорговец, издатель, галерист, специалист по старой и редкой книге; также издавал сочинения Валери, Шара, Мишо и других современных авторов. Его фирменный магазин открылся в 1939 году.

«*Saisir*» («Удержать») — поэтическая книга Анри Мишо с иллюстрациями автора.

## 1982 ИЮНЬ

Ириша родная,

Борька на 3 дня укатил с Жераровым семейством за город. Надо срочно сделать еще несколько переводов (и доработать прежние) — не сплю, глаза на лоб лезут. Богач-издатель (ультрасноб) буквально сошел с ума от нашего предложения. Он и Жака ценит чрезвычайно. Но Мишо-Бланшо! Такое ему и не снилось. Так что рвется немедленно начинать. Будет огромное (по размерам) издание — как литографии Мишо, которые у нас (у меня их — в т. ч. гораздо более сильные — штук 50). Через пару дней все окончательно обсудим с Мишо. Но тексты не готовы.

---

<sup>1</sup> Перевод И. Емельяновой.

Еще одно. Согласился (после мучительных колебаний) перевести «ТРИ СЕСТРЫ». Деньги!! Еще и проценты буду получать с каждой постановки. Театр знаменит. Вслед за Греноблем покажет пьесу на авиньонском фестивале, а потом в Парижском дворце Шайо (!). Если получится (надо заострить текст), откроются иные, еще неведомые возможности. Но отдых — ноль. И если не устрою Борьку... В понедельник, видимо, подпишу контракт и, возможно, получу аванс.

Да, а книга будет двуязычной. Очень важно! Печально только, что невозможно перевести самое сильное: «Еще одна вариация», «Отправляю навечно» и т. д. (Может быть, согласиться включить немецкий перевод? Сувчинские уверяют: отличный!) Книга Ник.Ив.\* вышла. Я обеспечу ей достойную рекламу, и пусть не злится на предисловие. Скажи ему.

Жак надписал только что вышедшую книгу (тексты о живописи): козовойщина — en pleine kozoviegie exaltée. «В угаре козовойщины!»

Киса, отнесись к происходящему стоически. Пусть они по-нервничают. Ты прекрасно знаешь: я не сдамся. И практические проблемы постараюсь решить наилучшим образом. Целуй моего красавчика. А я — тебя.

Да, прятанье (все это) головы в песок, а ведь без преувеличения — страшная у меня жизнь. Для истории литературы, психиатрии, физиологии — и тоталитарных режимов — великолепный пример! Страшная!

Мишо и впрямь настоящий друг. Если сбудется то, что он мне обещал (косвенно — в разговоре с Жаком), будут деньги на полтора года жизни. Что заплатит мне издатель — неведомо (плюс 10 или меньше экземпляров). Но Мишо получит треть (т. е. примерно 30 экз.) и собирается отдать мне львиную долю (примерно 25). Тираж — примерно 100 экз. Один экз. может стоить и 10 тысяч (и меньше гораздо, и больше).

Цена зависит от количества литографий, которые согласится сделать Мишо. Потом буду потихоньку (с помощью Жака и других) распродавать. Завтра иду к Мишо. Хорошо, если бы он сделал не одну, а несколько цветных литографий. Цена сразу подскочит.

Получился настоящий сборник. Потом можно будет издать его в обычном виде (с дополнениями).

Издателя Мишо к себе не пустил («Я у себя не принимаю»): сам к нему пойдет. Возможно, и я. Плохо без машинки — друзья выручают.

Морис снова переработал свой текст. Он тебе, кстати, еще раз написал. Его дружба — какая! — редчайший, необыкновенный дар. И поэзию мою он, как и Мишо, почувствовал. Он ведь скуп на пышные фразы — не стану и я повторять то, что он написал мне и обо мне. А русские? Ну да, Ник. Ив., Сувчинские... Вот и все.

Прочти «Les ravagés»\* Мишо: у нас есть (им надписанное) отдельное издание. Вошло в последний сборник. По рисункам душевнобольных. Местами просто гениально: и сколько щедрости, какое вживание и сострадание. Без слюней, но... Язык — чудо ритма и меткости — поэзии. Говорю это без экзальтации (и не «потому что») — много раз перечитывал.

Да, это роскошное издание будет двуязычным (повторяюсь).

Пичкаю Борю фруктами — горы! В конце месяца он на неделю «выедет» со своим центром в Бретань. Вскоре поедем с ним на разведку — посмотреть место, где, быть может (???), удастся его устроить. Если... то он и август с ними (подростки «с проблемами») проведет в деревне. А июль — со Степой. А я — с Чеховым. Степу и Анн не видел 2 месяца. Телефонное общение — они заняты! Если бы хоть один раз выспаться!!! Не вру: с кучей таблеток — 4–5 часов сна, не больше, хоть ты лопни. И поэтический азарт! Помнишь? Мог бы уже целую книжку на русском написать...

Кисанька, никак не могу тебе позвонить (недоразумения), да и времени — ни секунды. С Борькой — его молчание и стопроцентная беспомощность рядом — тяжело: ад! Временами. Спать даже времени нет. Духота дьявольская. Без конца хлопоты насчет Бори, родительские собрания, встречи с врачами, звонки (автомат), беготня...

Над переводами работал как зверь. Ура! Мишо в восторге. Я ему читал (он просил) как когда-то Ник. Ив-у. Это было 3 дня назад. («Ты и я» — мой перевод: пляшет.) А сегодня мы были у издателя. Мишо пришел первым и, кажется, наговорил обо мне черте что: мол, гений и т. д. Издатель — сноб и богач — весьма симпатичен (Мишо приятно удивился; на лестнице признался мне: «Я всю ночь не спал. Готовил отповедь»), сверхлюбезен. Само присутствие Мишо привело его в восторженное состояние. Показал нам один из перлов своей богатейшей коллекции: гранки «*Le coup des dés*» («Бросок костей») с обильнейшими пометками и заметками Малларме. Меня приглашает обедать (т. е. ужинать) «по-семейному» — и чтобы обсудить конкретные детали. Хочет записать мой голос!!! (Мишо, что ли, наговорил обо мне?)

Долго (всю ночь — в пяти экз.) правил чудовищно напечатанную рукопись. 1 экз. — Мишо, 1 — Морису, 1 — себе. И еще Жак, Мишель. Впрочем, машинистка Береса перепечатает — учитывая все мои «капризы».

Мишель Деги поражается моей энергии. «В самом критическом состоянии вы имеете право не отчаиваться». А положение-то и впрямь критическое во всех смыслах. На июль Борька пристроен (Степан). А дальше? Сегодня позвонил Жоржу. Он может взять Борю к середине августа. Я вообще отдыхать не буду (м. б. на 2–3 дня съезжу в июле к Жоржу) — к середине августа надо перевести Чехова (покажу ему кузькину абсурдную мать). Уйму вещей надо Борьке купить к поездке (15–26) в Бретань (плюс 450 франков). Увы, я именно в эту неделю бу-

ду проходить очередные легочные исследования (и анализы — в 8 утра!). А на след. неделе у них встреча с американскими школьниками (с которыми весь год переписывались). А 12-го (суббота) мне обязательно надо присутствовать далеко от Парижа на свадьбе Присциллы С. (она у тебя была) — я и не знал, что она графиня. Так мне (и моей русской книге) помогла, и вообще весьма симпатичная. Друзей много — и необыкновенных. Верный Грак (театр — ему благодаря) и т. д. «Экспресс»? Нет пока времени.

...Быт! Чтоб он сгорел. Даже сегодня, без Борьки (у Степы), после встреч с издателем, с Мишо... Ты бы сошла с ума при виде всех этих магазинов... овощи, мясо, фрукты, пироги, мороженое, смеси — все! Сверх всего! На все нац. вкусы... И в каком месте! L'Isle Saint-Louis — одно из красивейших в Париже; да, город красив местами до безумия — привыкнуть невозможно... Хотя приедается все — и особенно эти толпы, стада, тысячи, миллионы туристов всех мастей. Приедаются — быстро! — и магазины: нет времени, а изобилие требует времени.

Переводы дорабатываю — яростно. Так французы не переводят (т. е. *re-cr ation*<sup>1</sup>). Мишо сначала говорил: штук 12; нет — в два раза больше (33 или 34 страницы) плюс русский текст, плюс литографии, плюс, м. б., Морис; в таком случае, по совету Жака, переведу еще — двуязычное же! Выбор вещей определялся возможностью перевода и звучания (пусть «странного») по-французски. «Книга» — «проходная» (ты, небось, и забыла) в «Грозовой отсрочке», а по-французски я ее так закрутил... Вот какой порядок: «Сваленный дуб», «Имя неуловимо», «Откуда взялось», «В путь» (Андрюшке), «Нет прощения», «Ты и я», «Среди хохота облаков», «Книга», «Себя ли ради» (Морис любит), «Ты все еще впереди», «И наконец», «Прочь от холма» (2 фрагмента — «Я провел эту жизнь...», «Не люби работу...» —

---

<sup>1</sup> Воссоздание (*франц.*).

Мишо в восторге), «Мы видели», «На правах одуванчиков», «Твое крыло», «Он» (опять же выбор Мишо, но больше всего ему по душе «Ты и я»), «Мелом и грифелем», «Узко — не разминуться», «Дорогу!» (Ник. Ив.), «Ни цветов, ни венков», «И наш гроссбух» (здорово вышло по-франц.), «И тайна» (вместо «Ярость и тайна» — чтобы не злить Шара), «Одиночество» (блешка Марьянушка — неопишутый конец).

Только сейчас удосужился заглянуть в Парископ. Бездна отличных фильмов и кинофестивалей. Сегодня мог бы и пойти — еле жив... С туристическим сезоном киноразнообразие (скажи Мелетинскому) резко возрастает. Фестиваль Бунюэля, Бергмана, лучшие фильмы Хичкока, американцы всех эпох, «Лосей» (Лоузи) и т. д. Даже фестивали китайских фильмов и Кончаловского. Порнографии не видал. Не интересует.

Степан может взять Борю только 11–12 июля. А мне надо перевести Чехова (плюс мое, дополняю, плюс, м. б., «Экспресс» и др.). Есть ли какая-нибудь эволюционная польза в Борином посещении лечебной школы? Не знаю; не думаю. Ему там хорошо, безусловно. Но состояние... статики. Плюс молчание, хотя не «пришиблен», с редкими «да» и «нет», «ничего», «неплохо», «все-таки». Я схожу с ума.. Место там отличное: чего только они ни придумывают! Предстоящая неделя — встречи (в том числе театр и ресторан! — вечером) с американскими школьниками (целый год переписывались). Но, насколько понимаю, очень трудно дался Боре переход в среду иноязычия. Плюс отсутствие дома (и мне-то каково...). Плюс (м. б. главное) ты и Андрюша. Живи мы тут, разумеется, он продолжал бы посещать этот центр (и, возможно, началась бы терапия) — да и с Томатисом, профессором, что работает с «голосом больного», попробовали бы, и в других местах (и в Швейцарии есть идеи... — и в США, и в Израиле). Но нужен дом и минимальная устроенность. После того, как тебя не пустили, какая-то сокровенная струна во мне оборвалась. Нет, с этими подонками жить невоз-

можно. Ни малейшего компромисса! Режим... Теперь думаю вот что: если тебе снова откажут, надо перейти к следующему этапу — ты напишешь заявление Брежневу с просьбой о выезде навсегда. Без криков, без истерики, но твердо: нет выхода, сын лечится в дневной клинике, муж болен туберкулезом и т. п. Я со своей стороны приложу все усилия. Такой оборот дела позволит и французам (уж я постараюсь) действовать более активно. Митгеран все же поедет в Москву... Ты мне, ради бога, не напоминай о советских порядках. Я их знаю. Но не принимал и не приму никогда. И не отчаивайся. Главное — твердость без чрезмерного шантажа (их «самолюбие»...). Эх, болваны!

Театральная администрация что-то не звонит. Без контракта я переводить Чехова не буду. А «концепция» уже созрела. Это ведь неслыханная история (Жорж просто ахнул): такой заказ! Спасибо Граку. А мой французский издатель только что звонил: «потрясен» моей поэзией, зовет ужинать — и начитать русские тексты. Пожалуйста. (Открывает и обслуживает блистательный гренадер.) Но столько на этой неделе с Борькой хлопот — каждый день! И еще звоню (по высочайшей рекомендации) психиатру-светилу. Практически мог бы помочь.

Мои польские знакомые по Сите-дез-ар (музыканты преимущественно) весьма симпатичны. Оказывается, старичок, с которым вместе часто смотрим телевизор, — Казимеж Брандыс\*. Познакомились. Он тут с женой... Ищет квартиру, но даже со сверхблатом это нелегко. Поехал в Европу за несколько дней до великого переворота... И застрял.

Впрочем, почти ни с кем не общаюсь. Здороваюсь — и в логово. По-русски болтаю иногда с Толей Либерманом\* (виолончелист, я тебе рассказывал) и с латышом-художником (израильский гражданин!) Мерисом, который женат на внучке Михоэlsa.

А позвонить тебе никак не удастся (и не успеваю — особенно в эти дни). Главное — недостаток сна и отравленность сновтвор-

ными. «Лечусь» почти цифиром. Когда вспоминаю, что в Москве и чая нет... Уфф... Невозможно. Друзей не забыл — никого.

...Радиожурналист (был в отъезде) наконец ответил Морису. Он в восторге от моей поэзии (и текста Мориса), так что будет передача и я прочту кое-что. А у меня даже радио нет. Купить, что ли? Но все это будет записано — получу на память кассету.

Почувствовал, что могу перевести, б. м., даже самое трудное (не все, разумеется). Лермонтовскую вариацию, пьесы (!), которые покажу гренобльскому режиссеру. Но нужны силы и время! И минимально человеческие условия... Хотелось бы очень перевести прозу Хлебникова: пусть знают наших! Пишу об этом Ник. Ив-у... Если бы он подготовил тексты для двуязычного избранного... Его книжку разрекламирую.

Устал, устал! Духота адская. Ночами, когда не сплю, вспоминаю кусочки Москвы, особенно связанное с Андрюшей: наш маршрут из детского сада, и как видели мы на Чистых прудах носорожище, вижу сумерки московские, Потаповский (а Спасскую не вспоминаю!), вечерних (давно пропали...) ласточек и стрижей. Вспоминаю слова Ник. Ив-а: «Никуда это (т. е. поэзия, мое русское слово, огонь и радость) от вас не уйдет, везде останется с вами...» Как знать... Слезы иногда душат. Вечно «призванный-мобилизованный». Все это вот где: «Не твоей, волна, молотилке». Весь!! Так что посылаю эту вещь (а вскоре, надеюсь, и книгу) Лизе Мнацакановой с коротеньким письмом. Наконец-то собрался.

Да, жизнь адская, другого слова не найду. Сегодня предложили переселиться на другую (ниже этажом) сторону, бессолнечную (т. е. не удушливую) и относительно тихую. Т. е. то самое, о чем думал давно. Но так устал, что, сославшись на какую-то сверхзанятость, отказался: оброс вещами, бумагами (!!!), книгами и др. — переезд страшен. Теперь сожалею. Но по всей вероятности, такая возможность еще представится. Как быть, если вы приедете? Ничего, что-нибудь изобретем. Нель-

зя сдаваться. Представляю себе, как тебе противно собирать эти бумажки для ОВИРа. При одной мысли об этом прихожу в ярость: ну их к дьяволу, треклятых, с их фашистскими порядками. Что они там думали? Что купят меня какими-то привилегиями? Что я буду, как паинька, ходить у них на поводку? «Вот вам, смотрите, эдакий сорванец, enfant terrible, ездит во Францию и встречается со знаменитыми писателями». Да лучше околеть!

Духота в этом ателье сатанинская. Так больше невозможно. Работать перестал. И сердце замирает. И рев, гул: из фильма ужасов.

Ну, денек! Опупеешь... Какая там работа... Но, б. м., найдется решение для Бори. На сегодня назначен был визит под Париж, в фоуег (интернат)... Накормил Борьку обедом, закусил на ходу — дорога оказалась недолгой, ближе, чем до Степана. А самое главное, заведующий — чрезвычайно симпатичный. Это ведь целая история. Он 2 месяца отбрыкивался. Из центра ему надоедали (и мне тоже — я огрызался: «Звоню! Но он не хочет встречаться!»), но, действительно, мест нет. Да еще чужестранцам. Но в процессе разговора выяснилось, что место будет и, возможно, на днях. Финансовую сторону дела решим совместными усилиями. Насколько я понял, там живут — в маленьком павильоне с садом — различного возраста трудные подростки, которые работают. Есть воспитатели-педагоги. Кухня. Сад. У каждого своя комната-квартирка, Боре очень удобно будет ездить в центр. Освоить маршрут (я настаивал — ругался в центре... И был неправ) ему помогут. Откровенно говоря, это меня особенно не беспокоит. Без чрезмерных формальностей, когда угодно, Боря будет со мной, у Степана и т. п. Но август он проведет с ними на юге (3,5 тысячи франков — надо выколотить!). Боря отнесся спокойно (вижу: ему понравилось) — «Посмотрим». Я его всячески успокаивал, а скорее — себя: на душе кошки скребут... Кроме всего: как с ним

ни трудно, но — свой, родной, любимый — рядом... Без него (хотя ведь не в разлуке) особенно почувствую одиночество: пока вы вдали... И, разумеется, страшновато. Но главное: Боря свой центр любит (заслуженно), и если будет устроен, наверняка сможет продолжать курс и год, и два, и больше, если понадобится. Они там работают с самоотверженностью необычайной. А Боре так нужна уверенность хотя бы в этом будущем... Он ведь знает наше положение. Увидим. А я тотчас примусь за Чехова. Надо зарабатывать. Ухлопал уйму денег на покупку всяческой одежды (Боре, главным образом в поездку, но и себе купил красивый пиджак: выяснилось, что не в чем на свадьбу поехать). Потом — в продуктовый. Три часа ухлопал.

Боря успел на встречу с американскими школьниками, но ничего конкретно рассказать не в состоянии. Доволен, однако.

Ты о возможном (еще ничего окончательно не решено) Борином устройстве не говори никому. Сама понимаешь... Да и ведь нельзя его там просто бросить. Нет, не только ездить буду, но и легче станет в воскресные дни куда-нибудь его водить.

Кстати, в консульство пока не ходил. Продлено по август с обещанием бесконечных (по 6 месяцев) продлений: «Пока мальчик лечится и в вас нуждается». Повторюсь.

Еще раз убедился: всякие обобщения относительно народа в целом теряют силу, как только сталкиваешься с отдельными людьми. И о своих друзьях говорю (Морис, Жак Дюпен, Мишель — не говоря уж о Мишо, да и Анна Татищева, и др.), и о многих, кто занимался и занимается Борей. Есть клише: французы, мол, скупые, сухие, черствые, ворчливые, крючкотворы??? Может быть. Однако...

Наихудший пример южной «недоброй» хитрости — Рене Шар, но и он, разумеется, не столь уж прост. Иначе не был бы в Сопротивлении и не написал бы в свое время прекрасных стихов. Кстати, Жак надписал и послал ему свою книгу (об искусстве). Я, пожалуй, этого делать не стану. Последняя грань —

позади. Жак с ним все же 30 лет дружил! И знает его, как облупленного.

Встреча с издателем перенесена на вторник (предполагаю: он собирает «общество»).

Морис — удивительный человек. Его участие в Сопротивлении никому (почти) неизвестный факт. Даже мне не сказал, чем вызван был этот не состоявшийся расстрел (Моник объяснила). А вот Соллерс\* и Леви\* гнусно — с высокопарными изъяснениями почтения — на него напали. Леви — в «Le Matin». Мол, кто бы мог подумать (экое открытие), что этот гигант мысли и поэзии был правым экстремистом (в 30-х годах), восхищался террором и обличал евреев — агентов Москвы (вот уж ложь!). Никогда Морис не был антисемитом; а его позиция и все им написанное позволяет утверждать, что он «больше еврей», чем его друг — философ Левинас\*; кстати говоря, он укрывал у себя во время войны жену Левинаса. И, мол, (Леви), ведь «если вдуматься», эта «идеология, несмотря на внешние изменения, до сих пор остается той же». Бред полоумного «нового философа»-журналиста. Разумеется, самое обидное для Мориса (хотя он пишет: «Это все равно, что пытаться расшевелить тщеславие могилы») — обвинение в антисемитизме. Я хотел ответить (да и другие, куда более значительные личности), но Морис «не может так низко упасть». Вся эта неолиберальная шваль пытается мстить своему собственному прошлому. Морис — при всей его «левизне» (хотя многое утрачено и переосмыслено) — никогда не был просоветчиком: никогда! В этом отличие от Сартра, да и (был такой момент) от его ближайшего друга Жоржа Батайя\*. Впрочем, Батай сумел понять.

Ох, как не хочется снова проверять легкие!! И вставание в 7 утра!!!

Всюду войны, резня — кошмар. И только что прочел: Gala (жена Сальвадора Дали) умерла. Было ей 89 лет. И Мир со-

сем плох: Жак его, видимо, больше не увидит. На днях говорил по телефону с женой Миро.

...Габи\* не звоню и потому, что надоело напоминать о Франеке\*. Сознаю бессмысленность этой попытки, но ведь обещал (и каждый раз обещает!). Это здесь, впрочем, совершенно нормально. А вот Жак Дюпен — абсолютно ненормально. Молниеносно все выполнил. Аня, мне кажется, после «отказа» чувствует себя неловко (вопреки моим уверениям...). Да ведь мы почти и не видимся. Но дружны. Она славная.

Да, если Борьку устрою, быть может, и съезжу куда-нибудь. Снова на юг? В Лондон? В Рим? Почему бы нет? Черт подери, все вокруг ездят. Плевал я на ОВИР и на сверхОВИР. Эти поездки здесь — такое же обычное дело, как Москва—Харьков (более обычное! т. к. за границу ездят чаще — на день! два! — чем из Москвы в Харьков). И недорого!

Вспоминаю фразу в твоём письме: «Книг не читают»... А я читаю? Ничего не читаю. О, ужас! Сколько это может так продолжаться?

И еще вспоминаю иногда фразу «серебристого»\*: «Вы не хотите забыть ваше прошлое». — «Нет, не хочу и не могу, потому что мое прошлое — это сегодняшнее, и оно не “мое”, а всеобщее». Горе, горе! Как его забудешь? И не только всеобщее, а и Борино, твое, Андрюшино, мамино, 1,5 года разлуки! Почему? А потому, видите ли, что у них такие порядки. Ириша, это в миллион раз сильнее меня — слабого и почти беспомощного: непримиримость. Морис именно ее почувствовал в поэзии: непримиримость — высшая, изнурительная требовательность и надежда за гранью всякой надежды — «никакое место и нескончаемый век».

P.S. Все это чересчур красиво. Да и не уверен, что «почувствовал». Не знаю. Тяжко мне. Борик ездил в Шампань, в Реймс и т. д. Субботу (я уезжал на свадьбу) он провел у Степана. Утром после завтрака обнаруживаю, что кровать

в страшном, диком беспорядке, грязь адская опять не подметена (3 кв. метра), пыль — и снова зарядки не делал, несмотря на миллион напоминаний. Обругал его (еще катастрофа — штора обрушилась, а мне надо спешить). Что ж ты думаешь? Прощал меня в холле — не хотел уехать, не помирившись. Солнышко! Бедная овечка! Я его обласкал «на глазах» у публики. Да, свадьба потрясающая (в Бретани). В церкви — дамские шляпки и наряды, о существовании которых знаю лишь по книжкам. Священник — дядя жениха. Обе семьи — богатейшие, древние. Привез меня университетский товарищ Присциллы — симпатичный! В церкви были и местные зеваки, и «нотабли» (деревня, где отец Присциллы по-прежнему мэр). Конники. Внутри — целая программа. Чтения из апокалипсиса, библии (публика отвечает), музыка (с пением, это Присцилла придумала) Баха и др. Человек 500 или больше. Потом — в имение. Ну и ну! Такого не видел. Вроде приема во французском посольстве, но, разумеется, по-интимному. Колоссальные уголья, буйная зелень, изумительные деревья, огромный дом, бассейн, качели и прочее для детей (фантастических размеров!). И двор (посыпан гравием), где прогуливалась, ела и пила (шампанское) неисчислимая толпа. Присцилла — единственная дочь, но семьи — огромные, разветвленные. Плюс друзья и знакомые. Закуски — под роскошными тентами. Оркестр, прожектора в траве. И т. д. Увы, дождь часто мешал. Мне стало скучно. Привезший меня Эрик должен был рано уехать (далеко!). Я почти никого там не знал. Дождаться ужина? Почти дождался (десятки слуг и лакеев! Расставили столы в доме, под тентами — я уже видел сказочные пироги: как здания!), но чувствовал себя все более грустно и — «ни к чему». И эта утренняя «мини-история» — как заноза. Борька! Вы! Невысказанное и невыплаканное! И поэзия (запертая на ключ) мешает. Разучился говорить! И Чехов ждет... Тут нашлись две старушки, и я, не дождавшись ужина, танцев

и проч., вернулся на их машине (2 часа с лишним на огромной скорости) в Париж к полуночи.

...Общения... Конечно, Моник (к примеру) очень тяжело. Но звоню ей всегда я (без чрезмерной гордости), а встретиться... Нет! 8 месяцев не видел. И т. д. и т. п. Даже Степу не видел 2 месяца или больше. Жорж? Нет, думаю, не в обидах дело, я ему как-то позвонил. Просто — *c'est comme ça*. Морис, кажется, в тяжелом состоянии. Пишет редко. Насчет послесловия так и не ответил. Я больше не хочу напоминать. Знаю, конечно, что предан и любит. Но ни разу не встретиться!

...Режиссер настаивает — к 17-му августа! В октябре — премьера (все места закупил «Le Monde»). Чудовищно! Но и нельзя упустить такую возможность.

Жак (с Кристин\*) в очередных разъездах. Венеция и т. д. Мне его не хватает. Грина давненько не видел. Повсюду — его интервью и т. д. (Это Эрик «лансирует» очередной том дневника.)

Пора собраться в «Экспресс» — забудут! Ковать железо... Но надо что-то придумать — когда? Визиты к врачам, административные хлопоты (Борька) и постепенно втягиваюсь в Чехова. И мои переводы (доработка): завтра — к издателю, начитывать и — зачем? — ужинать.

Пожалуй, не туберкулез опасен, а инфаркт мне грозит. Вчера вечером пришлось после тяжелейшего дня ехать к М.С. (к черту на рога): надо проверять и помогать ей (в авторском качестве) — книга, надеюсь, скоро выйдет. Утром надо было к Жаку Амальрику в газету — он предложил помочь, т. к. сейчас при деньгах (наследство отца). Опять 5 часов сна с таблетками. Ужин, завтрак Боре. До того дошел, что, сидя в метро, вдруг обнаружил (не в первый раз!) — ширинка расстегнута и трусики белеют! Уфф! Кошмар... Еще и Морису надо срочно ответить: он «участвовать» готов, но не знает ни нашей поэзии вообще, ни моей в частности; честность ума и сердца — бес-

предельная, и понял, разумеется, по моей реакции на его несколько отвлеченный (а как иначе при этой языковой стене?) текст для радио... У меня ведь тоже требовательность абсолютная. И так — к Жаку, а он уже куда-то умчался. Вчера по телефону жаловался: все эти мировые события... Секретарка передала его извинения («Он все утро пытался вам дозвониться» — ??? — тут телефон не выключишь!); надо опять связаться.

Да, вечером к издателю — хоть часок бы поспать (но Жак, не выключишь телефон...), ан нет, не спится днем.

Перевод Чехова заставляет на ходу учиться французскому. Марьяна С. говорит: «При вашем чувстве слова...» Но чувство-то русское!

Вчера с Мишо долго говорил по телефону. Он скверно себя чувствует, слаб: «Но зачем я жалуюсь? Вам труднее...» О поэзии, в частности. Он хочет уловить в моих переводах внезапную струю (т. е. против того «образца» поэзии, который — с красотами всякого рода — утвердился во Франции: Элюар, Шар, да и прочие, вне сюрреализма). Как перевести самое сильное? Увы! Не случайно ведь до сих пор не знают ни Державина, ни Пушкина, ни Тютчева, ни Анненского, ни Фета, ни Хлебникова, ни Пастернака (не знают!). Пока даже эти переводы далеко не совершенны.

Еще продолжу. Успел с Борькой потолковать, успел с М.С. договориться (требует приезда утром — не могу, успею лишь к вечеру, после визита с Борей к профессору), был у богача-издателя. Роскошная квартира, масса живописи и рисунков от импрессионистов до Джакометти и Матисса. «Общество»: 2–3 светских пары. Ксенакис (молчун — друг Сувчинского) с женой (критикесса в «Matin» и «писательница»). Очень симпатичный художник (из галереи Магта — я его встречал, но только теперь разговорились, даже о Гоголе и Бараташвили) со столь же симпатичной (японоведка — и переводит поэзию) женой. Ради будущих денег пришлось почитать поэзию (чертыхался); сказал,

что не привык выступать в роли шута и т. д. Да, была еще (очень старая) вдова Лакана. Она же сестра Розы Массон и жены Жоржа Батая. По делу (т. е. насчет контракта) поговорил лишь туманно, надо — и поскорее — весьма конкретно. Первую сумму (так сказал мне художник, с которым потом прошлись) надо требовать уже теперь. Не умею. Не деловой человек. Сослался на Жака. «Он вам все объяснит». Издатель (Bérès) с размахом. «Русский текст? Мы его наберем в Лондоне» (!)

Несмотря на дьявольскую головную боль, с помощью чифира успел также — в каких условиях! — хорошо поработать над Чеховым. Кажется, преодолеваю робость и страх. И Морису написал. А сейчас пора готовить Боре на завтра корм... И поможет ли могодон? День предстоит нелегкий. И еще в эту типографию ехать! Ох... Курю, как вулкан. И срочно нужно купить Боре дождевую куртку и др. (для поездки): уже целая груда набралась. 19-го надо быть на вокзале в 7.30. И мелочи быта... Черт! Да. Посоветовал мне тот же художник обязательно потребовать и обычный тираж (не роскошный). Разумеется, я давно об этом думаю. Но что можно понять по этим переводам? И вещи, кроме 2—3, второстепенные. Морис весьма осторожно (и сверхчестно) высказался. Абсолютно с ним согласен. А письмо написал глупое: «Не могу настаивать, но считаю, что наша встреча теперь необходима». Экий идиот и невежа! Это отчасти из-за бессонницы. И мое сверхчеловеческое упрямство (Мишо знает — со смехом мне говорил).

Завершаю. Профессор Дюше; были мы у него с Борькой вчера. Один из крупнейших психиатров и, насколько могу судить, один из умнейших в профессиональном отношении. Человек прелестный. Рассказал мне даже о своих франко-русских предках (один из них преподавал французский язык в институте благородных девиц — и переводил — издано! — Крылова: «Я был бы вам очень благодарен, если бы вы о нем что-нибудь узнали». Его фамилия Vougeault — нет ли сведений в «Лит.

энц.»?), говорил о Боре и «вообще», и касательно устройства. Борю он смотрел недолго, а меня слушал долго (все это бесплатно, разумеется). Не знает, можно ли Боре помочь (да еще ведь и не наблюдал как следует), но: «Никогда в этих случаях нельзя сдаваться». Центр — место «хорошее»... Мои скептические наблюдения разделяет... Но это минусы, а есть и значительные плюсы. Устройство? Он готов взять Борю на обследование к себе: «Будет ухожен, обласкан, но, сами понимаете, психиатрическая клиника». И ссориться с центром нельзя. Насчет устройства в это foueг... Гм, гм (как и я). Короче говоря: взял мой адрес и телефон, подумает, свяжется (чтобы «не обидно»... и по существу) с центром, примет решение — и мне позвонит. Положение прекрасно понимает. Я спросил его, нет ли у них (т. е. под его началом) кого-либо говорящего по-русски (терапия!). Есть: женщина — дальняя родственница Б.Л.П.... Фрейденберг!!! Вот так.

Каникулы надвигаются... Чехов... И др. ... Как быть??

Сегодня еду к М.С. (завершаем), а до этого, б. м., зайду к Степану. Уста-а-ал!

Все.

*Книга Ник. Ив.* — Имеется в виду книга Н.И. Харджиева «La culture poétique de Maiakovski», вышедшая по-французски в издательстве «L'Age d'homme» в 1982 году в Лозанне.

«*Les ravagés*» — цикл стихотворений в прозе Анри Мишо (1976). В переводе В. Козового опубликован в книге: Анри Мишо. Поэзия. Живопись. М., 1997.

*Брандыс Казимеж* (1916–2000) — польский писатель, с 1981 года жил в Париже, одно время в Сите-дез-ар вместе с Вадимом.

*Либерман Толя* — виолончелист («Трио Чайковский»). Познакомился с Вадимом в 1982 году в Сите-дез-ар, где проживал как «невозвращенец». В августе 1983 года он воссоединился

с семьей — с женой Ниной и двумя дочками. Близкие друзья Вадима.

*Соллерс Филипп* (р. 1936) — французский писатель и критик, один из основателей журнала «Тель кель» (1960–1982), автор книг «Портрет игрока», «Праздник в Венеции», «Навязчивая страсть» и др.

*Бернар Леви Анри* (р. 1948) — «новый философ», эссеист, писатель («Варварство с человеческим лицом», «Завещание Бога»), активный участник борьбы за права человека в разных странах.

*Левинас Эманюэль* (1905–1995) — французский философ-экзистенциалист, родился в Литве. Автор книг «Время и Другой», «Целое и Бесконечность». Ближайший друг Мориса Бланшо.

*Батай Жорж* (1897–1962) — французский писатель, друг Мориса Бланшо. Главная тема творчества — эротизм и смерть.

*Габи* — Габриэль Меретик, корреспондент французского радио и телевидения в 70-х годах в Москве. Он и его жена Гражина много помогали русским друзьям.

*Франек* — Пранас Моркус, близкий друг семьи Козовых, многолетний собеседник и помощник. Вадим мечтал «вытащить» его из Литвы в турпоездку во Францию.

...вспоминаю... фразу «серебристого». — Возможно, речь идет о Ф.Д. Бобкове.

*Кристин* — жена Жака Дюпена.

## 1982 ИЮНЬ — ИЮЛЬ

Кисанька, это на всякий случай, если успею еще раз встретиться с «курьером». Я тебе недавно (2 дня назад) отправил огромный дневник. Сегодня Борьку проводил — чуть не опоздали. Я наглотался снотворных, будильник (занял специально) не сработал... А Боря встал — и не будит! Ох... Успели,

однако (такси). Я — единственный родитель на проводах. Остальные подростки сами добрались. Что дальше? Хочу отказаться от проверки легких, т. е. перенести ее на месяц. Эту неделю надо как следует поработать: перевожу вчерне, но еще и первое действие не окончил. И еще уйма дел. Сегодня отлично поработал (ох, какая скучища — Чехов!). Зашел на минутку к соседу — польскому кинорежиссеру: господи! Чистота и порядок! И детские рисунки на стене, и коврик расстелен... Что значит женщина! (Жена — композитор, и сынишка Андрюшиного возраста.) У меня — кошмар и разгром.

Решился — позвонил французскому издателю. Обещает немедленно представить контракт (потом ведь смоемся на два месяца — это свято!). Одиноко! Тоска! Куда деться? Если приедешь, готовься к нелегкой жизни... Это — плата за свободу и нашу — вчетвером — близость. Но не верится... Ох, не верится! (Лиза Мн. отозвалась открыткой. Просит сообщить, остаюсь ли. Не знаю.) Легкие — собаки! Чтоб им...

Эмиграция — ничтожество и хлам (за редчайшими, сугубо индивидуальными исключениями). Все эти деятели, восседающие на стульях своего прошлого, торгующие страданием... Мыльные пузыри! Нет желания видеться — ни с кем. Бываю по книжным делам у М.С. — с Андреем вижусь редко... Да и говорить-то не о чем почти... дипломатично обхожу острые углы... С М., впрочем, отношения хорошие (это нелегко). С Наташей\* виделся год назад; недавно по телефону говорил. Эткинд вряд ли будет заниматься Семенкой, так и скажи Мелетинскому. Сталкиваюсь иногда с художниками... На ходу, на бегу. Нет, ничего не забыто, но «переварено» — и не для сторонних глаз и ушей. А они повсюду сторонние!

...То, в чем для меня единственное оправдание жизни, для них... Да что там говорить! Куда важнее рассуждения о «русской идее», «русском национализме» и т. д. Нет, не забыл своего московского одиночества... Однако... Иной у него запах, и речь

родная вокруг, и горе общее. Ведь могу быть счастлив в четырех стенах... Только знаю теперь, что никому не нужно. И ничего больше не напечатаю. Сколько сил и унижений! Вспоминаю Левку: «Да все равно они ничего не поймут», — и талдычит, и талдычит своим добрым пьяненьким голосом. А ведь прав!

Переводить самого себя — позор! Стыд и позор! Все из-за этой беспросветности... Жак и Мишель говорят: «Беккет-то себя переводил...» Но как донести этот голос куда-то, кому-то... И друзьям, которые могли бы понять, которые знают цену и вес поэтического слова (такие люди, да еще по моему — моему ли только? — строжайшему счету, здесь насчитываются единицами)... Увы, русская божественная речь во французский тесный кафтан не лезет. Мишо что-то расслышал — что? Сомнительно... И Морис то же самое. Он знает, чувствует великолепно, каковы мои «отношения» с поэзией... Но со словом? Нет, тут стена. Эта — единственно реальная сторона моей жизни — оказывается еще более подпольной, нежели в Москве. И не о себе только стоит говорить, поскольку поэтическая, литературная и художественная жизнь здесь на крайне низком уровне. Вплоть до комического. Под стать этой цивилизации.

...Да, сторонние глаза и уши; потому-то не хотел по радио (Морис понял) толковать об интимном-пережитом-заветном: кому?..

Двуязычное издание... Будет «люксовое» — и обычное. Вчера говорил с издателем. Но почти все зависит от Мишо: когда он сделает литографии? Сколько? Цветные ли? И какого формата? Тревожит меня его нынешнее состояние. Насчет количества и цветных я попробовал месяц назад завести разговор — окрысился, не любит, чтобы диктовали (да еще в коммерческих целях) волю со стороны... А потом, во время визита к издателю, сам завел об этом разговор: «Да, конечно, не черно-белые, но с черной доминантой — такая поэзия... Да, я хотел бы сделать побольше, но не знаю, удастся ли, надо попасть в лад этой поэзии...»

...Переводя Чехова, начинаю понимать, что меня особенно от него отталкивает: ведь и впрямь сердце щемит и начинаешь жалеть самого себя вместе с этой глупой, мелочной, никчемной жизнью. Ведь прибегает, негодяй, обреченный чахоточник, к незаконным приемам: так и колотит под дыхало исподтишка. Вялый стиль, расплзается как русская весенняя грязь — ан нет! Знает, куда бить, в какое непоэтическое место. Я бы предпочел его переработать и создать (à la Мейерхольд) новый вариант. Нельзя!

Вдруг, в кромешную бессонницу:

1) поэзия рвется наружу — сильнее всех и всего;

2) начато короткое (не без ярости) предисловие: пусть знают... что ничего не знают, т. е. нашу неподобную поэтическую свободу, нашу славу сказочную. (Нечто наподобие славословия в «Отправляю навечно», только с иным ударением: не случайно всего этого вы не знаете.)

Мне бы 3—4 месяца настоящего самоотверженного и не по пустякам одиночества! А потом — трын-трава!

...Если Борю устрою... Это не все. Договорился о встрече в «Экспресс» — не успел. Завтра? Но надо Борю готовить (уйма нестиранного!)... И завтра же на один день приедет администраторша из Гренобля (контракт! аванс! оплата машинистки!). Два последних дня натирал Борю с ног до головы каким-то лосьоном: у них в центре 2 случая чесотки. Магазины — ест он за четверых: фрукты, овощи и др. И это не все. О вас не забываю, разумеется. Обедал на днях с Граком (он уехал на каникулы). Тоже вернейший друг. Его знакомая (мне однажды звонившая и с Греноблем связавшая — читала мой текст о Simal!\*) дружит с известным адвокатом (и депутатом), который — всем известно — близкий друг Миттерана (и живет с ним в одном доме). Я с ней сегодня (после того, как Грак подготовил почву) беседовал: увидим!

Как я еще держусь? Не знаю. Загадка. Перевод? Очень помогает Petit Robert (Грак дал). Начинаю «плясать» в языке. Это необходимо.

И Майю ловлю: пора кончать книгу (немножко осталось, но машина то и дело ломается). Она была вчера на вечере Айги («Я вам звонила...»), а у меня назначен таковой на 15 ноября — в роскошном зале... Но жалкое зрелище (я был пару раз): т. е. для французов. Еще в консульство надо выбраться, и срочно сделать два оставшихся харканья, а потом, до 20-го, посетить профессора (не успел в срок и на свидание не пошел). Звонил и Сувчинским: они не в лучшей форме; каждый раз говорим о встрече — но состоится ли она? Книга (былины) все еще у меня.

Издатель — суперсноб. Жак рассказывает, что он ему звонил, советовался насчет бумаги, шрифта, ателье — все, даже сверхроскошное, не подходит. Хочет такое, что никто не видел. Как говорит Мишо, «тем лучше». Даже машинистка говорит, что он попросил ее напечатать мои переводы на какой-то необыкновенной бумаге необыкновенным шрифтом. Ах, надо бы расширить это избранное, но как перевести (и когда?) самое важное?

Кисанька родная, если оглянуться (зная здешний контекст) — горы своротил. А сволочь московская... Пусть варится в своем номенклатурном котле. «Голубь Яшка» dixi (пытался перевести).

Морис пишет, любит, предан, но не вижу его. Никто не видит, да и писем он никому не шлет.

Звонила мне милейшая (и, кажется, компетентнейшая) старушка Рауш Нина Константиновна, профессор в Сорбонне (помнишь, Леля Саробьянова говорила? И никакая не родственница Б.Л.П.), по просьбе профессора Дюше. Назначила встречу на субботу, но не знаю, смогу ли, будет ли Боря тут. Но повидаться с ней стоит. Центр она хвалила.

На днях был (замученный! — но отдохнул душой) у пупсиков — 2 месяца их не видел. Жерарко с Жаклин, Вероника\* (умница!) и другие, русско-французское общество, по-домаш-

нему. Жерарчик, кстати, за эти 1,5 года проявил себя с наилучшей стороны. Славный малый. Вероника зовет на пятницу — с ней я до этой встречи год не виделся...

Да, а Борька провел отличную неделю на море (катер, пароход и т. д.). Нос облупился, хотя кепочка от солнца имеется. Хорошо, что я сегодня передумал... Хотел уже с ними расплевать-ся. Абсурдно.

Футбол — почти не видел... Хотя телевизор снова работает. Окуджава, говорят, сидит часами: смотрит все матчи. Повальное бедствие! Вот Польша—СССР хотелось бы посмотреть. Вряд ли.

Кисанька, ради бога, не упрекай меня по поводу Борькиного интерната. Я и сам страдаю до невозможности, измучен и порой (почти все время) чувствую себя предателем. Но нет другого выхода. И, возможно, ему будет неплохо. Надо ведь однажды выползти из пеленок. Кроме того: 1) отныне я буду уверен (и Боря тоже — как это важно!), что лечение сможет продолжаться необходимое длительное время; 2) я смогу не только иметь минимум своей жизни, но — работая, предпринимая тысячи нужных усилий — готовить почву для вашего приезда (пусть даже не окончательного).

Насчет августа... Была возможность устроить Борьку в русский летний лагерь (он нуждается в русском языке!), но во-первых, я опасался, что не будет необходимого ухода, а во-вторых, мне все уши прожужжали (в центре — foyer), что Борино устройство требует его поездки на юг вместе с этим foyer (а потом оказалось, что невозможно, если сам не оплачу. И все это внезапно, как снег на голову). Не могу тебе описать — вечн.: я под давлением, со всех сторон. Хочу работать, работать, работать. В этом единственное спасение и временами — счастье. Ты должна бы (давно) понять, как необходимо мне одиночество! Если бы ты видела, как Кристин охраняет, оберегает бедного замученного Жака.

Наша разлука... Нет, Ириша. Нельзя им этого простить — и надоели их порядки; взгляд должен оставаться чистым, без релятивистской мути, на которую и тут многие горазды. Другое дело — трезвость; нелегко мне сдерживать свои необузданные порывы и бешенство.

Телефонная паника у меня (прочел «веселенькие» новости в «Le Monde»). Попытался дозвониться из «Экспресс» — никто не отвечал. В Москве ли ты?

Видел театральное сборище в большом зале Шайо: гренобльский театр давал последнее представление Пиранделло (летний сезон). Так, быть может, и моего Чехова будут показывать в следующем году. Пиранделло я, разумеется, не смотрел, а вот прощальное пиршество видел, кое с кем потолковал (еле на ногах...), особенно с симпатичным «моим» режиссером. А главное — получил аванс (10 тыс.) чеком и вскоре получу контракт. Как-то вдруг страшновато... Вот ведь наглость какая! И еще свое выдумываю, хочу всех предшественников переплюнуть. Тоня говорит: давай просмотрю текст, нет ли ошибок... Пожалуй. Если Борьку устрою и буду здоров, съезжу в сентябре посмотреть на репетиции и, б. м., кое-что посоветую. И на премьеру должен быть. Страшновато все это.

Сегодня Степа объявляет: мы могли бы продержать Борю до 10 августа, а затем — к Жоржу. Степа, Анн — спасибо им по гроб. И если бы ты видела, как их дети с Борей нежны!

А Борька довольно спокойно относится к «перемене жизни». Даже удивительно... Обласкан и знает, что я не оставлю его, не покину.

Да, изменилось мое отношение к Шару, изменилось и отношение к его поэзии. «Martinet», «Partage formele»<sup>1</sup> и кое-что другое — «La Sorgue»<sup>2</sup> — люблю по-прежнему: красота, сила и

---

<sup>1</sup> «Стриж», «Формальная разлука» (франц.).

<sup>2</sup> «Сорг» (франц.).

точность: южное. Да и там, где взалхлеб, порою прекрасно. Редко, очень редко. И красотей хоть отбавляй. Особенно противно перечитывать «Feuillets d'Нупнос»<sup>1</sup>. Экое бесстыдство: «...entre les deux coups de feu qui decidèrent de son destin, il eut le temps d'appeler une mouche madame...» («... между двух выстрелов, которые решили его судьбу, у него хватило времени назвать муху “мадам”»...) Тьфу! Промолчал бы лучше... А последние 15 лет (за редчайшими исключениями) — просто невозможно. И с каким неуклюжим, но неустанным упорством строит свою «внеофициальную» (?? — не проведешь!) карьеру. За любую премию готов ухватиться и, уверен, скрежещет зубами — не получил Нобелевской. Сейчас готовит том для *Pléiade* — стыд и позор. При жизни. Это ли позиция Мориса или Мишо? Одно дело — Б.Л.П., «оторванный ото всего света», предельно по-русски совестливый; и совсем другое — этот надутый бирюк-чинуша (куда ему, кстати, до лучшего Пастернака), с повадками капризной бабы и притязаниями Опискина... Я ничего не забыл, потому и не высказал ему накопившееся... А ведь, пожалуй, стоило!

...Сегодня (суббота) были у профессора Рауш, она два часа с Борей просидела. Очень сочувствующая и понимающая. Тест и пр. Пространственной ориентации — никакой. Способность выбрать — ноль. И еще этот blocage (ведь по-русски!.. И ни одну фразу не способен договорить до конца). Рисунки? Ох, лучше не буду.

Говорили мы и о практическом. Несчастен? Но счастлив был бы только в утробе матери (то же самое, что и я повторяю). Она настаивает, что Борю необходимо устроить и ради нас, ради тебя (семейная ситуация — классическая). Будущее — туман... Но в центр ходить стоит, там его последний шанс. И менять бессмысленно. В центре хотят надеяться и работают вовсю...

---

<sup>1</sup> «Листки Гипноса» (франц.).

Все рассказы о моей «жестокости» (шнурки, пуговицы, линейка и т. д.) воспринимаются и в центре, и Рауш, и другими спокойно. Опять же, как говорит Рауш, — вечный вопрос: что лучше — оставить таким как есть или силой привить минимум необходимых навыков?

Что у меня в душе и на сердце... И ругаю его люто, и ласкаю нежно, успокаиваю. Главное: «Ты знаешь, что твой папа упрямый баран, как никто. Все сделаю, чтобы тебе помочь и тебя не покину. И маму с Андрюшей постараюсь вытащить». И т. д. и т. п. Но в семье, даже в идеальных условиях так невозможно. И Андрюша будет этим раздавлен. О тебе молчу... О себе? Недавно писал обо всем этом Морису: «Сквозь ад». Ведь никакой больше жизни нет и сна лишился совершенно.

Еще этот август треклятый. Из нового места письмо: собрать... купить... сумма... сообщить адрес врача... Спальный мешок куплен. Господи, да когда же я смогу работать? (А ты мне об отдыхе, поездках...) Что уж говорить об интимном? Нет, и на блядей нет ни времени, ни силы (каюк!) — да и противно. Только в работе и в поэзии спасение (раз уж в любви отказано) — увы...

Belle-soeur Мориса — какой-то несчастный случай. Он, бедный, и не спит, и без помощи. И хочет обо мне заново написать. Сейчас я этого не стою. На дне. И Чехова, боюсь, перевести не успею.

Только что договорился с Брижит Красковец — она будет печатать Чехова. Ей очень кстати подзаработать. Семья совсем без денег. Платить будет театр.

А Берес — негодяй — кажется, приревновал ко мне «свою» машинистку. Уехал на две недели, позвонил. «Где же, — спрашиваю, — тексты? Где машинистка?» — «Нет, нет, лучше я сам их вручу вам. Поверьте, так лучше для вас». Экий дурень! Я действительно дал машинистке свой телефон и блистал улы-

бочками (уж очень хороша!). Жду-жду, не звонит. А Берес: «Vous l'avez vue? Elle est gentille, n'est-ce pas?»<sup>1</sup> — «Да просто красавица», — говорю. «М-да... Так что я сам вам передам тексты». И договора до сих пор нет — ни договора, ни аванса. Обещает... чтоб ему! Как жить дальше?

...Кисанька, сижу в слезах! Не могу без тебя. Ах, пропади все пропадом. Морис призывает далеко не заглядывать: ближнее невыносимо. И раскаиваюсь, что пишу тебе обо всем этом (еще многое конкретное мог бы добавить): ты всегда на меня смотрела взглядом судьи и законницы. А я весь, лучший — в нескольких строках. Остальное — пыль.

Ливан, Польша... Обо всем говорим с Морисом. (Когда-нибудь и с тобой.) Кстати, ненавидимая тобой Дж. Фонда находится в Израиле — яростная произраильтянка. Поди разберись... Несчастный Ливан, затерроризированный палестинцами и сирийцами. Нынешнее население — почти все ливанцы (христиане, мусульмане) встречали евреев как освободителей. Но масса невинных жертв. Да и если оставить в стороне г-на Арафата с присными, ведь палестинцев там почти 500 000. И несмотря на прекрасные заявления, все на них плюнули. Арабские государства и особенно СССР заморочили им голову громкими обещаниями оружия. А так наз. (фикция!!) гражданскую войну в Ливане я видел по телевидению. Прекрасная, красивейшая, богатая и необыкновенно живучая страна! Они и сейчас, на развалинах, живут и кормятся лучше, чем любой распаршивый москвич. Уйма университетов, музеи, пресса, отличная литература, почти все говорят (великолепно) по-французски, необыкновенная (местами) архитектура... Вместе с Израилем единственная подлинно демократическая страна была... На Ближнем Востоке (была... что дальше?)...

---

<sup>1</sup> Вы видели ее? Мила, не правда ли? (франц.)

...Звоню в Борькино новое жилище. Кажется, ничего, справляется и за ним ухаживают. На днях (когда вернется директор) я там буду.

Уфф... Кажется, вопрос продления решен: директорша (secrétaire général) была сверхлюбезна и, объяснив мне, что я и Брандыс — единственные тут писатели (против всех правил), сочла возможным настаивать (на административном совете) на продлении по июль 1983-го. А тем временем многое решится. Я проявил чудеса дипломатии (лень рассказывать, поверь). Го-ра с плеч...

Баранес осведомлялся насчет Борьки. Рассказывал мне о поездке в Бретань: Боря там справился по всем статьям и был вполне независим. Из заведения, где оформляется оплата, получен формуляр, который я переслал Баранесу. Он готов его заполнить, но считает необходимым избежать (там так поставлены вопросы) зачисления Бори в навечные инвалиды. У них твердая надежда (???) — надо с этим считаться.

Контракт из Гренобля! В том числе оплатят 2 поездки на репетиции и на премьеру (билеты и пребывание).

Наконец-то позвонил адвокат-депутат — друг Миттерана. Будем надеяться (обещал), что поможет по всем направлениям.

«Холм» — остались титул, рисунки Мишо, обложка. Остальное готово и сложено, ждет переплетчика. В этом месяце книга появится. Кому она нужна?

Ах, если бы ты знала (конкретно, на деле и «на словах» тоже), какое чудо верной и нежнейшей дружбы — Морис. Я ему рассказал об этой жилищной истории (был в панике полной — и все это на фоне массы прочего, и работа...); сегодня Моник звонила из провинции (с внуком). У Мориса новые книжные планы помощи, но что он может? Ну, напишет министру культуры... Кто знает... Все-таки имя.

...А если ты не приедешь — и если я должен буду вернуться (нельзя ведь без вас), напечатаю третью книгу — с В.И.Л., с Фе-

никсом Эдмундовичем, улицей девяностолетия вождя. Пусть делают со мной, что хотят. Еще полгода назад я, читая верстку, менял имена и фамилии (хотя это древо...) — а теперь стало все равно: ничего я им не должен, пусть хоть убьют, а вернусь без страха, только бы вас повидать. Отсюда все эти ОВИРы кажутся таким несусветным бредом (и нельзя, невозможно забыть скудости и конформизма здешнего мира)...

Кино? Да ведь это чтобы голову спрятать. Иногда, после многочасовой работы и многотысячных хлопот, выбегаю часам к 10-ти вечера. Париж — самый богатый в мире город по количеству идущих кинофильмов (плюс — еженедельно — десяток самых разнообразных фестивалей). Массу детективов смотрел: от классических (с Богартом — «Боги») до новейших. (В т. ч. и шпионских, порой — дурацких, для Андрюши, порой весьма изощренных.) Один из лучших фильмов Хичкока «North by North West»<sup>1</sup>. Пол Ньюмен (изумительный актер) в фильме о биллиардисте (когда-то в лагере читал о нем в польском журнале). Предпочитаю американское. Видел и «Кабаре» с Лайзой Минелли — чертовка! И ведь некрасивая! Это — единственное мое убежище. Знаю, что идут концерты джаза, что многое другое происходит (якобы), но нет ни времени, ни сил, ни даже желания. Эротического (не говоря уж о порнографическом) не видел ни одного. Даже «Эммануэль» с красивейшей Кристель. Небезопасно — мне-то, при моей унылой жизни. А сила, и энергия, и пляска вулканическая тлеют и ждут выхода — недавно обнаружил с изумлением, уживаясь с женщиной (некрасивой, но славной), которая хочет мне (вам) помочь благодаря очень высокой связи: думаю, нет ли во мне связи («по конституции») с Андреем Белым? Не смотрел — ни разу — и фильмов ужасов, которые теперь в такой моде. Своих хватает.

---

<sup>1</sup> «К северу через северо-запад» (англ.).

Если бы впрямь... Устроить Борю и не быть рабом этого занудного Чехова, который и по-русски-то пишет черт знает как. Пошлый господин — даже в своих (??? — якобы) мечтах и жалости. Но за жалость, что ни говори (а она есть местами, без подделки) многое ему простится. То-то любят его здесь, в мире черствости неопишуемой.

Кто же у меня остался? Татишевы — люблю их преданно. Морис несравненный, любимый, вернейший Жак и Кристин. Мишель — тоже верен, хотя как забыть, что он пишет (и он, вероятно, чувствует) и как он «всюду присутствует». Жорж, Жерар, пупсики... Русских нет. С Майей отношения хорошие, но без углубления в детали. Она в восторге от Мишо, книгу которого никак не отдает. Да, конечно же, Мишо, но с ним никаких affections и слюней. Вижу его гораздо реже — и всегда с радостью, вижу редко теперь и Грина: они с Эриком много ездят. Звоню — пора бы и повидаться. И особенно надо упомянуть верного и чистого (не люблю этого слова, но тут делаю исключение) Грака. Теперь до сентября его не увижу. Трудный, весьма небездарный Бонфуа. С ним познакомился, 15 минут в кафе — и больше не видел. Жаль, что Даниэль Бургуа из Антиба не отвечает. Ведь если будет спектакль, если Боря будет устроен, я смогу туда съездить в октябре. Но ее братья оказались обычными парижскими деловыми болтунами. Вот бы нам с тобой, кисанька, поехать на côte d'azur... Да и к Жоржу. Правда, буржуазная размеренность их дома просто пугает. Что ж, каждому свое. Сейчас там, кажется, Окуджава. В его глазах — это писатель, а не какое-то «авангардное» (что это значит?), «экспериментальное» (еще хуже), более чем сомнительное крошево. Таково отношение «широкой» публики и чудовищной — никогда такого не было — критики; прибавь сюда малочисленные изолированные стада: поэтов, с именем и без, варящихся в собственном мизерабельном котле — пусть кое-чего не знаю, но грош цена им всем, в том числе мэтрам на

час... С какими претензиями! Это и впрямь мир, в котором нечего сказать.

Самомнение Шара! Нет, право, Опискин, еще более чем Собакевич. Знаю, нет в поэзии иерархии, но, перечитывая даже лучшее (и любимое — кое-что перед войной, кое-что сразу после), вижу, что далеко ему и до Мандельштама, и до, быть может, лучшего Ремизова, и до Пастернака, очень далеко, и до Гуро, и до Белого — не говоря уж о «Хлебнике великого ненасыщения» (как это переведешь?). Раздули до невозможности прелести Элюара, позднего (ранний местами прекрасен), Сен-Жон Перса и т. д. и т. п. Но Реверди — изредка, при своей монотонии — очень чист и *honnète*<sup>1</sup> по-поэтически. И Жув порой мощен и прекрасен. Кто его читает?! 5,5 человек. И сюда же — лучшая проза Бланшо: два-три шедевра (оставляю в стороне его мысль, статьи—этюды—фрагменты) на уровне лучших в этом веке.

Да, и Клодель, конечно, — при всех его неровностях — дикая варварская сила. Все это — в прошлом.

Мои несуразности (да еще при таком, неизбежно-скудном выборе) вызовут, пожалуй, только плевки. Мишо то и дело повторяет, какая осторожность и высочайшая требовательность необходимы в этом парижском иноязычном котле. Но что делать? Переведено третьестепенное. Французский письменный язык не способен плясать и творить самое себя ежеминутно. Все, к чему (вижу) стремился я в лучших текстах — достичь такой жесткости, непроницаемости, суверенности слова (ты видишь, откуда идет эта линия), — здесь остается за гранью возможного: основа французского языка — синтаксически построенная фраза, а не слово в его контекстуальной динамике и, тем более, не корнесловие, рождающее новый эмоциональный акцент (склонения, инверсии без конца, самозарождающаяся интонация и слово и т. д.), слово суверенное, которое только потому, будучи (в

---

<sup>1</sup> Порядочен (*франц.*).

конце концов) для всех закрытым, приемлет, принимает, ибо содержит в себе все и вся. Только так: щедрость и братство в этот век безмолвных страданий и последней катастрофы. Иначе — «правда» навыворот и романы, которым нет числа.

Что там накалякал? Не перечитываю. Духота такая... Только что — чуть было не «солнечный удар» по Бунину. Нет, надо в логово, и Борю готовить к дальнейшему. А как только что сказал тебе по телефону — Жорж позвонил (после моего отчаянного звонка). Просто он занят. Числа 19—20 будет в Париже, постарается позвонить. (У него с Димитриевичем тоже весьма нелегкие отношения.) И он нисколько не будет в обиде, если я выпущу две книги в «Синтаксисе», вот ведь сколько морочили голову. Но он еще постарается с Дим. поговорить. Я поставил вопрос ребром: хочет Дим. или нет распространять мою книгу? Будут или нет как-то оформлены наши отношения? Ведь деньги собраны немалые... С какой стати при моем положении я буду делать ему столь роскошные подарки, да еще не имея надежды увидеть свою книгу в продаже? (Не описать, что происходило с первой.) Майя берется и третью издать (ей нравится), и обе распространить. И обманывать меня не станет: если хоть что-то заработаю — вручит. Какой бы ни был у нее нелегкий характер, она дело свое любит и — умеет. А Жорж считает, что Дим. совсем с ума спятил под влиянием Зиновьева\* (этот советский болван издал в «L'Age d'homme» только что книгу стихов).

...Чехов... Но было множество переводов: Саша Питоев, Эльза Триоле, другие. Я должен сделать лучше: живым языком, но не вульгарным, выдержать ритм, выбраться из этой каши.... С французского на русский нечто подобное я перевел бы играючи. Но на чужой язык... Столь далекий.... Письменный по преимуществу... И сроки дикие — в этих-то условиях...

...Был у Майи. Сделали пробные оттиски Мишо. Завтра надо (пора!) ему позвонить. Когда Жорж приедет, решу оконча-

тельно: думаю, что колебаться больше нечего, пусть у Синявской выйдут обе книги. А если будет статья Мориса, Майя хочет (я им наговорил о Бланшо) напечатать ее перевод в «Синтаксисе». Чувствую себя скверно, кашель невозможный. Возвращаюсь вечером — Париж запружен машинами и толпами людей, гремушки, погремушки, хлопущки. И сейчас — у меня под окном. Завтра — 14 июля. Народу! Голые, полуголые, четвертьголые, в штанах, без штанов, с детьми... черные, белые, желтые, синие, рыжие... Американцы, немцы, итальянцы, японцы, вьетнамцы, шведы, мексиканцы... Столпотворение! Для французов это действительно праздник. А я — за работу (ночью чуть легче дышать), хотя сил нет. По десять раз на день — под душем.

Майя предложила мне отпечатать тираж третьей книги и не распространять до моего указания. Менять ничего не хочу. Будь что будет.

Гляди-ка, целую книгу написал. Видишь, как я в тебе нуждаюсь?

Жорж завтра приедет на один день, но я не уверен, что увижу его. Единственное, что нужно — решить издательскую проблему, срочно.

От Лены Сенокосовой\*, кстати, письмо. У Ленки (да и у тебя) наивные представления: перевод Чехова — «признание»... Господи, да переводчикам тут грош цена. Плата копеечная. И отношение (я не говорю о режиссере — он очень симпатичен) — как к последнему клошару. Поэзия? Но русского читателя нет и в помине (да еще моего), а по-французски главное непереводаемо, и публики тоже никакой или всякая снобистская. Скучный мирок. Морис (не только по своему гению) — уникальное, почти монструозное исключение. Хотя, разумеется, люди встречаются (но я нигде больше не бываю). Мишо как-то со всем этим уживается: мудрец... И неистребимый (не слишком ли?) интерес ко всему на свете. Жак — честно гово-

ря — тоже тонет в делах, которые вчуже понимаю, но... не принимаю. Он и страдает от этого, и к жертвам (а они необходимы!) не готов. Но поэтическое в нем необыкновенно сильно; и на деле он проявил себя действительно по-братски. Мишеля вижу часто; верный и славный... Но утонул без остатка в этой суете. Мой с ним переводческий опыт убедил меня, что, увы, и тут язык на последнем издыхании. Грак — как говорили некогда — человек КРИСТАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ, однако совершенно «в стороне», всю жизнь! Его тут некоторые (многие) превозносят до небес, но ему действительно все равно. Главное — независимость и своя, пусть совсем скромная, жизнь. И редкостный товарищ — в мелочах, в повседневном.

Морис — больше всех, во всем, но (я ему сказал — написал — вчера) не хотелось бы, чтобы наша дружба вылилась в какое-то подобие «Красного Креста» (или полумесяца!). Он так старается, несмотря на болезни, беспомощность, писать мне часто!

Какая милая эта Нина Конст. Рауш. Прислала мне большое письмо. О Борьке, обо мне... хочет встретиться, помогать. Ничего я ей о своем денежном положении не говорил, но вот послала 1000 фр. На детские каникулы. Хочет, чтобы осенью мы повидали проф. Смирнова (русский! Это важно!). Но к чему?? О Борьке много... Но не стану вдаваться в подробности, главное: необычайно много зависит от благоприятных эмоциональных условий. Считает, что сейчас он прямо герой.

Вот только что Жорж позвонил. И увижу его вечером. Черт подери, вот слышу его голос — и чувствую, как по-прежнему к нему привязан. Это сильнее меня и всех очевидностей.

Мишо... Светлая личность. (Вот бы удивился моему определению.) Посидишь у него часика три — и на душе легче становится. Чувствуешь рядом полноту невысказанного — через сказанное. Жаль, что вижу его нечасто. Подарил я ему Майину работу и сказал, что она третью книгу хочет выпустить. Он так ко мне относится, что тут же надписал Майе «Saisir» — она с ума

сойдет от восторга (мою не отдает). Я уже и не помню, послал ли тебе эту книгу. И впрямь великолепная. Если нет, скажи, попрошу у Миши эту для тебя. И пусть надпишет.

Письмо твое... Мамино... Слово «устал» не подходит: как я еще жив?

Целый вечер просидел с Жоржем, в котором узнал прежние милые черты; такого Жоржа я любил и люблю. А все дело в том, что он теперь вконец разозлился на Димитриевича. Но можно ли так? Говорю ему: «Жорж, дорогой, если бы я уехал в феврале, ты бы и не знал». — «Да нет, ты позвонил бы». Странно... М. б., и впрямь съезжу, завершив Чехова, к нему на мельницу. Но при моем образе жизни, моих бессонницах... Не знаю, никому не хочу мешать. Живу уединенно — и не только из-за Бори. И Жорж говорит: «Знаю, ты стал пещерным человеком». Не совсем то...

Твое письмо... Ириша, родная, ты молодец, сколько твердости! Дважды — признаюсь — расплакался: когда о Спасской (куда не ходишь. И «тяжело на душе») и о папиной могиле (особенно Андрюша, поцеловавший папин портрет). Да, эта твердость необходима. И каталогизация книг! Но ты знаешь, наверное, что при всех моих стенаниях, воплях, рыданиях (смотря с кем...), главная твердость есть и останется, непоколебимо могу теперь сказать: доказано всей моей жизнью.

Морис (только что письмо) весьма скептически настроен по поводу возможных (?) отсюда заявлений. Отношения с СССР совсем скверные; хотя бы в этом смысле Миттеран молодец. Да и в других вопросах твердость проявил немалую. И тем не менее я с Морисом не совсем согласен. Долгий разговор. Главное — воля: не сдаваться!

Жак милый позвонил: ура! Тяжба с сыном Магта закончена наилучшим образом. Жак и др. остаются в галерее командующими. Сегодня к нему пойду на вечерок отдохнуть душой. Вот с ним, с Кристин, Ириша, и ты подружишься, это точно.

Подтверждаю после проведенного с Жаком (и вином) вечера. Задумываем устроить пирушку в мою честь, со всеми моими друзьями у Жака — Мишо, Степа, Анна, Грак, Жорж, Мишель, ну, и меньшие друзья вроде Доры Валье. Приезжай, Ириша, готовить русское угощение. Не пропадем! Ну их к дьяволу, собак! Ностальгия? Но мы же тут гости — у меня это чувство с рождения, с ранения... Т. е. чувство (у всех оно есть, но...), которое пронизывает насквозь повседневное. Где наша не пропадала! Вот ведь еврей — никакой. Русское насквозь (достаточно Вас. Вас. Р. почитать). А впрочем, не все ли равно? Что такое русский? Общее собирательное место. Эх, не с кем поговорить. С Жаком хорошо: друзья в доску.

Скажи Николаю Ивановичу: я хочу устроить в Магт выставку Митрохина\* (или уже писал?). Если Лидия Васильевна\* согласится и передаст хорошо отобранное мною, я сделаю международную выставку (можно с текстом Ник. Ив., если хочет), а деньги им передам (найду способ). Так и скажи. Если тебя не пустят и ты уйдешь с работы, найду возможность тебе помогать.

...С издательством решилось без меня. Жорж привел наконец Дмитриевича к Синявским. Вышла — несмотря на угощение и проч. — гадкая сцена. Не обо мне речь, я — «прилагательное». Ясно, что я Дим. не нужен, даже с деньгами. Майя сказала ему, что издаст две моих книги (т. е. в «Синтаксисе»). Он никак не реагировал. Бог с ним. Противно, обидно и устал.

...Устал. Как чеховские герои и героини. Вчера попал под страшную грозу, прятался под скудным навесом (на берегу Сены) и в голову полетели какие-то необыкновенные постановочные идеи... к «Трем сестрам». Как установить дистанцию между зрителем и сценой, между нынешним и канувшим навеки в тартарары — как превратить эту кашу и словоблудие в трагическое и пронзительное. А все началось с мурлыканья про себя: мой французский вариант «У лукоморья»... (Маша) —

ах, какой же наш Пушкин молодец! Какие строки! Сильнее туберкулеза и кагэбистских погон... Сильнее самой последней грозы! И Чайковский ведь, что скрывать, бывает гениален.

Поговорю с режиссером... Авось, сумею его убедить. Но 4-е действие только начал — не идет, — и нельзя повторить прежде сделанное; и 3-е действие надо окончательно доработать. Если не околею.

А клошары — такого в Москве не увидишь — спят в самом центре на тротуарах. Не везде, разумеется. Рядом, около Saint-Paul.

Чехов... Даже Чехов!.. Понимаешь ли ты, что такое русский динамический, интонационный, свободно-синтаксический, словообразовательный по природе (склонения, а отсюда инверсии, частицы и т. д) разговорный язык — и как он далек от письменного по преимуществу французского? Небо и земля. Намучился я с собственной поэзией и многое понял: понял проклятие вавилонской башни. Какая бездна смысла в этом библейском...

Вот сижу и бьюсь над «тарарабумбия, сижу на тумбе я...» Ни в одном переводе нет — не нашли. Но это мелочь — из самых легких. А люди (я, Морис...) разделены языком до посмертной глубины. Вот что страшно! И французский разговорный тоже по-своему богат... Но по-своему... И надо для перевода знать его не то что назубок, а как волк знает каждую былинку в степи, ею живет и дышит, того сам не зная... А я вижу, убеждаюсь, что французы теперь (о поэтах, писателях) забыли, не знают собственных богатств. Куда уж мне...

Жерарко из Вены написал — весьма умно. Кое-кто, над ним подтрунивающий, гораздо менее его образован. Ну да ладно. Ах, как хотелось бы тоже поездить. Со всех сторон слышу: кто в Греции, кто в Англии, кто в Италии... Ведь я практически мог бы путешествовать, т. е. «формально». А московская реакция — даже если вернусь! — меня не волнует.

Возвращаясь от Грина, проходил по rue de Bievre — пять минут ходьбы от меня: там квартира Миттерана (полицейских много... Хотя, разумеется, он там теперь не живет) и адвоката-депутата, с которым я недавно говорил (слухи ходят, что он станет новым министром юстиции). Да, говорил, а дальше что? От этого мира меня отделяют миллионы километров. Сколько пришлось и приходится зависеть и кланчить! М. б., лучше, что тебя тут нет. Ты бы не вынесла. Хотя ни одного просительного письма не написал, что-то во мне надломилось и ожесточилось.

Может быть, главное в моем страдании — разлука даже не с вами, а с поэзией. Вскликаю, как ошпаренный, ночью, после целодневной писанины (глаза больше не видят) на чужом языке — и вдруг строчки, строчки, неожиданные, каких не было: освобождение! Но это лишь на минуту, знаю: надо выкарабкаться из всех этих забот, обязанностей, тревог — чуточку разгона... И пойдет — но не выкарабкаюсь, не вижу такой возможности. И все внутри заперто на замок. Хоть с Чеховым бы разделаться. Сердце скрежешет.

Переводчик Николая Ивановича\* проделал огромную работу, предисловие полно добрых, наилучших намерений — но навинное до невозможности. Вспоминаю, как приставал ко мне (в 77 г.) Ник. Ив., чтобы я высказал ему в письме свое отношение к этой книге... Помню, что весьма его обидел, высказавшись довольно круто о сухости и поверхностном педантизме. Дипломатично (хотя искренно) посоветовал ему «найти свою форму» — изустную — писать «как говорит», ведь умеет вспомнить, оценить и великолепное слово найти. Долгая история... Так и сказал: «Вы бы на отдельных листиках... И в корзинку, рядом, бросали». И теперь думаю, что это было возможно... Увы!

От Синявских... Еле живой. Пора кончать книгу. Вдруг кажется, плохо расположили рисунки. М. б., позвоню. Майя пло-

ха: давление и т. д. Главное, переживания по поводу Димитриевича. Нахамил!

Зачем я пишу тебе эту бесконечную книгу? И прочесть-то невозможно. О, я несчастный! Дурак!

На Лазурном берегу — пишут газеты — бедствие. Резко побавилось ослепительных шейхов и прочих миллионеров; все запружено с июля молодежной голытьбой («мешочниками» — т. е. с рюкзаками за спиной, тут их повсюду видишь): немцы, голландцы, американцы, англичане, испанцы... Ночуют на пляжах, кормятся сэндвичами. Стар я для этого. Вот бы в роскошный отель в Каннах, на великолепной La Croisette! А еще там — в Антибе, в Ницце — прошли джазовые фестивали. Теперь сюда поодиночке: концерты разных звезд. Но и джаз мне надоел (пустота!), и совсем я замкнулся в пещерном (как выражается Жорж) существовании. Такое же — но с вами! И на своей кровати — в Москве. Пожалуй, в Москве лучше. Тут не проживешь... Нет, надо работать, писать — больше нет ничего на свете! И иметь хоть слабую надежду быть изданным. С Жоржем согласен: Николаю Ивановичу (как я и говорил ему в 77 году) тут будет очень скверно... Да и годы не те. А зову я его из чистой корысти, т. к. временами мне его не хватает ужасно. Кто еще читает меня в Москве? Лена Суриц разве что, вдова Кости Богатырева..

Вот и все. А для меня — чем дальше, тем больше — это единственное прибежище, освобождение, а временами и проклятие. Ночью без конца «во мне говорит» — какие-то неожиданные «рассказы», строки, строфы... Вскликаю и записываю. Куда? В тартарары. Почти как Хлебников со своим «мешком». Но был целеустремлен и упрям: мешок! Пора обзавестись... т. к. упрямства мне не занимать.

Знаю, Ириша, жить с таким монстром (цитирую) — дело непосильное. «Разрываюсь братцы через решетки вас убиенных...» Да, но ведь есть и другая (та же!!) сторона. Ведь скулю,

как изувеченный пес, думая об Андрюше. Наткнулся на что-либо его напоминающее — и плачу, как маленький. Вот кончил (черновик) Чехова и повторяю: если бы знать! если бы знать! Но, в отличие от этих барышень, знаю, что знать нечего и никакой тайны нет.

Пойди переведи на французский: «И ни, деточка, живу! Вот живу!» или просто «мерехлюндия». И т. д. и т. п. Ну как тут вывернуться?! Стена. Хотя свой гений у этого (франц.) языка; еще раз убеждаюсь, перечитывая (в бессонницу) Мориса: какой стиль! Какое напряжение! И еще — без конца читаю маленькие вещицы Кафки. Просто ахаеть, какая бездна! Да и Шар, стервец, лет 25 назад — как еще умел писать! А я в это время воспитывался лагерем... Вчера вспоминал, сидя с семейством Синявских в «их» (соседней) забегаловке.

Да, Степа, Анна. Редкие люди!

Встретил и проводил Боря. Боялся проспять (поезд в 8 утра), встал в 5.20! Боря выглядит хорошо, обласкан, ухожен... И молчалив (еще одно письмо от Степы). Много купался, посвежел. Накормил я его завтраком, а потом отличным обедом в соседнем кафе на острове Saint-Louis. Поговорил с ним прямо и без обиняков: «Тебе тут трудно — без мамы, чужой язык (он сам об этом говорит) и т. д. Я совсем не знаю, сумеют ли тебе помочь. Скорее всего, не смогут. Мучить тебя я не могу и не хочу. А поэтому выбирай сам: если хочешь, я тебя в сентябре отправлю в Москву, да и сам, б. м., вернусь». Боря долго размышлял — признался, что тянет в Москву, но решил продолжать. Я ему многократно повторял, что без его желания и выбора держать его тут незачем. Я и внутренне к этому окончательно пришел. Как только станет ему невмоготу — в Москву! К вечеру отвез его в «приют». Разные подростки (смотрели телевизор), есть и похуже, есть и вроде Бори (человек десять): грустно стало на душе!! Но утешили «воспитате-

ли» — изумительно симпатичные и ласковые (видел!) ребята; лет по 25. На следующее утро Боря уехал в деревню (вещи я ему собрал по списку, составленному Анной). Работаю зверски, завершаю Чехова. Пора! И Майя извела — несколько раз ездил в последние дни: титул обсуждали, обложку и т. д. Кончено! Осталось переплетная. Ах, только бы оказия появилась. Всем друзьям надпишу по экземпляру. Здесь никто не заметит... А в Москве? То-то окрысится кое-кто... Уже не «L'Age d'homme» (впрочем, какая разница?), а «Синтаксис».

Рисунки Мишо расположили (я сам придумал) отлично. Тут тоже предстоит раздача экземпляров подписчикам: почти все... французы.

Страшная автомобильная катастрофа на юге: погибло много детей (автобус... на каникулы). Как раз в тот день и Боря уехал..

С Морисом отношения странные. Языковый барьер... Мне кажется, что я для него — полнейшая отвлеченность. Если бы прочел он «Пишу письмо» (поэзия и жизнь), то не стал бы, пусть и с любовью, ссылаться на Гёте и Фредерику Брион\* (дурной пример!), да и на фразу Лоуренса\*, который готов был разрушить Нотр-Дам ради невинного ребенка. Слова, слова... А готов ли был бы он совсем не издаваться? Не знаю... Зато знаю куда более сильную фразу Достоевского.

Без личного общения приходится тысячекратно «объяснять» простейшие вещи.

Пробиваю продление маленькой стипендии (ужасающая бюрократия!), а на большую (получил ответ) надежд больше нет. Все разъехались на каникулы... Зовут меня и Жорж, и Присцилла (которая была у тебя) предлагает на недельку домик около Фонтенбло — невероятно богатые люди; при всей симпатичности так это все далеко! дальше Юпитера! — нет! Надо завершить Чехова, потом просмотреть отпечатанный текст и заняться своим: Мишо осенью сделает литографии... Надо готовить книгу... Деньги!

Cité-des-arts: продлено на год (уфф!) — последний. Но где я буду через год? Все зависит от вас. Т. е. от ответа. Надежд не питаю.

Так тяжело вечером, после дикой работы, так одиноко! Бегу в кино... Тут вот обнаруживается, что социалисты (не Миттеран лично) еще большие националисты (да еще с идеологической дурно пахнувшей окраской), чем де Голль. Министр культуры (не читавший в своей жизни ни одной книги!) плетет в Мексике окопелесу на счет культурного империализма (метит в США). Он уже высказывался насчет «засилья» американского кино. Да что же делать, если французское не годится в подметки американскому. Почти все, что смотрю, — американское.

Кино тут и впрямь прибежище для одинокой «тоскующей» души. И как удобно, уютно... Только по карману бьет...

Как быть, как быть? Запутался окончательно. Что делать с третьей книгой? Морис настаивает (после многомесячных уговоров не возвращаться): ничего не делать такого, что могло бы навсегда разлучить с вами — и с Россией. Легко сказать... Да, легко «разводить теории»... И помимо всего, Москва страшит: ведь больше никуда не выпустят, да и мстить, пожалуй, будут. И главное: Боря!!

Так я и не выбрался (зачем??) к Трейл\*, которая сегодня позвонила перед отъездом. Сеземан\* (она его мальчиком знала) обругал ее за «коммунизм» в 30-е годы. А еще выяснилось, что она была — 60 лет назад! — женой Сувчинского, до Марьяны. С Марьяной она по телефону говорила, а Сувчинский говорить не захотел. Все это — чтобы тебя позабавить. У меня ужасные дни: не покладая рук тружусь над доработкой Чехова, нет машинки, сговорился с девицей, работающей у М.С., кое-что она (сверхпрофессионально) поправила; потом — к Синявской смотреть обложку (хорошо!), помогать складывать книгу, домой... Снова за работу... Режиссер хороший, просит немедленно послать экспрессом. А утром, уже дважды, был в консуль-

стве — куда подевались проклятые бабы? Огромные очереди — каникулы — что это за люди? Загадка. Завтра позвоню, надо торопиться. От вас — поздравления Боре (посылаю вместе с моим) и чудесный (два, но один особенно) рисунок Андрюши. Цвет мастерский! Господи, я сойду скоро с ума.

Жуткие события: террористы свирепствовали в двух шагах от нас, — на улице Розье, особенно в ресторане Гольденберга. 6 человек убитых, множество раненых. Стреляют в евреев? Ярость неопишутая. Прилетел Миттеран, его у синагоги освистали... Несправедливо: какова бы ни была внешняя политика и что бы о ней ни думать, он действительно друг Израиля (и единственный французский президент, там побывавший). Сейчас около меня, у еврейского памятника — митинг. Уйма полиции вокруг.

Вчера я наконец продлил визу. Молодой человек был сверхлюбезен, зачитал мне московскую бумагу о продлении (особенно запомнилось: «компетентные органы»), беседовал почтительно, ужасался («трагическое положение!»). И, разумеется, передаст мою угрожающую фразу насчет слишком натянутого каната («Я с вами согласен»). Морис меня совершенно истерзал своими страхами: будут продлевать... Только бы тебя и Андрюшу вытащить... т. к., пожалуй, и впрямь надо мне лечиться. Слаб и плох.

Надо доработать Чехова: режиссер не ожидал такой простецкости языка — в основном, однако, ничего менять не буду, а вот в частностях многое надо выправить. Не мой язык!

Зашел в американское посольство (быстро проверили, нет ли оружия! А потом — сверхлюбезно!): нашел маминых (т. е. бабушкиных — и моих) родственников по справочной книге: Homelson. Кажется, жив еще Борис — брат бабушки: тот же адрес — В. Homelson. И там же еще несколько адресов с той же фамилией. Один из них, Исаак — шериф! Попрошу кого-нибудь помочь (Жерар?) и напишу. Если отзовутся — пусть приг-

лсят маму. Можно и наших родственников найти, но нет у меня адреса.

...Ну вот, этого следовало ожидать. Режиссер объявил мне, что это не его Чехов, что времени на исправление у него нет и что он отказывается от моего перевода. Сперва я был убит, а сейчас в ярости. Разумеется, кое-что надо исправить, но мы об этом договаривались заранее. Я ничего не успел просмотреть; только в начале августа получил машинопись — и увидел свой текст. По-настоящему работал всего 3 недели, да бронхит проклятый, бесконечные поездки к Синявским, потом треволения насчет визы... И т. д. и т. п. Однако: 1) никого нет сейчас в Париже, и мне некому просто было показать перевод; 2) мы договаривались, что я представлю текст к середине августа (к 17-му!), но уже в конце июля режиссер меня извел, требуя немедленно завершить и выслать. Никакой классик не смог бы уложиться в такие сроки. Тем более что представления о Чехове самые бредовые: чуть ли (да нет, буквально!) не второй Шекспир. Отсюда и недоразумения: разговорный и даже более чем обыденный язык им не по душе. Я написал режиссеру свирепое письмо: если он хотел получить Стриндберга вместо Чехова, надо было сказать заранее. 20 тыс. я получу (??), но никаких процентов, разумеется, за постановку, а главное, пропало время, пропали затраченные невероятные усилия. Лучше бы — в этот недолгий срок, когда нет Бори, — я съездил бы куда-нибудь и переводил свое для книжки с Мишо. У него, кстати, был вчера — он буквально ужаснулся моему невезению и унижительности положения.

Денежные проблемы все более меня страшат. Единственное спасение — книга (французская), если не откажет издатель. И надо переработать кое-что полностью и, возможно, еще что-либо добавить. Мишо успокаивает: мол, готовый выбор уже весьма неплох, но я ему не верю... Сам вижу и знаю. Морис вряд ли что-нибудь напишет — разве что я изумлю его новыми

переводами (сейчас сижу над «Мелодией», ему посвященной, — увы... Такое русское!!!).

А 28-го Борька вернется. Мой день рождения? Бог с ним! Все даты забываю. Боре поздравления послал (в т. ч. свое), но 12-го ужинал в ресторане с Жаком и Николь (очень дружески все было) — и не только вылетел из головы Борин день рождения, но и не вспомнил, что у меня 25-летняя годовщина (со дня ареста. — *И. Е.*). Через пару дней очнулся...

Жизнь разбита вдребезги, ничего не осталось. Ты снишься, Андрюша (сегодня) снится — стараюсь не думать, а то совсем рехнусь.

«Холм» в преплетной... Жду (и Мишо ждет!). Теперь поздно... Жаль, что не выбросил штук 15 совершенно бессмысленных (для разгона!) текстов. Есть мелкие опечатки: надо исправить. И надо забрать у Майи рисунки Мишо: она ничего не отдает. Возможно, подготовлю для них Хармса (проза... разумеется, будет стоять имя Мейлаха, который согласился с моими условиями) — из любви... Жаль, что Николай Иванович не послал том прозы Хлебникова... Впрочем, я знал заранее. Рассчитывать на него нельзя ни в чем.

А что делать с третьей книгой? Ума не приложу. Пока надо ждать ответа из ОВИРа. Потом... увидим. Во всяком случае надо подготовить для Майи окончательный текст. Но... но... Самоцензура? О, как это противно!

Терроризм.... Споры насчет Израйля и Ливана... Морис пишет мне, что избрал трусливое молчание... Но я не думаю, что в этих условиях молчать — признак трусости. Конечно же, французская (даже американская) пресса совершенно необъективна, однако уничтожать жилые дома с десятками невинных ради того, чтобы добраться до 2–3 террористов... нет, это чересчур... Если палестинцы используют ливанских заложников для собственных целей, это еще не значит, что евреи должны опуститься до этого уровня... Пресса раздувает, преувели-

чивает: подобные случаи единичны, но их уже немало... Безумец Бегин (хотя его можно понять, особенно зная историю его жизни — советские лагеря, вся семья уничтожена немцами...) своими заявлениями напоминает «логику» кое-каких фанатиков, которых я знал в лагере (Б. Шперлинг), но не забудем и то, что он проделывает грязную работу (Бейрут — центр международного терроризма, по всем направлениям) за всех лицемеров и трусов.

Нет, ничего перевести нельзя. Относительно поддается переводу лишь поэзия, в которой образ подавляет все прочее. Но и в этом случае эмоционально — интонационно — ритмическое пропадает начисто. Так что и Мандельштам — лучший! — полностью в переводах гибнет (при его-то образной системе!). Французы просто не способны допустить (говорю об очень немногих, понимающих и любящих поэзию) возможности слова как такового. Мишо смутно это чувствует... Но он не француз, т. е. не совсем француз. Сталкиваюсь на каждом шагу и с невероятной бедностью конкретностей в словаре. Разумеется, иной мир (в т. ч. и климатически), иные реалии. Но все же: не только нет в этом языке сугробов, полыньи, но даже кипятка не найдешь (*l'eau bouillie*<sup>1</sup>? Нет, не то).

Глухие болваны думают, что все можно перевести, было бы только желание. Они не понимают, что и рифма, и метрика во французском совершенно не то, что в русском. А им кажется: сохрани рифму и размер (т. е. число слогов) — и получится тот же ритм. Но ритмическое начало не в метрике и не в рифме: 70 лет назад это уже отлично понимали! Помню, как Крученых меня спросил: «А в чем различие между размером и ритмом?» Это — элементарное...

Глаз мой видит плохо. Вечером, при лампе, почти слепну. Заметил это, переводя Чехова. Так что останавливаюсь..:

---

<sup>1</sup> Здесь: кипящая вода (франц.).

Режиссер еще позвонит в среду 18-го, но его решение мне уже известно. Конечно же, хотелось бы в Бретань съездить, вздохнуть...

Мог бы сейчас почитать — нечего! Русских книг нет... И мысль о вас так и сверлит душу — днем и ночью.

...Выбрался наконец на выставку Брака в Центр Помпиду — давненько там не был. Очень хороши коллажи и кубистский период, но, откровенно говоря, последующее (уже знал, разумеется, но тут много вещей из провинциальных музеев и частных собраний) меня разочаровало. Порою даже орнаментально. И уж чрезмерно «классично» — не случайно Шар так его любил. И в этот период, конечно, отдельные вещи прекрасны — романский космос. Но не чувствуешь движения, пути... Все происходит на месте. А на площади у музея палестинцы торгуют своей пропагандой. Значками, афишами и проч. Тысячи и тысячи туристов. Свобода! Чтоб им... А я снова в свою конуру.

Киса, как бы я ни страдал и ни выл, верь в мое упорство и твердость. Даже с переводом не отчаиваюсь (что-то выходит из «Мелодии»...), что уж говорить о главном!

Верь — и в последней безнадежности не теряй надежды. Целую тебя без конца и мысленно обнимаю моего мальчика.

*Наташа* — Наталья Евгеньевна Горбаневская (р. 1936), поэт, редактор, правозащитник.

*...мой текст о Sima* — предисловие к каталогу выставки художника Жозефа Сима в 1981 году в галерее «Le point cardinal».

*Шильц Вероника* — ученый-византолог, друг семьи Козовых.

*Зиновьев Александр Александрович* (р. 1922) — философ и писатель, в 1978 году был лишен советского гражданства и жил в Германии. Автор книг «Зияющие высоты», «Homo soveticus», «Катастрофка» и других. В 1999 году вернулся в Россию.

*Сенокосова (Немировская) Елена Михайловна* — жена Юрия Сенокосова.

*Митрохин Дмитрий Исидорович* (1883–1973) — художник-график.

*Чага Лидия Васильевна* (ум. 1995) — художница, падчерица Д.И. Митрохина и жена Н.И. Харджиева.

*Переводчик Николая Ивановича* — Жерар Конио при участии Ларисы Якуловой.

*...ссылаться на Гёте и Фредерику Брион...* — И.-В. Гёте (1749–1832) будучи студентом в Страсбурге (1770) влюбился в дочь пастора в городке Зессенгейм Фредерику Брион (1752–1813). Спустя много лет он рассказал об этих отношениях в форме «идиллической новеллы» («Поэзия и правда»). Далекий отзвук этих переживаний можно найти и в истории Маргариты в «Фаусте».

*Лоуренс Давид Герберт* (1885–1930) — английский писатель, автор романа «Любовник леди Чаттерлей».

*Трейл Вера Александровна*, урожд. Гучкова (1906–1986) — дочь министра Временного правительства, третья жена П. Сувчинского. Приезжала в Россию, была знакома с семьей Козовых.

*Сеземан Дмитрий Васильевич* (р. 1924 во Франции) — сын философа В. Сеземана. С 1947 по 1974 год жил в СССР. В 1974-м вернулся во Францию. Переводчик, писатель.

## 1982 СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

Ириша родная,

суеверная личность во мне сильнее всего. С незапамятных времен... Знаю, что число 27 (или 28) — выигрышное. Многократно доказано. Посему таковым должно быть и число стихотворений, и прочих текстов (проза) для французского (двуязычного, точнее) избранного. Разумеется, при этом сильно желание донести хоть отчасти голос до немногих слышащих.

Удивительные вещи получаются. Изобретательнейше перевел начало (строфическое) лермонтовской вариации; Жак, который помог взвинтить до предела, уверяет (что-то подобное сказал некогда Мишель о другой вещи), что эта синтаксическая свобода (мягко выражаясь) при четкой рифмованной строфике напоминает ему старую французскую поэзию, например, Scève'a\* (которого я, кстати, очень люблю — да и Жак тоже, и Шар!). По поводу перевода «Себя ли ради?» (по-французски изменил название — Морис подсказал — *virevoltant*) примерно то же самое сказал мне Мишо — понравилось! И вот я замечаю, что в «письменно-литературном» отношении мы и впрямь гораздо моложе. Там, где я «восхожу» (к истокам, к народной песенной мелодике, к синтаксической свободе — Протопол — оттуда!), там у французов — Scève и, быть может, даже Ronsard. Отсюда, при самом даже невероятном успехе перевода, совершенно различные точки отсчета, в том числе эмоциональные.

Залпом, в два дня, после мучений с Борькой (он спит сейчас), перевел «Остается»: помню, как читал тебе со слезами... Надо Жаку показать. Но не терпится послать Морису... Хотя знаю, что при всей его трепетной любви к поэзии (поэт для него — смысл и оправдание мира) он воспринимает ее как-то со стороны, через цитируемое. Несколько упрощаю... Но в сущности, это так. Не поэзия как поэзия, а поэзия — мир. Но уже в первой (и только в первой) части предыдущей фразы заложено последующее (без последования) отношение. Такое восприятие поэзии — чудо и наиредчайшая редкость. Вот это Морис превосходно знает, как, б. м., никто.

Так вот какой теперь получается список (кое-что — 3–4 вещи — надо как следует переделать, в другом — мелочи): 1. «Сваленный дуб» (без посв.); 2. «Имя неуловимо» (посв. — ??? инициалы?); 3. «Откуда взялось?»; 4. «В путь» (Андрюше!); 5. «Нет прошенья»; 6. «Ты и я»; 7. «Среди хохота облаков»; 8. «Книга»

(знаю, так себе, но по-франц. хорошо); 9. «Себя ли ради?»; 10. «Остается»; 11. «Ты все еще впереди!»; 12. «Вот!»; 13. «И наконец»; 14. «Прочь от холма» (2 фрагмента: «Я провел эту жизнь...» и «Не люби работу»); 15. «Мы видели»; 16. «На правах одуванчиков»; 17. «Твое крыло»; 18. «Он» (Мишо очень понравился перевод); 19. «Мелом и грифелем» (надо бы упростить, а то вколотил, как надгробие); 20. «Узко — не разминуться» (сколько бились! Бледные остатки... Но все же); 21. «Мелодия» (никакой мелодии не осталось; еще поработаю, хотя Морис, из любви, одобрил); 22. «Дорогу!» (НИХ); 23. «Ни цветов, ни венков»; 24. «Вечная молодость» (закрутил до предельного холодного бешенства: здорово!); 25. «И наш гроссбух» (удивительно получилось!); 26. «Ярость и тайна» (чтобы не дразнить быка Р.Ш., назову *Et mystère*); 27. «Еще одна вариация» (ею завершаю по верному совету Мишо). «Одиночество» с блошкой Марьянушкой, хотя и неплохо вышло, но как-то выпадет из этого состава. Пожалуй, выброшу. Если считать каждый фрагмент из «Прочь от холма» в отдельности, получается 28, а если вместе — 27. Как раз. Но еще немало работы предстоит, а издатель отсутствует, и на письмо Жака не откликнулся. Надеюсь, не передумает. В целом получается недурно, так как достаточно разнообразия (увы, проза...) — и есть несколько действительно сильных переводов, которые держат целое.

Это будет (если не обманет издатель) — второй мой удар после «Холма». Издание важное во многих практических (не только денежном) отношениях. Если бы вместе с Морисом (или же с его откликом) — это бы усугубило «важность» тысячекратно. Жак ему об этом напишет, а я больше объяснять и уламывать во имя нашей близости не могу. Надо честно сказать, что написанное для радио звучало несколько абстрактно. Но Морис (при всей его любви ко мне и даже — через непонимание языка — к моей русской поэзии) не способен жульничать. Он отлично знает (и писал мне об этом), что пустые по-

хвалы и прославления, вне моей поэзии, будут меня только бесить. Лучше бы написал параллельный текст, даже совсем — боком! — меня не упоминая. Для понимающих: мы с ним где-то на полдороге встретимся. Я убежден.

Все это пишу в надежде на еще какую-нибудь оказию, а может, иной способ использую.

Итак, 2 удара. Если книга получится, как хотел издатель, сказочно красивой, то нероскошный (т. е. относительно недорогой) экземпляр смогу преподнести в нужных нам целях. Я об этом уже говорил. Но пока работа над книгой не начата. И надо с М.С. исправлять (5 опечаток) сотни экземпляров. На продажу, подарки и т. д. Многое уже разослал: о Шаре сказал тебе (Мишо подтолкнул, а Жак одобрил); Жоржу, Лизе Мн., немецкому переводчику Феликсу (он обещал откликнуться статьей), в Москву (10 штук пока). И подписчикам! Жак помогает — дорого! Не справлюсь! И лень подписывать. Шагалу впрочем (а напрасно!) подписал. Остальные пусть покупают: гоню!!

Третий удар — третья книга. Он же — и себе по мозгам, и в морду. Так что... А Майя торопит! Хочет издать еще роскошней (мания). Впрочем, «Холм», разумеется, нероскошный; просто очень хорошо, с отличным вкусом сделан. Так здесь русские книги не печатают. Я помогал и во многом участвовал. Можно бы и художника найти для третьей книги — но кто? Миро ничего больше не пишет (не повезло мне крупно!) Единственное, что он делал отлично в последние годы — рисунки, подчас литографируемые; при его-то душевной щедрости, при его нежнейшей многолетней дружбе с Жаком Дюпенем, я, разумеется, мог бы и иллюстрировать его рисунками (литографиями!) «Повесть» — экземпляр перевода у него! Но потом начались болезни, частичный паралич, глаза и т. д. Я даже не решился красивую литографию попросить — что уж говорить о картине... И побоялся — треклятый паспорт! — съездить к нему в Испанию вместе с Жаком, который видел его без кон-

ца. Теперь бы не побоялся — но поздно... Жакова (т. е. Магг) компания мне не по душе. Т. е. в этой компании были Джакометти, и Миро, и Шагал (до сих пор, но скверный), и частично Боннар (в начале), и моментами — Эрнст, де Сталь (Жак много лет дружен с их семьей), Брак, Леже (и лучший остался), Мишо — но нынешние главные художники... Нет, не влечет. Алешинский мастеровитый, коммерческий, плоский; другие — ??? Многих знаю, но общений нет. Жак был буквально потрясен: он рассчитывал, что его друзья-художники (всем он в разное время помогал) первыми откликнутся на мою подписку. Шиш! Кажется, пять имен всего (Шагал — с другой стороны).

...А вот первый отклик Синявского: ему нравится. Он только что прочел.

Попытки, делаемые для тебя, чтобы вас вытащить, сопряжены, как ты можешь догадываться, с тьмой унижений. Нет, на эмиграцию тут больше никто внимания не обращает. Замкнутый и всем приевшийся мирок. Ты сама понимаешь, что неловко лезть со своим, пусть даже весьма трагическим, когда существуют Слепаки, Ида Нудель\* (мне Морис недавно о ней писал) и т. д. Идея Габи (Меретик) — встреча Ф.М. (Миттерана. — *И.Е.*) с несколькими (пять, шесть) восточно-европейскими «деятелями литературы и искусства». Не глупо. И туда я мог бы попасть. Надеюсь, и Робер Антельм постарается, как обещал. С Жаком Амальриком только что говорил: он встретится послезавтра с советником Миттерана, мое «досье» подготовил. Он сделает все возможное; с ним у меня никаких «психологических» проблем нет. История с телефоном доказывает, что САМОЗВАНЦЫ, уязвляемые изнутри (Польша), при полной пассивности собственного населения, все более звереют, возвращаются к худшим образцам сталинской автаркии. Тут строят всяческие догадки... но я отношусь к этим домыслам сверхскептически: нет, ничего в Москве не происходит. Все гниет на

корню... Нет у меня ни малейшего желания снова видеть безглазые хари (неизбежно, если вернусь), но страны (физически!), языка и друзей не хватает! Получил от Кольки интресную книгу\*... знакомые имена: Мелетинский, Фильштинский\*, Котрелев... Спасибо Колюну: в день моего рождения надписал. Ему и многими другим пошлю «Холм» при первой возможности. Чем больше листаю эту книгу, тем удивительней становится, как Майя сумела отлично ее издать. Это здесь — необычайная редкость. Сейчас выбросил бы 5–6 текстов, но остальное прочно вписано.

Встретил на улице Отара (Иоселиани. — *И.Е.*). Ему со скрипом продлили на месяц. Он мог бы сделать тут фильм, но Советы обезумели: требуют у французов 350 000 долларов (это никогда не делается, да еще вслепую, сумма сверхчрезмерная). Французы предлагают Отару: «Подписывайте контракт, плюньте на них и начинайте работу». Но «плюнуть» он не может, т. к.... Очевидно.

Жоржу книгу послал сразу, дней 10 назад. Р.Ш., разумеется, не ответил. Бог с ним. Порой находит на меня ярость; не жалею, что подробно, с фактами, излил ее в недавнем письме Морису. Ему это тяжело, больно. Он не хочет больше о Р.Ш. говорить (хотя сам же спрашивал: почему?). Теперь кончено: «молчание... молчание...». Пишет мне Морис, что без конца начинает и бросает текст для моего двуязычного издания\*. Я больше об этом говорить не буду: напишет — отлично, нет — ничего не напишешь. Больше всего Морис страдает из-за тебя — и тревожится. Тебе напишет.

Иногда в течение дня не вижу ни единой души и не произношу ни одного слова. Разве что телефонный звонок...

От Жоржика очень милое и трезвое письмо. Ему до сих пор горько, что не он издал «Холм». Но ведь сколько лет — и здесь 1,5 года я упорствовал: хотел, чтобы книга появилась в «l'Age d'homme», да и деньги собрал... Увы, Димитриевич невозмо-

жен, и ему, как я понял, поэзия и вообще «эдакая» (а какая еще?) литература не нужна. В конце концов, мне это унижение до того осточертело и показалось столь беспросветным, что я передал книгу Майе, которая рвалась ее (как и третью) издать — и сделала это превосходно. Впервые Жорж пишет о книге конкретно и очень хочет ее переводить, особенно «Отправляю навечно». Я обрадовался этому письму (о многом — без экивоков), потому что при всех различиях и недоразумениях люблю Жоржа нежно и преданно. Порой мне кажется странной, нелепой и почти детской эта неистребимая верность любимому: ведь в глубине души и к Шару сохраняю прежнее щемящее чувство, а почерк его не только обожаю, но и угадываю в нем то же поэтическое дыхание, ту же уязвимость перед жизнью, тот же, быть может, жест, какие свойственны, пожалуй, и мне. Ты прекрасно знаешь мою непоследовательность в подобном... Слюни; нет, кончено!

Письмо Жоржа длинное и подробное, много о наших отношениях (пожалуй, верно) и столько же о «Холме». Он многое верно почувствовал, «Отправляю навечно» ему очень нравится, но, сказать откровенно, о поэзии он пишет все-таки с величайшей наивностью, используя трафареты тысячелетней давности («выражаешь», «передаешь» и т. д.), которые свидетельствуют о внеязыковом ее (поэзии) восприятии. Я отвечаю ему подробно и с любовью. Но кривить душою не могу...

Видел сегодня Аню Шевалье. Она собирается купить несколько экземпляров «Холма» и вручить их на Франкфуртской ярмарке своим приятелям-издателям (немцу, англичанину и, б. м., американцу), которые издают Мишо, Бланшо, Беккета и «всякое эдакое». Может быть, кто-нибудь и возьмется издать (еще надо перевести).

...Еще спал, когда позвонили Сувчинские — получили «Холм». П.П. долго говорил. Он убежден, что я величайший поэт. Очень приятно. Однако в 1000 раз приятнее то, что он

формулирует, говоря о триединстве слова, которое пронизывает мою поэзию: морфологического, ритмологического и смыслового — неразрывно. И т. д. Я знаю, что он чувствует себя скверно (потому и откладывается без конца наша встреча), но все же попросил его, если найдется «вдохновенная минута», все это изложить (по-французски, так ему легче) на бумаге: я бы хотел включить его текст в книгу и, б. м., вместе с текстом Мориса и кое-какими переводами напечатать в каком-нибудь журнале. Так и сказал ему: «Это будет радостью для меня». Чем весьма его растрогал... Но напишет ли он? Уверяет, что хочет, у меня же уверенности никакой...

Получена куча бумаг, относящихся к Бороному оформлению в интернат (foyer), оплате, возможному (если заболит) лечению и т. д. Это — великое дело. В какой-то (не малой) степени его будущее обеспечено, и он уравнивается в правах с французами. Если бы ты могла представить себе здешнюю бюрократию... Теперь отступления нет: Боря будет продолжать свое лечение, независимо от твоего (или моего) скепсиса. Но и в дальнейшем (дай бог не сглазить!) он не пропадет: о нем всегда будут заботиться, у него всегда будут корм и жилье, даже если он ничему не научится и если мы будем далеко или околеем. И это не «дом призрения» (как, помнишь, выражалась о советских приютах его тамошний врач Башина), а нечто вполне человеческое, открытое, симпатичное. Пока доверимся его клинике — центру... Все-таки мое упорство приносит кое-какие плоды.

Ириша, пока ты там, отравлена ядом злости и ненависти... Ты не можешь представить себе, что такое ностальгия. Да и дом у тебя есть, обжитый годами!

Одним словом, план таков: быть наготове (в том числе книги, архивы), сделать все возможное, а если результатов в обозримом будущем не окажется — подготовить здесь необходимый щит и вернуться, оставив Борю. Без вас я жить не могу и

не хочу. Все вышесказанное предполагает осторожность: во всяком случае ты не шевелись.

Продолжаю работу над переводами — а издателя все нет. Перевел (взвинтил!) «Нужную пищу»: Мишель помог доработать. Теперь получается настоящий сборник. Может быть, и не постыжусь. Мишель предложил устроить мне заработок: чтобы раз в неделю, с текстами в руках, я проводил в тесном кругу (он, Жак, еще 7–8 человек) беседы о литературе (русской, разумеется). Каждый раз будут собирать по 1000 франков, так что в месяц получится 4000. Я согласен. Впрочем, так больше продолжаться не может. Дичайшая неопределенность, казарменная жизнь. С ужасом думаю о легких. Что там происходит? В Антиб, наконец, позвонил. Даниэль Бургуа готова предоставить мне свою квартиру на десять дней в начале октября. Надо поехать... Но тут столько хлопот!!!

Сны на рассвете кошмарные... Грусть... Грусть-тоска... Упрямо вожусь с переводами. Позвонила расстроенная администраторша из Гренобля — оставшуюся (небольшую) сумму заплатит, но проценты — шиш! Зовет в Гренобль... Нет уж, дудки. Мне там делать нечего. Безобразная история. Ничего, все это позади. В пятницу (позвонил некто — см. выше) будет сделана еще одна попытка пробиться наверх. М. б., свяжусь с личным секретарем Ф.М. Если бы я мог быть уверенным в правоте (внутренней, глубочайшей) этой борьбы и окончательного тут устройства! Борьба — да, уверен. Но дальнейшее — нет, не уверен, отнюдь, хотя и не забыл ничего и представляю себе, что стало гораздо хуже (а для меня — особенно...).

Мишо гонит меня на юг отдохнуть и просит дать наконец — чтобы мог начать работу — окончательный текст сборника. Ему кажется: хорошо, достаточно.

Вчера по дороге к Мишелю Деги (дорабатываем...) зашел в книжный магазин «L'Age d'homme». Роскошный! И в рос-

кошном месте. Неплохо, стало быть, обстоят дела у серба. А на обратном пути и его самого рядом с магазином встретил; поговорили спокойно, но коротко. Он позвал меня в магазин, но я спешил, был голоден — да и о чем теперь говорить? Полтора года я его тут ловил... И тщетно...

Вчера позвонил я Моник. Она говорит, что Морис написал нечто для моего двуязычного издания. Если это настоящий Бланшо — изумительно! Он и Мишо, лучше быть не может. Жду от него письма. Пишу ему почти ежедневно, обо всем. Но издатель в Париже (вчера говорил с его женой) — и не звонит, договора нет. Что это значит? Начинаю тревожиться...

Дюпон (не путай с моим любимым Дюпенем!) на днях уезжает в Израиль, куда назначен послом. Секретарша его передала мне просьбу позвонить послезавтра. Он очень славный, и мы с ним друзья. Могу и погостить в его резиденции. Но увы, сейчас там такое творится! Кошмарная история — и ужас, стыд! Не могу об этой резне писать. Клубок запутаннейший, и здесь кипят страсти (если бы они так же кипели по поводу Афганистана, Польши и всеми забытой России!). И явно возрождается антисемитизм. Без конца покушения. Евреи ожесточаются. Но замечательна и реакция еврейская (во всем мире и в Израиле тоже — вся пресса, президент!) на эту резню (христианская милиция — в отместку), которую израильская армия могла и должна была предотвратить.

...Работа над переводами подходит к концу. С Жаком отлично поработали. Мишо готов — если получит окончательный текст — немедленно подготовить литографии. Морис (со слов Моник), наконец написал текст для книги. Великолепно! Но надо еще его прочитать... Одного имени Бланшо достаточно, чтобы привлечь внимание и за пределами Франции. (Как и Мишо, разумеется.) Аня на Франкфуртской ярмарке постарается «распропагандировать» (хотелось бы увидеть на английском и немецком). Только что позвонила Марьяна: Сувчинский

«бесконечно растроган» моим письмом и постарается что-то написать. Если бы НИХ отозвался (пусть под псевдонимом или инициалами) — ведь тут пустыня, «произрастания бесчеловечия». Я ему напишу, но ты, пожалуйста, передай мою просьбу... Авось!

Пишу тебе в письме (об оформлении «Холма») и повторю еще раз: нет, не классично-академично, а строго и с отличным вкусом. Единодушное мнение (в том числе сверхзнатоков): Мишо, Жак, Hugues, Кристин, Мишель и т. д.

Из Антиба я писал тебе по почте трижды. А также маме и Лене с Юрой. Поездка нелепая, нервическая. Измучил издатель — хочет ли он еще издавать? Контракт (договор) обещал еще 3 месяца назад, потом уехал на каникулы. Весь сентябрь я и Жак Дюпен тщетно его ловили. Позвонил он Мишо, и когда тот заговорил о контракте (и в 1000-й раз о моем положении), издатель ответил: «Я жду текстов». Отлично, получит он тексты, я уже отослал копии Мишо и Морису, от которого получил в день отъезда размышления (10 страниц) о поэзии, в том числе и обо мне. Параллели с Рембо и т. д. — не знаю, насколько он может чувствовать мое слово по переводам. Я тебе об этом (и о поэзии вообще) подробно писал в недавнем письме. Если хочешь, пришлю копию текста Мориса. В его ключе, т. е. к поэзии все же стороннее отношение. В этой нервотрепке провел тут первые дни. К тому же холодно, часто дождь идет. Только о вас и думаю: схожу с ума и никакого мало-мальски приемлемого будущего для себя не вижу. В августе кончается Сите-дезар. Если хочу остаться (хотя бы временно), надо немедленно искать жилье. Задача невозможная для человека, не имеющего работы или миллионного состояния. По поводу издателя звонил Жаку, тот — Мишо, который теперь переводами доволен... Тут живу в теплой и уютной квартире, готовлю обеды на кухне; в рестораны не имею права, т. к. дико продулся в Монте-Кар-

до. Состояние такое, что трын-трава, что-то саморазрушительное... Один, один. Хозяйка моя принимала меня вместе с матерью — эта квартира практически пустует (летом тут гостят многочисленные братья, племянники и т. д.). Множество книг... я и забыл уже, что такое нормальная постель, тишина, копание в книгах... Одичал и озверел.

Русских не вижу. Не считать же русскими Татищевых... Которых, впрочем, тоже не видел с июня. Степан без конца разъезжает, приглашаемый какими-то монастырями и т. д. Одна и та же тема. Но здешнее население эта тема не волнует. Страна чудовищно богатая (в Antibes, этом курортном городишке, пожалуй, больше продуктов и разных товаров, чем во всем Сов. Союзе — чтоб он сдох!), люди живут мелкой повседневной жизнью (как всякие люди), а газеты и телевидение (все смотрят) отводят — в зарубежных отделах — львиную долю времени и места сиюминутному (Ливан... благо, евреи разрешают журналистам снимать все, что угодно, в самом же Израиле полемика и демонстрации), Польша почти забыта, проклятая Россия почти не существует (как Юпитер какой-нибудь), о событиях в Афганистане скудные сообщения на 10 строк. Никакого критерия, мир мысли жалок и ничтожен, провинциализм парижский — до тошноты!

Это — грубыми мазками; я мог бы высказаться и основательней — но где? Для кого? Я уже обжегся, высказываясь начистоту. Морис — по слухам (впрочем, какие слухи? Он только с Моник по телефону говорит) — воображает меня таким нетерпимым и бешеным: второй Рембо. Моник я совершенно не вижу — больше года. Иногда ей звоню, она ахает, сочувствует, рассказывает что-нибудь о Морисе (одно, впрочем неизменно: «страшная усталость») и обещает позвонить, увидиться. Как же... Нет, пожалуй, я не стану больше звонить. Термин твой любимый — «унижение» — не подходит. Нет, не то... А в каких условиях я живу! И Степа говорит: «Нет, так больше нельзя».

В день отъезда, после очередной бессонницы, у меня возникла безумная идея: оставить Борю, предупредить тут массу народа и вместе с Жаком на неделю съездить в Москву. Позвонил Кристи́н — она перепугалась (к Жаку — чисто материнское отношение; не мое дело; но можно ли жить, ничем не рискуя?). Написал я из Антиба письмо с извинениями: как я их люблю и т. д.

Писал уже тебе в письме: в поезде рядом со мной были престелные мальчик и девочка 4–6 лет. Я глядел на них, слушал — и слезы душили. Без Андруши, без тебя погибаю.

...Надо идти к легочному профессору — страшно (и нет времени). Надо еще рассылать книжку, искать оказию в Москву и т. д. Мишель просит послать экземпляр своему приятелю Витезу\*, чтобы он устроил мой вечер в Chaillot\*. По мне так куда приятнее (было — до глухоты) читать одному НИХу.

Все это писал злой, остервенелый, в страхе перед возвращением в Париж и в смятении после очередной сокрушительной поездки в Монако (не жалею: «Бог дал — Бог взял»; фатализм чудовищный и меня самого ужасает). Но написанное — правда; ни одного слова не изменю. Мне бы надо прожить тут недели три, м. б., отошел бы. Нельзя!

Вот что пишет обо мне в своих заметках о поэзии Морис: «То жесткое, неподатливое, лучше сказать — опустошительное, что есть (для нас) в стихах Вадима Козового, напоминает этот призыв к необузданности, ритмический слом, понукание, не признающее остановок, а порою сшибку образов, как бы сталкивающихся в одном слове. Но так же, как сухость Рембо, его разящее неистовство, далекий от всякого чародейства шок сохраняют внутреннюю ритмику, продуманную вибрацию, которые равно далеки и от певучести, и от подстрекательства, указывая на порыв к чему-то (неведомому?), так в стихах Вадима Козового нам предстоит почувствовать их особую суровость и раскованность, особый истребительный пыл и еще более истребительную нежность, бешеную, неукротимую и все-таки укро-

ценную тягу, даже, может быть, не терпящий никаких возражений бунт против всяческой нетерпимости, иначе говоря, против любого гнета, воспрещающего уход вечному эмигранту-поэту, чья единственная задача — исчезнуть. “Я не смыкал глаз, доискиваясь, почему он так хотел скрыться... Может быть, однажды он чудесно придет назад...” Чудесно? Или все-таки жалко? Неважно. “Жалкое чудо”, — навсегда предупредил нас Мишо<sup>1</sup>.

А начинается он эти заметки с «Поэзия — кратчайший путь...» и т. д., противопоставляемое формулам Малларме и Валери. Потом все время возвращается к этому «обезглавленному времени», ссылается ли на Малларме (больше всего), Рембо (часто), Арто, Валери, Шара или др. Лучшее — о соотношении страха, ужаса (*le terreur*) пифического и «выговариваемого», т. е. об «инакости» языка внутри языка (поэзия).

Спасибо ему! Знаю, какова его усталость, и понимаю, каких усилий стоило ему при незнании русского высказаться всерьез, без скидок и комплиментов, довести начатое до конца: только бы мне помочь!

Кое с чем согласиться решительно не могу, иное навело на параллельные размышления — начал «заметки в ответ»... Но удастся ли продолжить в Париже? И по-французски — тяжело! чуждо! А сказать есть что: по высшему счету. Если бы выдержать ноту, сжать предельно, «тверже алмаза», б. м., было бы небесцельно опубликовать рядом «взаиморазмышления». Нет, в Париже, пожалуй, сосредоточиться не удастся: вообще я подошел к какому-то порогу — дальше так жить невозможно. Я еще думал, что смогу Борю оставить, вернуться и воевать за совместный выезд. Но теперь и в этом отказано: если возвращаться, то только с Борей (см. выше). Поговорю еще с Рауш, но надежд нет. Без книг, без нормальной кровати, без тихого угла, без минимального уюта больше не могу. Ты, Ириша, с са-

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Дубина.

мого начала (еще перед моим отъездом и весь следующий год) упрямо не хотела понимать чудовищной сложности положения. Понимаю, что нелегко жить с этим пониманием. Но ведь у нас жизнь общая! И при чем тут «эгоизм», которым ты меня многие годы попрекала? Середины нет: жизнь и судьба общие или... А что «крупно тебе не повезло», я отлично сознаю и вину свою чувствую. Только ведь не по злой воле... Пойми!

Влип! Не знаю, как ты переживаешь разлуку с Борей, но без Андрюши у меня постоянное физическое страдание: как будто по сердцу режут, и все тело дрыгается.

Вот уже неделя как я в Париже... Срочно заканчиваю. Получила ли ты 10 экз. «Холма»? Пошлю еще. Мелетинским и всем друзьям. Лена—Юра, ты, Ник. Ив., Лева, Валя—Сереза, две бабушки, Эмма Дмитриевна\*, Лидочка\*... Лена Суриц (Богатырева), Франек.

От жены маминого двоюродного брата (шериф! но все семейство музыкальное) получил письмо.

Габи послал Франеку приглашение, которое не дошло. Возможно, позвоню с телевидения.

*Scève* — Морис Сцев (1501—1560), французский поэт, автор эпико-космической поэмы «Микрокосмос».

*Слепаки, Ида Нудель* — Мария и Владимир Слепаки, Ида Яковлевна Нудель много лет (с 1972 года) боролись за выезд в Израиль. Неоднократно арестовывались, приговаривались к разным срокам заключения и ссылке. В 1987 году выехали в Израиль.

*...получил от Кольки интересную книгу...* — Речь идет о книге «Восток—Запад — исследование, переводы, публикации», вышедшей в издательстве «Наука» в 1982 году, которую прислал друг Вадима Николай Всеволодович Котрелев, — ученый-филолог, литературовед, переводчик, специалист по русскому символизму. Крестный отец Андрея Козового.

*Фильштинский Исаак Моисеевич* (р. 1918) — ученый-арабист, бывший политзаключенный, автор воспоминаний «Мы шагаем под конвоем». Он и его жена А.С. Рапопорт (Ася) — близкие друзья семьи Козовых.

...*текст для моего двуязычного издания.* — Морис Бланшо написал послесловие к двуязычной книге Вадима Козового «Hors de la colline» («Прочь от холма») «Восходящее слово, или Достойны ли мы сегодня поэзии?», которое он обозначил как «разрозненные заметки». Книга вышла в издательстве «Nerthann» в 1984 году.

*Витез Антуан* (1930–1990) — французский театральный актер и режиссер, руководитель театра «Шайо».

...*мой вечер в Chaillot.* — Вечер поэзии Вадима Козового состоялся в театре «Шайо» 23 января 1984 года.

*Эмма Дмитриевна, Лидочка Шитовы* — близкие друзья семьи Козовых.

## 1982 ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ

Ириша родная,

Майя просит: для продажи книги важно иметь тут письмо, твое, чье угодно, где будет сказано, что книгу в Москве читают и что просят экземпляры, это для частного употребления, так что никаких опасений.

Почтовые письма не лгут, но в кое-каких интонациях и акцентах продикиваны оглядкой на призраков: одно усугубляю, другое умалчиваю. И кроме всего, делай всегда скидку на мою хроническую бессонницу. Она меня часто лишает всякого контакта с миром.

Жду от тебя свежих вестей из Москвы. Поехал Брюно Барон, славный многодетный малый, которого некогда я встречал в Москве у Жерара и Тони. Он работает в Торговой палате

и (идеалист!) ведает «международными сношениями» в партии левых радикалов, которая никого не представляет, но представлена в правительстве. Все, что он мог для вас сделать, — сделал. Но всерьез могу надеяться только на Жака Амальрика, который представил наше досье главному советнику Миттерана по международным делам. Досье это — с объяснениями (Жак с этим советником в приятельских отношениях) — Миттерану вручено. Будем ждать.

...Коротко говоря, по сегодняшнему телефонному разговору с Мишо у меня сложилось впечатление, что он готов на все, лишь бы мне помочь; да и настроился работать. Сокрушается только: ему казалось (и мне тоже), что «наш» издатель сделал бы первоклассную книгу. Но Магт, б. м., сделает не хуже. И тут уж никаких обманов и «унижений»; на Жака я могу положиться больше, чем на себя самого. Все это предприятие практически только ему и обязано (плюс мои дружбы). И Кристин напоемает без конца. Вот уж с кем нет у меня никаких психологических проблем (письмо из Антиба — глупость): отношения братские. Но Кристин страдает (вчера — пока Жак не пришел — делилась): Жак ПЬЕТ (а она «не пьет, не курит») — помоему, прячется в рюмку. Впрочем, для тебя это — призраки; зачем рассказываю?

Сегодня потащил меня Жак на чтение Френо\* в театре Chaillot (Витез — который тоже читал): в крохотной аудитории, но народу масса. Жалкое, в сущности, зрелище. Frenaud — славный малый (возраст Шара), но поэзия его (хотя отлично читает) — болтовня. Давно замечаю: существуют поэты, у которых пишет или рука, или нога, или часть мозга, или еще какая-либо часть, но не ЦЕЛОЕ, не тело в высшем своем напряжении, которое — голос. Таких — раз, два и обчелся, на протяжении веков. Мегаломан? Нет, у меня тоже нет подобного: на пальцах одной руки, может быть, чуть больше. Остальное — словоблудие. Но об этом следует молчать, ибо вра-

гов не оберешься. Был там и Клансье, которого давно не видел. Несколько очень красивых девиц... Френо мою надписанную книгу передал Витезу (который не без труда говорит по-русски); хочет (Мишель Деги тоже), чтобы тот устроил мое чтение — как Айги 2 месяца назад, но зачем мне? Еще предлагают в другом месте (плюс текст Мориса). Говорят, нужно. Не знаю. Никакого желания окончательно устраиваться в этом мире у меня нет. Боря? Что ж, буду тянуть лямку, но сколько еще в этих условиях выдержу?.. Будучи отрезан от мира — если и не раздроблен вконец — находишь путь к миру, без скидок и жалких компромиссов. Здесь — куда труднее, да и стихия языка... Но знаю: наш славный прижим не дает возможности отдышаться, а надо же иметь ХОТЬ КАКУЮ-ТО отдушину. И потом: я окончательно превратился в монстра (Кристин говорит: «Вы — чудовища», но Жака понимает и все делает, чтобы он мог писать); мои точки отсчета вряд ли совпадают с твоими. И это не все. Поэзия — НЕ главное (хотя жить без нее — пытка и омут), как не была она «главным» для Лермонтова или Рембо. Первый — ледяной, второй — горячий. Дуэль и inferнальные проделки для М.Ю. важнее и существеннее поэзии; как скитальчество и Абиссиния для Рембо, который просто-напросто забыл свое поэтическое «мимо-летное». И вот ИМЕННО поэтому они поэты МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ! Шар — пример от противного.

Третью книгу решил издать. Но это зависит от поэтического порыва: надо дополнить, уравновесить, кое-что пишу.

Все это писал ночью: спать совсем не мог. Вчера после чтения Френо просидел два часа за пивом с Жаком и двумя художниками из галереи Магта: перевозбуждение, взвинченность... Заснул в 7 утра, а в 10 позвонил Юра Глазов\* (узнал телефон у Майи С.): почти весь разговор об Асе\*, Исе\*, московских ссорах и т. д. Клялся в любви — может, и впрямь не так все просто... Я сказал: «Напиши им. И дело с концом». Рвался меня

увидеть. Куда спрятаться? Не могу... Только снова заснул — звонок: Пьер Паше\* (приятель Деги), который был в России, возглавляет (или участвует в...) комитет в поддержку Алика Мурженко\* и Юры Федорова\*, написал книгу о них, своей поездке, встречах и т. д. Просит передать Бэле (Коваль. — И.Е.) в Москву, что его книга выходит через две недели. М. б. устроит еще одну пресс-конференцию (на одной я был). Почта приносит приятный сюрприз: деньги за мой переведенный текст в альманахе «Akzente»; немного, но приятно. Аня во Франкфурте усиленно пропагандировала «Холм», который вручила немцам, американцам, англичанам, итальянцам. Пока (но мало времени прошло) откликов нет.

Кажется, уже написал тебе кратко о письме от американских родственников. Расскажи маме...

...Забежать хотел в книжный магазин — 10 минут ходьбы, никак не выберусь! Но успел только к закрытию. Видел все же знакомого продавца Юру. Хочу набрать книг, в т. ч. Хлебникова. По этому поводу... скажи (не сообщая источник) НИХу, что некто — можно догадаться — видимо, издаст тут сборник стихов Велимира. Уверен, что НИХ так и не подготовил ничего. Если бы у меня был том прозы, который только он может сделать как следует... а не сделает — преступник, так как окончательно загубят Хлебникова.

Мою книжку почти не покупают — чего и следовало ожидать. Тут читателя нет. Кое-что все-таки продано. Я, как ты понимаешь, ничего не предпринимаю... А Майя никак не соберется устроить рекламу.

Тот же Юра сообщил, что Леня Чертков (секрет! — ?) отлично устроился в Германии, куда недавно переехал. Рад за него.

А еще надо взять в магазине очередной сборник «Памяти»\*, где и о моей истории, обо мне тоже. Представь мое безразличие: уже много месяцев об этом знаю (и с Наташей Горбаневской однажды говорил), но не удосужился посмотреть и про-

честь. Собрался наконец позвонить М. Геллеру\*, который вместе с Некричем\* написал увесистый том «L'utopie au pouvoir» (история СССР — «Утопия у власти»), где впервые отведено важное место нашей истории 1957 года\* как крупной вехе (!) в «развитии» советского режима. Масса неточностей и просто мифологизирования (называют нашу группу «Союз русских патриотов» — ??? — и т. д.). Тоже вышла несколько месяцев назад. Пока я собирался уточнить (сделал это в Москве — просили, не дошло, видимо), уже подготовлено и напечатано русское издание. Попросят (Наташа тоже) написать ответ; разумеется, не буду, и даже не из-за тебя: комбатантство не мой жанр. Но уточнить — уточню, т. к. готовится перевод в Америке, да и русское издание (и французское: оно хорошо расходится) может быть дополнено и переиздано.

Борьке хочу составить библиотечку; пока и франко-русский словарь у него маленький, никудышный. Но вижу: заглядывает, роется. Пусть попробует прочитать Дюма. И русское надо собрать. Я по-русски почти не разговариваю; замечаю, что «с умным человеком» мысленно беседую иногда по-французски... и чертыхаюсь тоже. Что будет с Андрюшей (язык!), если приедете?.. Холодно при одной мысли, но надежды на приезд почти нет, так что неактуально. Скорее всего — см. выше; но когда об этом кое-кому говорю, ужасаются. Самое ужасное, что никаких надежд на подмороженную империю питать нельзя (да и никогда — кроме юности — у меня их не было). Подохнет один или другой, это ничего не изменит, т. к. система закостенела предельно, утратила всякий личный элемент и «живет» одновременно своим фатальным (в т. ч. милитаристским) разбуханием и грубейшим инстинктом самосохранения. Экономический кризис? Да, но он может тянуться годами и десятилетиями, а Запад и сегодня, и завтра поможет. Изнутри надеяться не на что, а извне? Мир един, и ВАРВАРОВ больше нет. Только ВАРВАРСКОЕ (не в обиду действительным варварам)

оружие, которое всех нас унесет — уносит! не видим и знать не хотим — в тартарары.

Запад, особенно в крупных метрополиях, варваризирован после Второй мировой войны и деколонизации. Достаточно заглянуть в парижское метро, не говоря уже о некоторых парижских районах. Но это смешение рас, племен и культур никакой СВЕЖЕСТИ не приносит, т. к., в сущности, ничто не может больше прийти ИЗВНЕ — нет этого «вне»: весь мир варится в одном и том же котле. Кто подкладывает поленья, можно догадаться. Но это уже область тео- (или скорее демоно-) логии.

...Бог с ним, с читателем, разумеется. Однако, черт возьми, заглянул в «Державинскую вариацию» — ведь не напишу так больше никогда! Ведь это же какое музыкальное построение! Что вам еще, собаки, нужно? Не слышите своего родного языка, глухие бельмезы! И не горечь, а злость. Пошли вы все... Наизусть, мерзавцы, должны заучить — и вслушиваться без конца. И как объяснить Морису или даже сверхчуткому поэтически Мишо, что это такое по-русски? Французское нерасщепляемое слово — не кирпич даже, а просто бессмысленная пень-колода. Только в грамматически построенной фразе приобретает смысл, но отдельно уже не слышится. Тут гений — синтаксис.

Жаль, что Сувчинский — обещал! — ничего не написал. Ему, впрочем, всегда было трудно письменно выразиться (Мишо знает), а теперь и подавно. А устно, по телефону — вздох и с суперлативами.

Да, «Отсрочка» — блин комом, но штук десять текстов останутся. Вторая, «Холм», имеет видимость цельности, но и тут не более десяти остающихся. Однако между ними и прочим нет такой постыдной пропасти, как в «Отсрочке» (за редкими исключениями). Для третьей ищу название, но острота взгляда пропала, тексты приелись, хочу писать совсем иное и совсем

иначе. Единственная возможность от нее избавиться (гниет!) — напечатать. И в Москве, и тут, и у черта на рогах, с некоторыми нюансами, одна и та же отрезанность и равновеликое, даже по отношению к самому себе, одиночество. Хорошо Гене Айги\*, уверенному в своей культурно-поэтической миссии! А мне плохо, скверно без дела и тошно, отвратительно высидывать, как курица, поэтическое яйцо. Есть занятия поважнее.

Но вот книжку с Мишо очень хочу сделать — и не только ради денег (или «престижа»): ведь это целое приключение и новое прочтение текстов! Интересен и сам процесс. Он меня уже спрашивал, что я больше всего у него люблю... Но будет ли спрашивать по ходу работы? Сделает ли литографии (и я особенно ценю его гуаши — загляни в каталог: вот бы написал!) залпом? Оба мы хотим, чтобы живопись была своего рода зрительной вариацией, а не иллюстрацией текста. Ах, если бы мог я перевести главное: эту «Державинскую вариацию», «Песню», «Не твоей, волна, молотилке», «Отправляю навечно», пьесы (да! да! особенно «Облака»), «Наваждения», «Рассказ об этом», «Историю одного сердца» (не целиком), м.б. «Поэму», сплошной поток (за несколькими исключениями) цикла «Прочь от холма», «Ты, соловушка», «Требуется дозарезу» — и «Чиволек увидал гвазду...» (ради Андрюльки, но он и так уже присутствует) — и «Птичье солнце»... не только главное, но чтобы был напор МАССЫ. Туда же и «Голубя Яшку» (я сказал Жаку: «Это про тебя»), и Ассирия Вавилоновича, и Фелицию Фуксовну, и любимого НИХом Васю, и Курочку, и Кормышкина (помнишь, как рыдал?), и закоренелого Гусятникова, и тобой любимый «Дуэт». Эх, пора все это издать. Кажется, и впрямь неплохо, когда просветленным взглядом перечитываю. ПОЧЕМУ ИМЕНА, ОТЧЕСТВА, КЛИЧКИ: ИМЕНА В КУБЕ? Загадка. Хочу понять, тогда и название появится. А самоцензура... Ну, в «Блудном сыне» можно придумать, и так ясно будет — по контрасту — еще нелепее. Но МОЯ НОЧЬ... «с каббалистичес-

ким приветом Н. Фенин»? Глупо, все гибнет. А это стихотворение люблю (спроси НИХа — он совсем обалдел, слушая). А в следующем (начало, т. е. 1 — прекрасно: «пускай мальчик порадуетя, глядя как завидушие...») — что же, убрать Катынь, следователя Чуткина, краснознаменную разноголосицу? А куда деть Феникса Эдмундовича (представляю себе их — не только психологическую — реакцию)? Ведь и начинается с Влад. Ильича, который кивает «рыжеватой злокозненной бородежкой, как маятник времени над туманом людей». Что уж говорить о Древе Люция?

Как ты считаешь, Ириша? Издавать? Мне эта заноза совершенно испортила существование в последний год. Страшно издать, но... сразу на душе станет легче... легко. Как будто ребенок 12 или 15 месяцев в брюхе болтается.

Если с выходом двуязычной книги будет задержка, я, пожалуй, переведу 5–6 текстов («Котел» почти готов); тогда и Марьянушке найдется место.

Может быть (с некоторыми дополнениями — есть), издам, а потом подождем: как обернутся события. Кончается поэтической прозой («Перемена мест»), которую ты, кажется, не знаешь: «Посрамленное солнце рыло себе яму...»

Ну, до каких пор чувствовать себя — в самом дорогом (хоть и приелось), над которым столько хохотал и столько слез пролил, до каких пор ощущать себя хитроумным рабом? И ведь эта книжица, столь непохожая на прежние (хотя... а «Наваждения»? а другое подобное?), обладает цельностью на зависть прочим.

Скажи, что ты думаешь? Ответственность несу я, но мне хотелось бы твое мнение услышать: очень!.. Ах, кисанька, как без тебя тяжело в повседневном... И еще одно скажи, все взвесь, но твердо: хотела бы ты окончательно сюда переехать и стать со временем французской гражданкой? Знаю, что состояния меняются... но что перевешивает? Для меня это очень важно знать.

Брак ведь не только пылкий (порой чересчур), но и на редкость солидарный (за редкими прорухами). Не в тряпках и не в еде дело: ты к ним привыкнешь через месяц, а о далеком нищенстве в ежедневной жизни забудешь (хотя для меня это невозможно: только и говорю об этом налево и направо — как забыть курочку Алену?). Остальные данные — насколько возможно на расстоянии — ты имеешь в изобилии, даже если многое реально вообразить трудно. Ответь, прошу тебя, белая Паля!

...Если ДА, то при (надеюсь) давлении французов я попрошу для тебя выезд на 5 лет (лечение Бори) с Андрюшей и вещами (в т. ч. книгами «для работы»), а для себя — м. б. — постоянный паспорт. Возможно, гаврики, убедившись в моей негибкости и имея кучу мед. документов (еще добавлю), могли бы на это пойти. А на французов буду нажимать и громких скандалов (если не придется) избегать. Делать выбор необходимо — или написанное выше, чреватое, зловещее и родное — навсегда. Это надо решить теперь.

Встретился все же с Юрой Глазовым и — что для меня сверхредкость — проговорил (но говорил-то почти все время он) часа 4. Ни внешне, ни внутренне почти совершенно не изменился. (И Марина — по фотографиям.) Ася, Ися — до сих пор больная тема. Ты им не говори, но думаю, что крупница истины есть и на стороне Юры. Я ведь не знал, как и что... Как бы то ни было, передай им от него привет (без объяснений), а также Володе Кормеру\* (они — я и не знал — приятельствовали), Мелетинским. И тебе, конечно. Он забросил Восток, написал книгу (?) о Достоевском — по-английски; живет, кажется, неплохо. Рвался мне помогать через своих высокопоставленных англосаксонских знакомых... но чем тут поможешь? Верующий, даже перекрестил меня на прощание — но без театра. Странно было вспоминать множество общих московских знакомых — и бывших московских. Встрече он был страшно рад, просто до трогательного. Остальную часть дня провел я наеди-

не с собой: все сжато в комок, душа больше и не стонет, и не скулит — нельзя! Но ведь положение отчаянное, без вас — пытка, не жизнь... да и уходит жизнь, годы уходят, Андрюша растет, я окаменел... проклинать большевиков не в состоянии: судьба!.. Но и смириться с их тлетворным и паскостным существованием невозможно, сердце, пока живо, отказывает. Юра советы давать «не решается», но думает, что, если вернусь, ждет меня скверная участь. Не знаю, не знаю...

Опять спрятался в кино: видал отличный детектив (и просто кино великолепное) Роберта Альтмана, по Чандлеру. И прогулка туда-сюда на 30—40 минут. Ничего, если вернусь, то здесь подготовлю мину: пусть не сомневаются. Без вас — Юра верно сказал — будто рассекли меня пополам. Жаль библиотеки, жаль квартиры на Спасской... но не жаль грязных, темных, промозглых и голодных московских улиц; тоскую по снегу, морозцу, но не хочу больше этой нескончаемой зимы с внезапным январским дождем; не хочу видеть этих всюду шныряющих черных машин с занавесками... Это так: единственную растреклятую и незаменимую родину отняли раз навсегда, испоганили, заплевали, замучили до смерти... но тут жизнь по-своему страшна. Страшна! Если бы с вами — может быть, и ожил бы, хоть немножко воспрял. Настроение: «Моя ночь»... ни от одного слова не откажусь... но и написать так и такое можно лишь в России. «Поднимается с утречком в повесточку глядя...», «Больше некуда выюшечка ой жмут сапоги...» Молодец, ай да молодец В.К.! Неужели не печатать? Истерзан я этим (и еще в Москве до отъезда терзался).

Все бьюсь башкой в Вавилонскую стену. Морис, уверенный (по стопам Джойса) в переводимости (разумеется, не прямой и не буквальной) всего на свете, остается в традиции романтизма, которая свое отжила, как и символическое понимание языка. У «Африканыча» не найдется никаких прямых родственников не только во французском, но и в гораздо более флектив-

ных языках. В конце концов, не во флексиях дело. Я уже писал Морису (но не уверен, что он меня действительно понял): идея «слова как такового» могла возникнуть и найти реальную почву только в России. И уж только осознав эту стену, это «настороженное тело непознаваемого», можно (и нужно!) искать всепоэтическое.

Ты настаиваешь, Ириша, чтобы я не писал Шару. Совершенно с тобой согласен, сделал (под чужим влиянием) глупость, но повторять ее не буду, тем более что перегорело и не осталось у меня к нему ничего, кроме презрения.

...Ты прекрасно понимаешь, что Анна и Степан — не мои читатели, что обо многом (первостепенном для меня — и тебя) я с ними не говорю, что бывали и недоразумения, что их налаженная жизнь (в доме — курятник! — правда, Алеша сейчас служит в армии) трудная, трудовая и расписанная на десятилетия, мне далека, но при этом есть и сочувствие, и понимание, и болтовня (хотя видимся все реже) о том, о сем, и забота о Боре, и живой интерес к нашим перипетиям... Степан не забудет Борю побрить, когда он у них; Анна подшила ему джинсы и т. д. и т. п. Я уже не говорю о том, что было в первые 2—3—4 месяца нашего тут пребывания. Анна ездила со мной и Борей к врачам, Степан составлял деловые бумаги... и ведь жили у них! И на лето они Борю берут с собой! Нет, дело не в «далекости» географической или психологической...

Кстати, Шару Морис послал свой текст, т. к. продолжает страдать из-за «ссоры». Но он Шара совсем не знает (видел однажды 25 лет назад), доверяет слепо его театрально-мегаломаническим спискам от Лао-дзы и Анаксимандра (?) до Гёльдерлина и Хайдеггера... хотя этот человек очень мало читал, никаких языков не знает, а поэтов чужеземных и вне сюрреализма открыл для себя лишь совсем недавно (и Тина говорила об этом). Разумеется, поэт не обязан быть эрудитом, однако в НАШ ВЕК требуется от него определенный запас живых и ос-

мысленных познаний. Так что весь этот театр: Гераклит (при чем тут???) — Гёльдерлин — Хайдеггер... а теперь и Цветаева, Мандельштам... Бог с ним. По-своему (поэтически) он был весьма проницателен, т. е. умен, однако, на мой взгляд, за последние 15—20 лет оглупел вконец. Сужу и по текстам, и по фактам, о которых нет места говорить. Пишу это спокойно, без злости и даже скажу, что изредка и в эти последние 15—20 лет написаны им вещи отличные. Но увы, не достигающие тех ГОРНИХ высот, на которые он притязает. (Да и вообще это — не гористый поэт, даже в самом лучшем, чистом и пронзительном, которое люблю по-прежнему.) Разумеется, Морису он не ответит или, отвечая, обо мне даже не упомянет. Абсолютно безразлично.

Жак просит, чтобы я надписал экземпляр «Холма» Понжу, с которым давно дружит. Я писал тебе полтора года назад о встрече с ним, но — несмотря на его желание помочь и т. п. — контакта не возобновил... не было желания. Книгу, б. м., пошлю. Не ходил больше и к Массону\* (моему соседу): зачем? Живопись его — скверная; были в 30-е г.г. великолепные рисунки (у нас есть: изд. «Neumann»; это изд-во Береса, который нас с Мишо и Жаком обманул... не звонит, сволочь: ни да, ни нет).

Был наконец сегодня у Мишо: советует немедленно написать издателю и дать ему неделю на размышления. Оба мы в ярости. Мишо хочет работать, и немедленно; переводами очень доволен; «Блошку Марьянушку» чуть-чуть переработал (перевод) и просит оставить. Видела бы ты, с каким остервенением он, вслед за мной, набросился на французский и железный гнет его синтаксиса! Удивительный человек... стареет тело, кости болят (да и я стenal: еле добрел к нему!..), но глаза живые, умнейшие, лицо светится; и солидарность поэтическая, человеческая не как демонстративная «натуга», а нечто естественное, само собой разумеющееся. Говорили мы и о черных машинах с занавесочками. Это он знает и чувства наши понимает

отлично. Ах, растреклятый издатель... какое (да!) унижение... позвонил ему (дурак!), отвечают: «Дома», спрашивают: «А кто звонит?»... потом: «Его нет». Стоит ли ему писать? Мне надо с Жаком советоваться и узнать, будет ли Магт издавать. Мишо согласен на «продажные» (в ином цвете и с подписью) экземпляры; может быть, и гуашь сделает. Но Жак с сегодняшнего дня пропадает на годичной ярмарке живописи (это — интереснейшее зрелище; когда-то тебе писал)... Ох, устал. Был у Ани, она сделала копии текста Мориса, которые пошлет (пока без разрешения печатать) в Англию, Италию и, б. м., в Америку.

Говорил с Сувчинским. Он написал обо мне! На днях позвонит (плохо себя чувствует), встретимся, и если что-то в его тексте мне не понравится, он готов исправить. Говорит: «Сравниваю вас с Тютчевым, моим самым любимым...», но написал по-французски, так ему легче. Переведу. По-русски — где печатать? М.С. просит (как и текст Мориса) в «Синтаксис». Но кто особенно читает «Синтаксис»? Покажу Мишо — посоветуюсь насчет французских изданий. Ведь это первый отклик русского читателя! Если бы НИХ отозвался... А то никому никакого дела...

Вести из Москвы скверные: обыски, аресты. Господи, сколько можно! И что ждет меня по возвращении? Будут мстить, уверен. Но и так — можно ли жить?

...Написал сволочи Бересу. Пришлось гнев свой сдержать, но все же выразился крепко. Пошлю — по совету Мишо и Ани — заказным. Даю ему неделю сроку на размышление, а потом... да, но что потом? Не уверен я, что Магт издаст, хотя пишу: «В таком случае мы передадим это издание тем, кто предлагает нам осуществить его немедленно». Это — чтобы уязвить самолюбие сноба. Репутацию (а он ею весьма дорожит) Мишо ему подмочит, да и я постараюсь... Эх, невезение! Как видишь, есть люди изумительные, но они редки на всеобщем фоне ничтожества и пакости: редки — не то слово.

Истерзанный, замученный, неприкаянный... и не забуду, как смеялся сегодня у Мишо, рассказывая ему что-то из своего прошлого... и особенно не забуду его улыбку, когда он стоял в дверях, провожая меня, и я махнул ему рукой, вошел в лифт. Как в кино вижу: все черно-белое, а улыбка — в цвете (см. «О Толстом»). Спасибо ему!

Опять ночь ужасная. С таблетками 5 часов сна. А утром... Звонит Берес. «Я был во Франкфурте, я был в Америке». Говорил я с ним вежливо, но жестко. Условия договора: для меня и Мишо.

Но все это я с ним подробно и ультимативно обсужу через пару дней — зовет к себе на ужин. Откровенно говоря, жалею, что не успел послать свое злющее письмо; я предпочел бы издание у Магта: более солидно и не дрожал бы все время, ожидая надувательства... Если издавать будет Магт, книгу подготовит (это его многолетнее дело) Жак, и для меня, сама понимаешь, это станет почти семейным предприятием. Ну, как получится, никаких больше занятий у меня нет, потому, должно быть, и пишу об одном и том же.

Общаться в здешнем кругу мне трудно, ставят вопросами в тупик, говорю ненужное, совершенно не умею скрытничать и хитрить, просто ужас какой-то: озадачиваю, шокирую, видимо, и «возмущаю»... сегодня — после долгого перерыва — снова казус. Уже давно прячусь, вижу одних и тех же... но сегодня пришлось у кого-то беседовать: что делать, если задают конкретные вопросы в лоб (о нашем московском, кое о ком конкретно)? О, язык мой... потом себя проклиная, краснею до корней волос. Будь мы тут все вместе, в домашней крепости — видел бы, как в последние годы в Москве, пять-шесть человек: довольно! Не хочу я никого судить и оценивать, достаточно того, что пишу (если...). Но видимо, не суждено мне в своей крепости замкнуться.

Маркес\* (его тут раскусили) схлопотал Нобелевскую премию. Почти одновременно (!) по просьбе Миттерана (передан-

ной его советником и давним дружкой Кастро) выпустили с Кубы поэта, проведшего 22 года в тюрьме. Маркес — любимый писатель Миттерана. Как видишь, заколдованный круг. Любимый писатель и официальное лицо во Франции... Ох!

Так тошно и стыдно после сегодняшнего разговора (но как быть? как выкручиваться?), что без поэзии только молитва остается. Как можно жить без молитвы?

Эти собеседники не замечают, разумеется, собственных жестких суждений и просто злословия. Но твоё «разнесут по Парижу» с негодованием (на сей раз, быть может, преувеличиваю). Сегодня, например, о гнусности Шара-человека и многих его текстов, в частности «Feuillets d'Нурнос» — «Листки Гипноса» (писал тебе и Морису говорил), сказано было собеседником, как об известной каждому очевидности. Вообще этого субъекта почти никто не любит; многие терпеть не могут, даже любя кое-какие его стихотворения. Но ведь в них и щедрость необычайная, в них выражались ведь и какие-то прекрасные повседневные черты. Жак видел в нём И ЭТО (за что и любил). Ещё кое-кто. Сувчинский. Но «время прошло, и время пришло. Любую былинку, не то что голубя, необходимо разглядывать порознь». Не перевести ли «Расставальное»? Но и там столько РЮССКОГО...

Ах, как боюсь переговоров с издателем — составил список главного, позвонил Мишо, ещё раз с ним обо всем договорился (без аванса мне он работать не начнет), чтобы мы выступили единым фронтом и говорили одним голосом. Деньги деньгами, а мне просто интересно, каким получится зрительное эхо.

...Господи, неужели тебя слышал? Даже не верится. Ждал на телевидении 1 час 45 мин., пока Габи готовил вечерний выпуск новостей (тут же вертелись лица, созерцаемые миллионами французов). А иначе ждал бы — и возможно, безрезультатно, — 6—7 часов. Т. е. в «обычном» месте. Разговор какой-то бессмыс-

ленный: толчая в ступе... Ты упоминаешь моих «почитателей». Да пусть бы писали! Я всем отвечу с радостью.

И еще не забудь. «Приятной поездки» не было у меня совершенно; не только в Боре дело и всем, что с ним связано. У меня обостренное чувство судьбы, и там, где ты видишь блажь или преходящее уныние, — там трезвое предчувствие будущего (перед отъездом).

Ты и разлуку ведь не ощущаешь каждым нервом, как я. Не в упрек: просто я тебя знаю. И конечно же, в повседневности ты в 1000 раз меня сильнее и стенать не будешь из гордости. А мне не до гордости! Выть хочется волком.

...Прекрасен Париж в солнечную осеннюю погоду. Пообедали, потом гуляли с Борькой. У букинистов на набережной купил ему по дешевке отличное — с гравюрами — издание «Трех мушкетеров». А говорю с ним о вас, без конца. Вместе бы нам прогуляться в этот изумительный день. Обедали напротив Нотр-Дам. Туристов тысячи.

Третья книга... В сущности, ничего больше добавлять не нужно. Уже добавил 3 или 4 текста, в Москве написанных или почти готовых, и столько же выбросил. Все это набрано. Но понимаю окончательно, что самоцензура невозможна... пытался, но главное гибнет — нельзя. Стало быть, надо решить: печатать или нет. Вот в чем монструозность... эта маленькая книжица весит на чаше весов столько же (по крайней мере), сколько все прочее взятое вместе. Если бы не она, вероятно, перспективу возвращения рассматривал бы ежесекундно. И ведь все это с Москвы. Уже перед отъездом: как гвоздь в горле... Нет, исправлять невозможно. Только одно: выкинуть «рене шара». Теперь это звучит фальшиво.

...Конечно, рисунки Мишо в моей книге не того уровня, что в «Saisir». Но учти: они в натуре гораздо крупнее форматом. Это многое меняет. Да и сделал он их для меня по точному заказу — молниеносно. Печатать их надо было на другой бумаге: они бы

выглядели более выпукло. Еще раз: напиши ему в ответ несколько слов. Снова с ним говорил — он купил какую-то особую бумагу для цветных литографий, «рвется в бой»... Невероятно! Скажи бы мне в Москве — ни за что не поверил бы. И безумно интересно, что выйдет. Если задуманное осуществится, один роскошный экземпляр постараюсь передать в Москву для тебя — и всеобщего обозрения. Но лучше ты приезжай, сама увидишь.

...Странно и страшно подумать, до чего жизнь зависит от пустяка; чет или нечет определяют будущее... как найти общий язык с теми, у кого оно расписано по дням и по полочкам? «Голый фитилек»...

Степан видел кудиновского Рембо\*; в приложениях моих переводов нет — видимо, считают в Москве, что я пропащий. А я в книжные магазины выбраться не успеваю, да и не вижу смысла посещать советский Глоб. К книгам — равнодушие; ведь не знаю, что станет с моей библиотекой. Совершенно не знаю, что там у вас выходит... Получаешь ли «Книжное обозрение»? Только сейчас вдруг вспомнил о его существовании. И о подписках — особенно Достоевский! Выкупаешь ли очередные тома в Лавке? И как там на тебя смотрят? Уж они (Олег и Кира) все знают! Нос держат по ветру... Что вообще говорят на мой счет? Это тоже важный показатель. Передала бы ты мне «свободное» письмо и рассказала о московских событиях. Нельзя отвыкать, как бы ни сложилось будущее. С этой действительностью я ведь тоже совершенно не связан... Когда я был в Антибе, Париж посетил изгнанник далай-лама (которого зазывают — тщетно — в Китай). Говорил он, кажется, малоинтересно (2 выступления), а сам, как духовная личность, кажется, чрезвычайно интересен (поразительная улыбка — и редкостное смирение). Мишо ходил, но не попал: слишком большая толпа, и плохо было организовано.

Я — Обломов поневоле, а потом уж и по привычке. А ведь Обломов — куда больший фаталист, чем герои лермонтовские...

...Мне нужно понять, должен ли я — если найдутся какие-то средства — искать квартиру? И понять это следует немедленно. Если к сентябрю ничего не найду, придется вернуться, как ни крути. Этим летом висел на волоске; отчасти помог Жюльен Грин, написав директорше очередной том дневника (но и она уже была благорасположена). Что он еще может? Ширавовская компания на его письма не реагировала. Кстати, социалисты, б. м., некомпетентны, небезопасны и т. д., но многие из них гораздо симпатичней Ширика, у которого ведь тоже политический кругозор узок чрезвычайно; о Жискаре и говорить не хочется; в последнее время стали замечать, что «слева» и «справа» есть достойные фигуры — Simone Weil, например, — не участвующие в пустой и бесстыжей политиканской перепалке; Marie-Fr. Garaud, кандидат на президентских выборах, бывшая советница Помпиду и Жискара, отличающаяся сверхъестественным антикоммунизмом, сделала заявление в пользу социалистов — и упрекает их лишь в наличии министров-коммунистов; знаменательно и единодушны, с каким отдаются посмертные почести Мендес-Франсу; но все это частности, французы не выберутся из своего манихейства, социалисты наделали делов, во всех своих экономических и других неудачах обвиняют «правых», те им платят такой же монетой, а масса населения как всегда (справедливо, нет ли) ворчит, каждый социальный слой тащит в свою сторону, никто ничего уступать не хочет, а положение в мире таково, что поступаться чем-то надо и т. д. и т. п. Маловато солидарности в этом народе. Но не нам, русским, судить, у которых эта самая солидарность никогда и не ночевала. Польское ЧУДО не скоро забудется, как бы ни старались. Надо еще разобраться и понять, КАК оно повлияло на советские руководящие круги, т. к. не могло не повлиять. Думаю, что 1980 год (Афганистан и Польша) — ПЕРЕЛОМНАЯ дата в истории коммунизма. Но ничего не готово на смену; оттого только и подмораживают.

...Измаялся с издателем. Описать все это невозможно. Встреча, торг, звонки Мишо, вчитывание в договор, бегом к Ане... которая сказала (права!), что договор — бандитский и что если я его подпишу, то стану рабом этого Береса на всю свою жизнь — за гроши! Письмо Морису. Опять беготня. Сегодня был на ярмарке живописи, куда добрался с трудом (забастовка транспорта) и где провел несколько часов с Жаком. Опять обсуждали эту треклятую договорную проблему. Аня предлагает составить договор и послать его Бересу заказным письмом: хотите — подписывайте, хотите — расстанемся. Целый час Аня в деталях объясняла сложившуюся ситуацию Мишо. Он на Береса страшно зол. Сам же Берес звонит, посылает курьеров и т. д. По телефону сказал Жаку: «Вадим — такой же (?) очаровательный мастер на лесть и невозможный человек». Слава Богу! Да, проявил я в переговорах твердость, но многого не понял — только благодаря Ане... Морис тоже хотел бы у Магта. Но Жак пока не может ответить... С ума можно сойти: конкретно описать невозможно. И несколько я преувеличил денежные перспективы. Однако Береса уже боюсь: так или иначе надует. Все издатели тут стремятся надуть, но есть кое-какие пределы... Будем следовать советам Ани. А Мишо хочет рисовать... На ярмарке видел три его акварели: две по 16 тысяч франков и одна — 25. Примерно столько же, чуть меньше, (10—12 тысяч) могла бы стоить и гуашь, которую он готов сделать (я просил) для особых 10 экз. Но все это не так просто. Покупателей немного. И посредники (книжные магазины, галереи) дерут втридорога: от трети до половины суммы.

Целый вечер дул с Жаком пиво. Я уже и не помню, с кем у меня была такая закадычная (вкупе с главным!) дружба. Расстаемся — обнимаемся.

На ярмарке крайне мало интересного. Есть несколько изумительных (хотя и не самых лучших) Кирико, особенно лоша-

ди 1924 года. Но сильнее всех совершенно божественный Victor Hugo. Несколько (8? 10?) рисунков, от которых с ума можно сойти (один подписан: à ma fille bien-aimée<sup>1</sup>). Из-за них, быть может, еще раз схожу. Будь у меня нужная сумма (думаю, не меньше 50 000, а то и гораздо больше), немедленно выложил бы. Ах, какая мощь, тайна, динамика, тигриная хватка! Современная живопись — ничего интересного. Жак прав: этот Гюго современнее всего, что его там окружает.

Возвращаюсь к двуязычной книге... Если и будет она издана, продажа займет год и более... Уеду — Жак будет ведать денежным хозяйством и нам отсюда помогать. А не уеду — авось, на год с лишним хватит. Но как жить без вас?

Познакомил меня Жак с автором книги о Бланшо: совершенно ПОМЕШАН на текстах Мориса... фанатически! А Морис, кажется, несколько задет: я ему сказал, что начал писать «параллельные» заметки о поэзии...

Господи, мне бы комнату с книгами и немножко покоя: в Антибе я вдруг заново убедился, что МНОГОЕ надо сказать.

Представляю себе, как напуган Ник. Ив. Балашов\* («престиж издательства»). Но остается нерешенным другое — гонорар. Не сдамся и не забуду, пусть не надеются. Отсюда вытребую в валюте. А ты, наивная, думала, что проблема чисто техническая. Я давно понял, в чем дело.

«Забыл», «отвык»... плохо ты меня знаешь. Просто-напросто при всей ненависти не могу ею жить и не видеть иного, вплоть до последней черты. Этот взгляд в корне меняет жизненную позицию. Уже говорил тебе, повторяю вокруг (не понимают) и готов твердить без конца: в поведении Б.Л.П., его слабостях и смиренном цеплянии — правда, а в крикливой, остервенелой и «железной» непреклонности — ложь. Поэтому чувствую подспудно, что при всей «правоте» (и фатальности)

---

<sup>1</sup> Моей любимой дочери (франц.).

угодил в ложное положение. Это — о себе; других не сужу, да и не могу. Каждому свое.

Майя Синявская только что звонила. Считает, что надо мне (если не возвращаться...) теперь же явиться в консульство и попросить, ссылаясь на длительность Бороного лечения, визу на постоянное (или на 5 лет, то же самое) жительство тут. Запросят Москву, пройдет 3—4 месяца, и если (что вероятно в сложившихся условиях) согласятся, то и тебя с Андрюшей не могут не выпустить. Ведь «ЖГУЧИЙ АКВАРИУМ» в газете\* — изящное мне послание: «Тебе здесь больше делать нечего».

Если... Обо многом надо подумать тщательно, ничего не упустить. О библиотеке поговори немедленно с кем знаешь. Я отсюда попытаюсь воздействовать. Многое (в том числе пластинки) можно раздарить. А мне — если... — надо немедленно искать квартиру и работу.. Сколько дорогого и бесценного у нас! Хлебниковские странички (!!!), рукопись Белого, Пастернаковское (решай! но мне кажется, что нужно сюда! в Москве погибнет или у негодаев окажется) — и книги, книги... Груды писем, фотографий, целая жизнь! И снова книги: поэзия, философия, вся русская классика, посвящения (даже Шара) и автографы... И Чекрыгин, и Мишо, и прочие рисунки, картинки... Ах кисанька моя бедная, как быть? Прочь от холма... Читаю со слезами Алины письма Б.Л.П. Господи, что за наваждение эта мучительница Россия! И некуда от нее деться... Алю жалко безумно. Снова думаю, что могла бы ты рассказать о себе, как только ты умеешь. Может быть, здесь это свершится? Думай об этом, родная, как будто это и есть главное и насущное. Ведь Б.Л.П. в твоей жизни — рядом с матерью, без нее — счастье. Даже несколько строк его — счастье и обещание того, что жизнь еще может, на дне колодца, обернуться чудом. Кому это здесь сказать? Понимаю, что московский круг тебе приелся и опостылел, что не чувствуешь ты больше родства в горе, как прежде, но без этого горя нет нам ни радос-

ти, ни правды, ни отрады и надежды, а его тут не знают и ощущать не способны, даже самые умные и отзывчивые. Мои письма не случайно полны противоречий: я впадаю в экзальтацию по поводу той или иной дружбы, той или иной личности, потому что видеть трезво роковую отчужденность просто-напросто выше моих сил, впору рехнуть. Нет места там, но нет места и здесь.

Борька (сегодня говорил с ним за обедом) до того тоскует по Москве, что у меня снова появляется мысль, не отправить ли его туда? Но когда ставлю ему вопрос твердо, отвечает, что чувства у него «сложные», и что, пожалуй, он останется «пока». Как внушить ему, бедняжке, что «пока», вероятно, станет всей жизнью? Говорю об этом — потом (он понимает!) умолкаю в терзаниях.

Морис, получивший льстивое письмо от Береса, спрашивает, как быть. Просит вдолбить Бересу в голову, что его текст написан для меня, что он принадлежит мне, что я вправе им распорядиться и получать за него деньги. Два с половиной часа сидел с Аней в издательстве, составляя контракт. Но думаю, все это тщетно.

Прихожу постепенно к полной уверенности: тебя с Андрюшей выпустят. Без конца думаю о книгах — даже Pléiade! Здесь это стоит чудовищных денег. Что уж говорить о футуристических изданиях и прочих редкостях... Но если бы и удалось вывезти, куда эти книги деть? Ни работы, ни квартиры... Нужен до зарезу миллион долларов.

Листаю чертковского Вагинова\*... есть отличные места, строчки, но... остыл, не трогает, уж очень это скудно. А Леня своим текстом ужаснул: просто безграмотен («наступЯ на горло собственной песне» и т. д.) и зануден.

Вот вдруг ночью и дохнуло ужасом: как свет кровавый в глаза, долго света не видевшие, в окно проломленное к затворнику — душа очнулась, увидела катастрофу! Ничто лучше не пе-

редаст этой боли как розановские жуткие строки под заглавием *La Divina Commedia* (см. Апокалипсис нашего времени). Ни шуб, ни домов... На 66-м году своем, невиданная, единственная «перманентная революция», лишаящая нас родного крова русской речи... Ах, толстошкурый... сколько читал и видел... а вот на себе испытать...

И уже знаю: ответ мой будет столь же беспощаден, как и этот удар. В меру моего многолетнего цепляния и брыкания. Только приезжайте!!! Не может слово во мне пропасть. «Трибуну» найду — и буду колошматить гадину, как ей и не снилось; прощенья нет. М. б., начну исподволь готовить... к вашему приезду. По-своему. Как умею. В этом и спасение. На пепелище.

...Думаю о друзьях, об их помощи. Как бы ни прав я был по существу в своих жалобах и стенаниях, а ведь, если отвлекусь (трудно порой!) от здешних нравов, ритма жизни и т. д., сделать необходимую скидку — ведь какой преданностью меня окружили. Степан (Боря и т. д., хотя никак нельзя у него дома побывать), Жак Дюпен и Кристин!! Аня Шевалье верная (и деловая-полезная! Мишо ее еще больше стал ценить), Эрик и Жюльен Грин, любимейший (живет моей жизнью) Морис, скромнейший, но и недоступный почти для всех Грак (наши обеды — приятельский ритуал), Тоня и Жерар, преданнейший и внимательнейший Мишель Деги, Сувчинские (за многое я должен их благодарить), Жерарчик Абенсур с Жаклин (несколько устранившийся из-за предстоящей диссертации — завтра будем после нее отмечать), да и другие, более или менее «фрагментарно», — Габи (Меретик), Жак Амальрик (и Дюпон — пока тут был — увидимся там! В Израиле!), проф. Рауш (опять помогла), множество иных... — не говоря уже о премудром, а временами презабавном Мишо (вот в каком общении я бесконечно нуждаюсь и оживаю). Никишка\* недавно звонил (по поводу «Лит. газеты», но не виделись). Моник (Антельм) пребывает в затяжном психологическом упад-

ке: она славная — жаль, что не видимся, все откладывается встречая.

Аня вручила мне великолепно отпечатанный текст договора, который я сегодня же отослал издателю в качестве контрпредложения — вместе с жестким и решительным письмом. Не хочет, черт с ним! Надоел.

От Мишеля Окутюрье очень сердечный отклик на мой «Холм» (уверяет, что начал понимать благодаря, в частности, настоящему книжному изданию; это — в пику «Отсрочке»), а у Галлимара взял только что вышедший сборник поэзии Б.Л.П. с предисловием Мишеля (он — один из переводчиков)... увы... переводы, за редчайшими исключениями, ученические, а подбор (якобы по ВЕРСТКЕ 57-го года — ??) малоубедительный. Толстый том. Конечно же, будут рецензии.

Я, возможно, переделаю свой текст и предложу Николь Занд в «Монд», с которой вчера говорил. Она сказала, в частности, что скоро у них появится статья о книжке НИХа. Кто? Не знаю. Жорж? Поди угадай, он тут не был. Мишель в своем предисловии ставит на одну доску Кручку и Хлебникова как поэтов зауми — ???

Сегодня видел и Мишеля Окутюрье, и множество других знакомых на защите диссертации Жерара Абенсура (пришел к апофеозу). Татишевых тоже.

Берес позвонил — почти жалок, но хочет изменить кое-какие детали. Увидим. В целом согласен. Ужинал в ресторане с Жаком, Кристин и Мишелем, обсудили ситуацию. Все поражены моей твердостью в деловых переговорах с этим скользким субъектом. Снова передают мне, что он считает меня «dur», «impossible»<sup>1</sup>. Тем лучше. «Самый лучший комплимент», по словам Кристин. Хочет издать Мориса и Мишо (Жак составляет для Мишо договор, а я с Мишо поговорю, надо встре-

---

<sup>1</sup> Жестким, невозможным (франц.).

тяться) — пусть примет нормальные условия. Не хочет — как хочет.

Попросил Жака выяснить у его приятеля (главный архитектор Парижа) возможности насчет жилища. Друзья, верные по гроб. Опять, увы, начинают разъезжать. Эх, мне бы с ними...

Даже не знаю, получишь ли ты когда-нибудь эту нескончаемую писанину.

По письму твоему (откровенному) понял, что ты по-прежнему видишь жизнь на Западе сквозь черные (естественно) советские очки: странная смесь выходит. Ириша, это мир по-своему зверский, закрытый («сгнием!»), ничтожный, черствый, пустой. Для живущего русским словом (и просто речью), да с нашей усталостью (я — развалина), да с нашим большим усатым дитятей (безнадежно) устраиваться заново в этих чужих краях — задача страшная...

Как я еще дышу, понять не могу. А ты мне о маниях... Быстро устану с Андрюшей? Не пойму я тебя... Разумеется, нуждаюсь в тишине, одиночестве, сосредоточенности — что ж тут удивительного? Но без вас влачу самое жалкое существование... ты и вообразить не способна.

Мориса твое письмо потрясло (вчера получил). Чувствует он твою глухую невысказанную жалобу — и страдает. Я ему НАЧЕРТАЛ русский адрес.

Вчера — три часа с Мишо: наслаждение чистейшее для ума и сердца. Умница! И как ко мне относится! Теперь я для него — «великий поэт», и он не хочет подавлять своими иллюстрациями мой текст (очень зло высказался — от противного — об изданиях Магта, в том числе и о Бонфуа). А я принес ему проект контракта (Жак составил), где значатся и 10 экз. с гуашью... Он, оказывается, уже обругал крепко Береса, когда тот заговорил об этом... После долгих раздумий: «Скажите, пожалуйста, Бересу, что я на это иду ради вас и вашей поэзии, а не ему в подарок». Завтра скажу. Аня составила целое досье из

этих контрактов и проч. Подготовлено (послал сегодня) и «юридическое» письмо для Мориса. Никаких уступок Бересу: знай наших!

Рассказал Мишо (и написал Морису) о старообрядцах\*, найденных на Алтае. Жаку Амальрику забыл сказать. Но буду с ним говорить в воскресенье, так как в субботу он должен брать интервью у Миттерана — и попросит его за нас (тебя) ходатайствовать.

Ах, Ириша, старообрядцами и я потрясен и рад, что ты наконец ощутила (да ты ее и не теряла) связь с «этой землей, ее историей и безумием». Тут такой интенсивности чувства не знают и понять не могут. Сердце мое разрывается...

И еще раз о дружбе и общении. Это — неслыханная редкость в здешних краях (особенно если есть — Мишо поймет! — минимальная требовательность). Перебрав мысленно всех здешних знакомых и даже близких друзей, могу признаться, что только с Мишо говорю всерьез, не таясь и не кривя душой. С Жаком — сердцу отрада, но ведь он и поэт, и *homme d'affaires*<sup>1</sup> (Магт — торговое предприятие, иначе не скажешь), хотя знаю, что от этой раздвоенности страдает. Кристин меня любит, во всех мелочах участвует сердечно...

Окаменел я, Ириша. Или ношусь как угорелый «по делам», или сижу как приклеенный на стуле. Никакой жизни. Увидела бы ты это ателье... А какой еще определенности ты ждешь? Визу либо продлят на 6 месяцев, либо не продлят по приказу из Москвы (останусь). Двухязычное издание с Мишо и Морисом очень важно: я должен довести его до конца (февраль? март? апрель?) А потом...

И еще одно: библиотека (тем более — архивы!) у нас с тобой общая. Конфисковать ее, я думаю, они не посмеют. Но надо тебе поговорить с друзьями о возможностях (?!!) переезда...

---

<sup>1</sup> Бизнесмен (франц.).

Жерар только что рассказал мне о приятеле Володьки Кормера («поэт», тут печатавшийся и выгнанный): во время одного из вызовов в КГБ его заставили объяснять каждую поэтическую строку\*. Можешь не сомневаться: «Отправляю навечно» внимательно прочитано. Со мной они не посмеют обращаться столь унижительно, однако арсенал у них, как ты знаешь, велик и широк. Так что задумайся: к чему ты меня призываешь? ЛЮБОВ сильнее смерти — м. б., и поддамся, и сдамся...

Текст Мориса — отличный... хотя и не добавляет ничего к многократно им сказанному в книгах (куда сильнее). Без конца оперирует моим «обезглавленным временем» («одним ее взмахом...»). Концовка — пускай и нет в ней ничего «особенного» — пронзительная по наготе: «...стихи Вадима Козового, написанные на языке, который нам неизвестен, и пришедшие теперь в наш, который не только наш, свидетельствуют, что — вопреки угнетателям, а они повсюду, и их угрозы не безымянны — «обезглавленное время» исподволь готовит другие времена, в которых и без нас будет жить надежда для всех потерявших ее, всех, кого мы любили, — единственная из уцелевших, которую не удастся опровергнуть никому из нас».

Не знаю, кому надписать книгу. Мелетинские, Колька Котрелев, Мих. Вл. Алпатов (он книгу давно знает)... еще? Сашке Грибанову скажи — подписал бы, но в их положении... зачем лишний груз? Акакию? Надо! Он покажет друзьям, в том числе Эмзару\*, который ЧУВСТВУЕТ. Мерабу? «Отсрочка» у него есть... он будет давать на прочтение — это важно. Лидии Васильевне, врачу моему, я обещал перед отъездом; она покажет в своем кругу. Обещал и Диме Краснопевцеву\*, и Боре Свешникову\* (познакомилась ли ты с ним?) Ася-Ися? Я бы Мишке Молоствову\* хотел надписать: он прочтет. И Мишке Красильникову\*, но как его найти? Подскажи!

Если бы «Лит. газета» поместила ответное (уверен, что получили) «запальчивое» письмо, это было бы минимальной гарантией, что не все еще потеряно. Разумеется, на это не надеюсь. По почте я послал тебе 3 или 4 отповеди на литгазетное хамство. В них каждое слово на точных весах. Учти!

Ах, родная, прости, что навлек на тебя столько бед и терзаний. «Ищи японочку!» — должен был я сказать себе в самом начале. А ты себе: «Ищи инженера!» Но оказывается, что инженер живет с японочкой, а мы с тобой разделены железным занавесом. «Арифметика тут ни при чем».

Всю ночь не спал — в преддверии встречи с издателем и — собирался тебе звонить с телевидения. Додремывал... когда вдруг звонит Степа и объявляет траурную новость. Итак: звонить тебе сегодня невозможно (только что говорил с Габи — связь с Москвой полупрервана). Зато позвонил Филипп Сюрмен\*. Его увидеть, наверное, не удастся, но передам ему необходимое. К великому сожалению, сегодня праздник (L'Armistice): все магазины закрыты, в том числе и «продуктовые» — ну и словечко!

Что изменится? Да ничего... по существу. Но в деталях кое-что изменится. Долго будет меняться — пока опять не окостенеет полностью. Возможно, и наше будущее отчасти от этого зависит. Так что... увидим. Кисанька, тебя помнят и не забудут!

Целую-ю-ю. В.

*Френо Андре (1907—1993)* — французский поэт, автор книг «Волшебные короли», «Рая нет».

*Глазов Юрий Яковлевич (1929—1998)* — филолог-востоковед, в эмиграции с 1972 года. Автор книги воспоминаний, эссе «Тесные врата».

*Ася, Ися* — А.С. Раппопорт, жена И.М. Фильштинского (см. коммент. к с. 144), и он сам.

*Паше Пьер* — французский писатель, родом из Вильнюса. Активно поддерживал правозащитное движение в СССР.

*Мурженко Алик, Федоров Юра* — вместе с Эдуардом Кузнецовым принимали участие в попытке захвата самолета в 1970 году. Приговорены к 15 годам заключения.

*...очередной сборник «Памяти»...* — В пятом номере сборника «Память» (Париж, 1982) опубликована статья В. Иофе о студенческих организациях, в том числе о «деле историков МГУ», по которому был арестован Вадим.

*Геллер Михаил Яковлевич (1922–1997), Некрич Александр Моисеевич (1920–1993)* — авторы трудов по истории советского общества. В 1982 году вышла их совместная книга «Утопия у власти».

*...нашей истории 1957 года...* — В 1957 году Вадим, студент 3-го курса истфака МГУ, был арестован КГБ за участие в студенческой антисоветской организации. Все члены группы (всего 9 человек) были приговорены Мосгорсудом к разным срокам заключения. Вадим получил восемь лет.

*Айги Геннадий Николаевич (р. 1934)* — поэт, широко издающийся во многих странах мира. Лауреат различных литературных премий.

*Корнер Владимир Федорович (1939–1986)* — русский философ, писатель, автор романов «Крот истории», «Наследство».

*Массон Андре (1896–1967)* — французский художник, один из мэтров сюрреализма.

*Гарсия Маркес Габриэль (р. 1928)* — колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии (1982). Его творчество (романы «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Хроника объявленной смерти») — явление так наз. «магического реализма».

*Кудиновский Рембо* — стихи А. Рембо в переводе М. Кудинова, вышедшие в 1982 году в серии «Литературные памятники». В примечаниях, составляющих более половины книги, имя Вадима Козового даже не упомянуто.

*Балашов Николай Иванович* — ответственный редактор сборников «Гаспар из тьмы» А. Бертрана (в «Приложениях» — пе-

реводы из Рембо Вадима Козового), 1981 год, и «Стихи» А. Рембо в переводе М. Кудинова, 1982 год, в серии «Литературные памятники». Книга Бертрана вышла уже после отъезда Вадима во Францию. Вручая мне авторские экземпляры, Николай Иванович Балашов сказал, что эти переводы конгениальны подлиннику. Однако через год в своих пространственных комментариях он о них даже не вспомнил.

*«Жгучий аквариум» в газете...* — Имеется в виду письмо «запальчивого» читателя по поводу переводов В. Козовым поэзии Рембо, которое называлось «Все стало — тьма и жгучий аквариум» (буквальный перевод строфы Рембо). Издательский тон этого «письма» подтолкнул Вадима к решению остаться.

*...листаю чертковского Вагинова...* — Константин Константинович Вагинов (1899—1934), русский поэт и прозаик. Оставил четыре книги стихов и столько же романов. Долгое время его имя было предано забвению. В 1982 году в Германии Леонид Чертков издал сборник его стихотворений.

*Никишка* — Никита Игоревич Кривошеин (р. 1934 во Франции), переводчик, публицист. Отбывал вместе с Вадимом заключение в мордовских лагерях. В 1971 году вернулся во Францию.

*Рассказал Мишо... о старообрядцах...* — В 1982 году в газете «Комсомольская правда» была напечатана статья об открытии у истоков реки Абаза (на Алтае) скита раскольников-«бегунов» Лыковых. Семья Лыковых бежала туда во время революции и жила все эти годы в полной изоляции от мира.

*...его заставили объяснять каждую поэтическую строку.* — Речь идет о Ю.М. Кублановском (р. 1947), вынужденно находящимся в эмиграции с 1982 по 1989 год.

*Эмзар* — грузинский поэт Эмзар Квитаишвили (р. 1935), друг Вадима и Ирины.

*Краснопецев Дмитрий* (1925—1995) — художник «андерграунда». С 50-х годов посвятил себя натюрморту. Ни разу не выезжал

за границу. Говорил о себе, что «мог бы с завязанными глазами ходить по Парижу».

*Свешников Борис* (1927—1998) — живописец и график, провел 10 лет в сталинских лагерях.

*Молоствов Михаил Михайлович* (1934—2003) — в студенческие годы был арестован за участие в антисоветской организации, провел шесть лет в мордовских лагерях. В 90-е годы — депутат Верховного Совета РСФСР, потом — депутат Госдумы. Журналист, писатель.

*Красильников Михаил Михайлович* (1933—1996) — поэт, солагерник Вадима, четыре года провел в мордовских лагерях (1956—1960).

*Сюрмен Филипп* — французский дипломат, работавший в Москве. Впоследствии посол Франции в независимой Литве. Ныне — посол в Украине.

## 1982 НОЯБРЬ

Ириша родная,

послал тебе, Андрюше всякое — и написал 100 страниц. Сейчас буду краток (если письмо не задержится). Просто-напросто я раздавлен затянувшейся тупиковой гирей. Но разумеется, и вас вытащу, и устроюсь тут, и квартира, работа будут. О работе предполагаемой я тебе когда-то писал: нажму на все пружины и педали. Благо, меня знают. А если работа, то и квартира (с помощью друзей) будет. И т. п. и т. д. Начинаю исподволь к новому положению готовиться. Предпринимаю разные демарши. Не будем скулить по пропащему и невозвратимому. Бессмысленно.

Франек, надеюсь, получил наконец-то приглашение. Сегодня говорил с Габи. Может быть, еще кому-нибудь из друзей нужно? НИХу могу от Мишо. Или от Жака (который его и по-

селит у себя). Думаю, что поездок станет несколько больше, чем в последнее время.

В «запальчивом» письме ссылаются на «великого» переводчика Левика\*. Но Левик вместе с НИХом и А. Сергеевым\* написал мне рекомендацию в горячо любимый Союз писателей, опекаемый моим запальчивым благодетелем (кстати, уверен, что он приложил руку к «письму», а не только дал точное распоряжение). Жив ли он? Я ведь совсем не вижу московской прессы, и не знаю, кто здравствует, а кто почил. Брежневская кончина никого здесь не интересовала (только кремленологические догадки промелькнули. Андропов — «интеллигент» и либерал, Морис из себя вышел от злости), не то что смерть Рони Шнайдер или Грейс Монакской, вызвавшие немало искренних слез. Читал по этому поводу очень злую и остроумную заметку, где Леня сравнивается с режиссером Деми, которого не желают (в отличие от новых походов Бельмондо, спасающего еврейского мальчика от нацистов) смотреть зрители и которого неумеренно бурно, в противовес Бельмондо (он возмутился!), защищают и прокламируют огромными объявлениями коммунистическая и «прогрессивная» критика. Что-то вроде: «Деми — талантливый режиссер. Брежнев любил детей. Но в это трудное время французы — правы они или нет — отворачиваются от всего, что означает скуку».

Составляю 1000 бумаг — о тебе, себе («выходные данные») для очередных чьих-то ходатайств. Устал. Сколько еще это может продолжаться???

...Растягивается письмо...

Вижу я по переводам, что не только главное (динамическое слово) пропадает, все становится жестче и грубее, но что вообще без третьей книги («Блошка Марьянушка» не помогает) лица моего не разглядеть. Прочел я только что своего «Тургенева» (из «Поименного») — такой пронзительностью повеяло... Ах, как нужно эту книжку напечатать. Но раз просишь — ПЕЛЕТЕ-

РПЛЮ (хотя ссылка на Каренина не из лучших). Пока у меня с Россией остается какой-то мосток, публикация книги имеет для меня значение немалое... А потом? Бог весть. Тут читателя нет и быть не может. Даже в эмиграции после 17-го года его почти не было (Сувчинский dixi), а теперь... Все эти люди, даже публикующие русские издания, не случайно покинули Москву... Не звенит у них в ушах русское слово и тихо-тайно песня русская не дребезжит. В Москве тоже таких почти не знал, но это нормально, страна огромная, и где-то кто-то неизбежно отзовется. Ты, надеюсь, меня поймешь. Вспомни, в каком состоянии писал я эти вещи... Ты раз-другой видела... Встреча с таким желанным и бесценным читателем (НИХ) — всегда чудо.

И «от противного»: перелистывая французский том Б.П., еще и еще раз прихожу в ужас... Наша поэзия, слово, дыхание и наш мир останутся навсегда за семью печатями для всех, кто живет под иными звездами. С этим нужно окончательно смириться. И нет у меня никакого желания что-либо им доказывать, рассказывать, подсказывать — поэзия не нуждается в комментаторах. Ничьи настояния (Мишо, Морис и др.) меня не переубедят (и условия...): косвенно я мог бы выразиться. Косвенно — якобы; это и есть впрямую. «Воздушные пути» (если есть), может быть, куплю, но это будет первой книжной покупкой за два года. К чему?

А ведь судя по воспроизведенному в книге почерку, были у нас — среди мною разобранного и уехавшего в Тбилиси — и письма (2—3) О. Фрейденберг\*, как мне кажется, 1954 года. Еще раз листал эту переписку, глаза мои застилаются слезами, одна тумба растаяла, другая на ее месте — ах, Ириша, можно ли проклинать страдальцу такого разряда? Об этом страдании, о проклятости, об общих слезах и трепете говорил я, помню, много вокруг себя по приезде. Удивительно, как падали эти слова в пустоту, в какое-то сито четких и расписанных оценок, политических взглядов и характеристик... Думаю теперь, что

постижение и приятие Б.П. женской доли — уникальный мистический подвиг. Недавно читал в «Le Monde» интервью немецкого ученого (глубокий старик), посвятившего свои философские построения и саму свою жизнь японской (и отчасти китайской — не разделить!) мудрости. Он о том же говорит: инь и янь (забыл, как по-русски транскрибируется). Вот тут у меня с Б.П. глубочайшее сердечное родство (при всей внешней несхожести). Иначе и поэзия любая «развалится на кирпичики». А запад пронизан этим чисто мужским «восприятием» (в кавычках, т. к. не мужское) бытия... Стена.

Нет, Ириша, у меня никаких «принципов». Есть вещи, есть силы и обстоятельства, которые выше и безусловнее меня, слабого, полного пороков, с раздираемой на клочки душой. Страдание за вас и без вас неопишимо, снова сотрясают меня рыдания, не стану же я изображать перед тобой железобетонного стойка... Хотя «ночью я вижу насквозь и более», понимаю, что ты права, призывая меня к трезвости повседневной. Но это — другая сторона медали.

Звонил Брюно, который из кожи вон лезет, чтобы нам помочь; поднял своих друзей в Елисейском дворце. Говорит, что наше дело там прекрасно известно и надо давить. Хочу добиться приема (возможно, придется надписать моего Валери и сопроводить письмом), хочу остаться на уровне дискретном... Во имя нашего будущего. Какие остолопы в Москве! Не конкретно икс и игрек виновны, но кровожадная система... Хотя и икс, и игрек, и другие достойны Нюрнбергского суда. Но ввиду небывалой мировой трагедии, такой суд возможен теперь лишь на том свете.

...От Мориса письмо почти душераздирающее: так волнуется обо мне («крепко тебя целует и напишет»), так понимает наконец русское «смирение», никем тут (а там?) не понятное. И от Ленки открытка, которая, как всегда, полна восторженности и нежности преданной (это в ней — между нами — лучшее ев-

рейское)... Передай им всем, всей семье мою любовь. Мне их очень не хватает.

Брюно наконец принес фотографии (с Андрюшей только одна получилась плюс теща и Томик). Знакомые лица, знакомая атмосфера... несколько пугает скитальца ВК. Но и тут — не все ли одно и то же? Сегодня были на вернисаже в галерее Магта; там я как у себя дома. Потом (поздно) — буфет; напился (вино). Рассказывал о России, Бабеле, Гоголе, Сталине, Моголе, Пастернаке и т. д. Жак и Кристин — родные. В субботу, наверное, Борьку к ним поведу. Даниэль Бургуа была. И Жан-Луи Пра — директор Fondation в Saint-Paul de Vence. Приедешь — мы там можем гостить, сколько угодно. Ты тут уже стала мифическим персонажем. Все о тебе спрашивают. Алешинский\* (увы, плохой художник, несмотря на славу и продажу), тоже бельгиец (и наполовину русский еврей) — как Мишо, о котором говорили долго. Берес с женой... Которая, кажется, меня боится. «Il est dur». («Он жесткий, неуступчивый».) Тем лучше. Пусть боятся. Герой торжества (чей вернисаж) — увы... Но знает Гоголя наизусть! Молодец. Просили меня «устроить» одного русского художника-эмигранта. Вещей я не видел... Но Жак посмотрит. Вот (будь внимательна!) если бы Дима Краснопевцев мог передать сюда штук 30–40 своих вещей, я бы точно ему устроил выставку и продажу. Знаю, что говорю. Здесь его вещи кое у кого, разумеется, есть, но надо, чтобы картины продавались, а не только выставлялись. Если хочешь, передай ему, пусть подумает... С Жаком я говорил. Устрою ему отличную выставку (и деньги получит) в одной из лучших французских галерей. И возможно, текст напишу. К сожалению, лучший его период — позади. Но как знать?

Вижу на фотографии твое любимое лицо и чувствую физически (не объяснить...) твою инертность, которая меня страшит — но сам-то не инертен ли?

«Il est dur». Иначе нельзя... И не умею. Одним языком способен говорить — и с генералом КГБ, и с хищнической пошлостью. «Я тоже какой-то, я сбился с дороги» (люблю до безумия эти строки).

...Сейчас звонили Сувчинские: П.П. прочел наконец мои переводы («Литературная Грузия») — без ума от восторга... «Так никто никогда не переводил». А посему решил вставить в свой текст небольшой пассаж о моих переводах... Вот тебе и ответ Поносюку... Обо мне тревожится, хочет тебе написать, но боится, что для тебя это будет опасно. Еле его переубедил. Напишет.

...Еще раз смотрю на фотографии... Как не хватает мне этих домашних стен! Однообразие лиц и разговоров — не главное; ведь умею уходить в иные миры — только тем и спасаюсь! Но для этого нужен минимальный уют и налаженность быта; и стихия русской речи... Даже когда один (именно в одиночестве!), окружающее безмолвие говорит на тысячи русских голосов. Эмигранта из меня не выйдет.

...Сегодня часик провел у Степы и Анны, которые это понимают. Анна так тебя любит и понимает, и сочувствует. «Ира устала». Да, устали мы, кисанька, бесконечно. Смотрели с Татищевыми московские фотографии; они понимают, что такое круг друзей, родной язык, родной дом.... И я чувствую глубочайшую вину перед тобой — не за книгу, не за советскую власть, а за то, что я такой. Не был у Степана полгода или больше... Понимаешь ли, что это значит? Люди, которых я люблю, которым за Борю благодарен, к которым по-человечески глубоко привязан... Такова тут жизнь. А Франция... Вспоминаю, что и в Москве НИХу говорил: «Это теперь совсем не та страна, не та культура и даже не та цивилизация, какая видится вам, как свет угасшей звезды, сквозь любимую живопись, поэзию и т. д.». Откуда мог знать? Знал! Хотя и в отношении России никаких иллюзий не строил. Но не любил и не люблю, когда ее без конца пинают презрительным концом

сапога. Даже озверелую и, быть может, и впрямь отвратительную... Достаточно одного Б.П., чтобы ее принять. А он не один... Рассуждения об этом, как ты знаешь, мне давно посылали — любого идеологического направления... И скажу больше того, даже под страхом обвинения в мегаломании: если «вдунуто» было в меня сказанное в «Курочке», в «Дуэте» и даже в «Котле», в «Революции» — сквозь смех и слезы, — значит не все еще погибло и какая-то слабая тусклая звездочка для Василька где-то блестит. Пусть один только НИХ расслышал; завтра расслышат другие... Но меня, это знающего, родины и читателя лишили навсегда.

Сегодня Борька по телефону (страдает): «А все же неразумно было бы возвращаться». Жерар: «Ты из-за разлуки почти как в тюрьме».

...С Борей больше невозможно! Предупредил его сегодня: рассчитай время и будь здесь не позже 7 вечера; мы пойдем в гости. Уже начало девятого — его нет... Там ужин готов, и потом я с Жаком должен срочно дорабатывать тексты; времени больше нет... А этот идиот опять в своем репертуаре! Ну что с ним делать? Еще и побрить я его должен. Ждут нас... Сойду с ума. Мне его страданий достаточно на всю оставшуюся жизнь. Своих бы поменьше... Если бы мог, завтра же отослал его в Москву заказной бандеролью.

В две минуты перегорел — не умею на Борьку злиться, даже обругать теперь (а надо бы) не могу. Конечно же, он все перепутал, пришел поздно... Но у Жака мы все равно были... Обласкали Борю, накормили (ну и ест — за 20-х!) — и с каким тактом! Теперь он будет к ним ходить. И я ведь с Жаком (вот бедный!) уже полтора года работаю над переводами. Сегодня Кристин в 10.30 Борьку отвезла на машине (недалеко), поставила ему кассету в машине — «Монтеверди» — слушал! — а мы еще кое-что доперевели. Бедный мой мальчик! Глаза сверкают, улыбка робкая то и дело прорывается, а говорить трудно! 2—3

слова сказал... За собой стал лучше следить: явно неравнодушен к своему внешнему виду.

...В магазине Гольденберга (второй раз вижу) — молодая и очень хорошенькая кассирша чисто русского типа. Зовут, разумеется, Наташа. Следующий раз выставлю напоказ «Русскую мысль», которую сегодня — докатился! — впервые рядом с Гольденбергом купил. Но главное там (книжная лавочка) — всевозможные еврейские периодические издания на всех языках. Послать, что ли, кучу Асе в подарок?

Второй раз подорожала — на 10% — плата за жилище в cité.

Говорил с Граком о моем положении. Просто: при моем статусе работы у меня быть не может; менять статус я не могу — пока вас тут нет. Заколдованный круг.

Серия статей Даниэля в «Монд» свидетельствует о том, что главного он уловить так и не смог. Нелепые догадки, абсурдные (при всей осторожности) упования. Все более удивляет меня (вчера об этом со Степой говорил) Николь Занд\*... Даже в статье о каких-то альбомах — как умно, с любовью и состраданием к этой никому не нужной стране... О Москве под снегом, приглушенных красках и голосах, московских сумерках — право, не ожидал от нее.

Могу ли я осуждать Мориса, который из любви ко мне и страха за меня более года пытался мне внушить, что возвращаться опасно, что ностальгия меня ослепляет, что в этой слепоте я «путаю» Россию с СССР и т. д. и т. п., а затем под воздействием моих пламенных (но и трезвых) писем, проникся «высочайшим уважением к моей позиции», стал по-иному относиться к русскому «смирению», расслышал задавленный стон — и убеждает не предпринимать ничего, что могло бы различить меня с вами, с родным языком, с поэтическим «призванием»? Как будто нет в этих призывах реального противоречия и как если бы я мог что-либо изменить. За дружбу, преданность и любовь ему спасибо. Остальное... малосущественно. Однако,

Ириша, ты столь долго и упорно, в каком-то иступленном ослеплении (движущие причины понятны, но...) пыталась мне внушить, что я слишком забывчив, что я «оторвался», что я какой-то «славянофил», тогда как ты... «западница» (??) и т. д. Это ведь все отнюдь не невинная игра. При всей моей (есть!) стержневой непоколебимости я шаток и неустойчив. Надо было с этим считаться — и о себе тоже думать. А сравнения с первыми — истинными! — славянофилами я не постыжусь: в их идеях, при всей каше и немецких влияниях, было очень много здравого, куда больше, нежели у большинства их «западнических» современников (о нынешних «западниках» и говорить не стоит, а что касается тупых и обросших щетиной националистов — тьфу, разит!).

Книга моя... киса, да ведь я ехал с мыслью, что она уже издана, ведь думал лишь (со страхом) о третьей... Как бы ни повернулось дальнейшее, я ни в чем не раскаиваюсь. Объясняться устал и боюсь громких слов, но иначе поступить я не мог; похоронить «Холм» (так стоял вопрос) я не мог.. Думаю, что о его издании стало в Москве известно в начале года или даже в конце прошлого — во время подписки. Впрочем, гадать бесполезно.

Думаю об утрате языковой среды. Так ли это страшно? В Москве ведь только с НИХом мог я упиваться русской речью и ее поэтическими цветочками. Важно иное: тут я вынужден либо целыми днями молчать (как и в Москве... таковы и некоторые мои прославленные знакомцы), либо же говорить на чуждом мне языке. Утрачиваются живые стереотипы, теряется (это важно!) и инстинкт речевого сопротивления окружающей барабанно-деревянной трескотне. Эта последняя — вездесуща по-разному, но в Москве она русская и «сопротивление» тоже русское.

Слишком высока была ставка. Но не издавать своих книг я не мог, а делать это незаметно или полузаметно теперь невоз-

можно. Особенно при моем статусе. И по «Лит. газете» можешь судить: я для них «важная персона», потому и стараются втоптать меня в грязь.

Ну и пусть! Может, больше ничего не напишу. Хватит трех книг. Только бы вас вытащить. Есть кое-что поважнее слова: молчание, покой и любовь. А поэзия всегда была для меня даром неожиданным и внезапным (хотя и требовала высочайшей готовности — ты видела меня в этих состояниях...) Я не Рене Шар и не стану высасывать из пальца то, что не дается вулканически и молниеносно (а ему давалось когда-то... Даже обидно, что он замусорил свое лучшее ворохами мнимозначительной и вялой прозы; был отличным, первоклассным поэтом — нет же, гигантомания проела его насквозь, как ржавчина, еще до старости).

Личность необычайная создает вокруг себя накал атмосферы независимо от того, что говорит (пусть даже легкая болтовня); таков Мишо и, прости за бахвальство, таким и я с ним себя чувствую: шелуха исчезает, все мое шаткое и жалкое испаряется, остается самое сильное, и вплоть до безмолвия. Но увы, Мишо бережет свое время, пишет, ищет, изобретает... Не могу видеться с ним так часто, как хотелось бы. Надеюсь, на мое чтение 12 января\* он придет: слушать мой поэтический голос любит. Жак и Мишель хотят прочесть кое-какие тексты... А я жаден, только сам смогу накалить читаемое (и по-французски) добела с акцентным ритмом и нужным захлебом. Какова бы ни была аудитория, уверен, что смогу ее взвинтить. На первой странице приглашения я могу поместить любой рисунок или даже фотографию... А что если бы что-либо Андриюшино? Составляю список приглашаемых... Даже Беккета хотел бы пригласить. Во всяком случае, когда выйдет книга (буду ли я здесь), хочу ему послать экземпляр. «Рассказ об этом» (но как перевести?) он мог бы расслышать... И кое-что другое. М. б. попробую перевести... Адская тревога не позволяет сосредоточиться.

Третья книга совсем извела. Одно ее жгучее существование доказывает (понимал!), что не ужиться мне никогда с московскими господами. Ну, что мне делать? Не сегодня (с тобой согласен, увы...), так завтра напечатаю. Это сильнее всех доводов, всей моей человеческой слабости и даже сознания, что только в Москве смогу расслышать эхо. Беда!

Нет, кисанька, убеждаюсь, что никуда от меня русское слово не денется. Достаточно ночь проспять и на минуту забыть страх и тревогу, чтобы снова вспыхнуло во мне ритмическое многоголосие и на бумагу ложится, завершая то, что давно было начато в Москве (третью книгу еще дополню). Это сейчас приходит крайне редко, но чувствую интуитивно: если мы тут будем вместе, если устроимся, если мало-мальски наладится быт — главное приложится. Только ты меня не слишком шпыняй за мои пороки и мою монструозность. Если буду писать — буду счастлив, даже на луне: никогда не расстанусь со своей землей. Этого им у меня не отнять!

Мишель Деги (и Жак тоже) хотят превратить мое чтение 12 января в событие. Обычно (писал тебе) там зрелище жалкое... Но на сей раз пригласят уйму народу, от журналистов до Беккета (он вряд ли придет). Пожалуй, можно прочесть (Жак) и фрагменты из текста Мориса. А я уж перед своим чтением создам — если буду в ударе — настоящий хеппенинг. Для пользы дела.

...Отар И. тут поселился (этажом выше); кажется, вопрос о его французском фильме решен, но он должен вернуться (визу не продлевают), а потом снова приехать (мощная опора в лице Шеварднадзе). За него, думаю, можно не беспокоиться. Ателье у него с тихой стороны... Но он решил притащить хорошую кровать (вместо этой солдатской койки), поставить настоящий письменный стол (которого мне так не хватает!) и т. д. Я в хлопотах и треволнениях все это упустил из виду — тоже мог бы устроиться получше. Русская инертность? И ведь не знал, сколько здесь проживу... Не знаю!

Пишу это послание в расчете на Франсуазу. Других okazji нет. И совершенно ужасно, что не могу с тобой поговорить. Живу как крот. Морис паникует насчет визы и опять спрашивает, чего хочу я в глубине души. Слишком многого! Жить в моей московской квартире, не голодать (легкие!), не думать о куске колбасы, не дрожать в страхе перед обыском, высылкой, арестом и т. д., видеть ваши любимые рожицы, слышать ваши голоса, не терять связи с парижскими друзьями, писать свое и печатать. Иногда покидать разлюбименькую, чтобы немножко вздохнуть и отдышаться... И слишком много, и слишком поздно. А начать надо было вот с чего: сделать все возможное для Бориного будущего. И это, и мои книги несовместимы со всем прочим. Надо выбирать. И разумеется, на первом месте — вы...

А. Вознесенск. снова тут... Выступает... А Евтушенко в последний свой приезд зимой, после какого-то никарагуанского конгресса, лепетал по телевидению что-то несусветное в стиле «Лит. газеты» (даже у Сталина заметил «положительные стороны»). Кто его направляет, я, кажется, знаю. Благодетель! Очень настойчиво напрашивался он к Мишо, которым, якобы, потрясен. Но МИШО ЕГО НЕ ПРИНЯЛ\*...

...Рене Шар, когда я сказал ему прошлым летом, что начал переводить с Жаком и Мишелем, реагировал с раздражением: «Тогда зачем вам в L'Isle приезжать?» Представляю, во что бы вылилась эта «совместная работа»... Морис, кстати говоря, послал ему свой текст, но, как я понимал заранее, ответа не получил. Они переписываются, но обо мне — ни слова. Теперь Морис эту тему не затрагивает, да и я молчу. Как можно обмануться на расстоянии! Впрочем, о прежней благодарности не забываю и посвящений не сниму (во французском тексте оставил инициалы Р.Ш.). Но «Я охотно вручил бы вам Рене Шар свое тельное крошево» — с этим нужно расстаться и строку изменить. Тем более что через одну следует какое-то плаксивое «Ах, не прячьтесь вы от меня за горами кудыкиными» (строч-

ка, впрочем, хороша, особенно в связи с дальнейшим). Кого из своих былых друзей Шар не обидел, не оскорбил, не проклял, не забыл? А других — и доброжелателей, и почитателей, и особенно немногих почитателей-фанатиков (если не слишком в них нуждался) — всегда третировал как последнее было. Я понимаю, что жить ему трудно и даже что всегда хотелось быть первым и несравненным, но достаточно переступить какую-то черту, чтобы все это оказалось надутой фальшью и скверным театром. Бог с ним.

Борька едет со своим фоуег на десять каникулярных дней в Бретань. Фоуег оплачивает, можно быть спокойным. А я эти «праздники» проведу один... в том же состоянии. Пытаюсь работать...

Совершил пробежку по двум русским и одному советскому магазину. Беда в том, что начал с последнего. Купленное там (за немалые деньги) мог бы и даром получить в другом месте: большой франко-русский словарь для Бори, «Воздушные пути» и «Петербург» в «Лит. памятниках». Пора обзаводиться и русской классикой... Кто знает? Поэтому взял в другом магазине (ИМКА) 2 тома Фета среди прочего. Там и Степу встретил на бегу... А у Каплана (дом русской книги) приятная новость: все заказанные ими экземпляры «Холма» распроданы, заказывают новые, да и из Америки (Сашка Сумеркин?), говорят, просят.

Левке напишу отдельно, а пока пусть передаст мне сколько может экземпляров Федорова; я ему пришлю любое по заказу. Ты, киса, никогда ничего не просишь... М. б., кому-нибудь что-то конкретно нужно? Для меня это не проблема. Послать для кого-нибудь «Воздушные пути»? На «обмен»? Совсем уже забыл эти обмены и прочую библиофильскую возню.

«Воздушные пути» оставляют странное впечатление. Приятно, разумеется, что эта книга появилась, да и рисунки очень недурны, но они создают впечатление какого-то домашнего

альбома (Пастернак не Розанов!), да и составлено нелепо. Сразу виден Женин дурной вкус и полное непонимание поэзии. Совершенно вписывается в дурно пахнущую спекулятивную струю нынешнего (в СССР) «интереса» к литературе через личную жизнь, рукописи, сплетни, «архивные» изыскания и т. д. и т. п. Зачем Пастернаку эта семейственность и эти домашне-переделкинские фотографии в книге его текстов? Написавшая их рука не имеет никакого отношения ни к этой туманной фигуре на дачном фоне, ни к живописным наброскам ее родителя, да еще академика живописи! Но разумеется, все это повышает цену книги в глазах «почтенной публики» — и на черном рынке. И еще: «стр. 469. Факсимиле подписи Бориса Пастернака. 1948 г.» — просто смешно. Жаль, что нет замечательного текста из «Центрифуги». Но знаю, что появлению книги радуются. Тут же и незаменимые Гречишкин и Лавров, которые «протаскивают» в примечаниях бедного Костю Азадовского и эмигранта Флейшмана (его книгу о Пастернаке 20-х годов видел сегодня — не взял: обычная наукообразная, в тартусском стиле, каша). Но довольно ворчать. Перечитаю любимые «Письма из Тулы» и кое-какие бесподобные страницы в «Охранной грамоте» (вот уже и заметил в давно затверженных наизусть строках кое-что против изобразительности образа...), и гениальные к концу «Несколько положений».

Я не ворчу; я просто зол на мир и на себя за то, что нельзя теперь говорить голую и рваную правду таким (как умею — только и умею!) хриповатым и задыхающимся голосом: не власть запрещает (она — дело двадцать третье), а уродины-лица, уроды-дома, выродившийся и насквозь глухой воздух, издыхающий без конца и без края, прячущий голову в плечи, в изнурительную трескотню, в почитание классиков, в школярские гробокопательства и квелые, беспробудные воздыхания по давно минувшему и якобы где-то полыхающему. Кто действительно будет читать, открывая заново эту книгу Пас-

тернака? Да и среди немногих читающих — кто будет читать активно, преображаясь внутренне и преображая читаемое? Пастернака ли только? Пушкина, Белого, Фета, Батюшкова, Хлебникова или Анненского читать можно лишь всегда по-новому, открывая слову новые дороги (не о критических комментариях речь). Можно, конечно, отнестись к вышеописанному сострадательно: «Надавило шкафом», — как писал Вас. Вас. Но тут нет места состраданию и грошovým слюням. Есть и у злости свои права, своя чистая правда. Где высказать мне накопившееся, выстраданное и продуманное? К кому обратиться? Возвращаясь к Розанову, еще раз процитирую: «Не довольно ли писать о нашей вонючей революции и о прогнившем насквозь царстве, которые воистину стоят друг друга? И вернуться к временам стройным, к временам ответственным, к временам страшным...» Вот так же хотелось бы сказать и о нынешней Советской России, и не-России, включая эмиграцию, — хотелось бы, но слово рвется наружу, и захлебывается, и задыхается, и нет ему никуда возврата.

Понимаешь ли ты, что значит для меня печатать (ни на кого и ни на что не надеясь) свои книги? Как будто головой пробиваю стену тюремной камеры... И печатать нужно, пока живо, пока еще трепещет, пока эти мельницы еще машут и машут в тревоге... Вот-вот окоченеют, остекленеют, остановятся...

Знаю, в этих письмах тебе (и отчасти Морису) среди нытья, шелухи и гнилого мусора можно отобрать 40–70–100 страниц, «готовых к публикации». Но руки опускаются, когда читаю тут выходящее по-русски. Внешне хорошо выглядят (печать, бумага и т. д.) издания «Руссики» (Сашка С.). Но содержимое не всегда... Просмотрел их антологию. В. Швейцер поносит НИХа за Мандельштама: не уверен, что она всегда неправа в частности, но целое... Да, решил Сашке Сумеркину написать.

Вот тебе мое признание. Мне страшно сейчас читать «Охранную грамоту». Так, наверное (не мегаломания — но по су-

шеству) Толстой боялся слушать музыку. Мне страшно вчитываться в томик пушкинской «документальной» прозы, который у меня под рукой. Страшно заглядывать в двухтомник Фета. Потому что шесть-восемь лет назад произошла во мне необратимая метаморфоза, а точнее, раскрылось запечатанное незрелостью и давно выношенное. Я больше не умею читать, не отзываясь голосом той же и спорящей (как спорят в состязании) силы. Любую пошлость, детективный хлам, мемуарные заметки я читаю без муки и труда. Остальное требует немедленного ответа, а я теперь, раздавленный тревогой, обстоятельствами, бытом, тоской и обыкновенной, в силу инерции, ленью, ответить не готов. Готовность такая, впрочем, не одной моей доброй воле подчиняется; нужно взять разгон и знать твердо (будучи беспощадным к себе, к окружающим и окружающему), что завтра, послезавтра и через сто лет, если еще понадобится, ничто не сможет приостановить и отвлечь этот бесноватый виток. У спирали нет конца. Слово безумолчно и взвинчивается по спирали; безмолвие приходит извне, как ножом по горлу. Но он, этот нож, из тех, которые благословляешь. Он не позволяет тебе разорваться на куски и в клочья. И держат его, над тобой занесенный, чужие руки, которые, быть может, не столько тянут в засос повседневности, сколько ждут от тебя белой и построчной внятности, чтобы схватить ее незамедлительно и передать дальше, от пальцев к пальцам и из горсти в горсть. Глаза тут, пожалуй, ни при чем. Все проходит цепкой ощупью, в самую что ни на есть ручную.

Ириша, мне нужны под боком вы и мои русские книги: сказать еще нужно многое, и оно, разумеется, вырвется, моего позволения не спрашивая и не кланяясь в ноги никому. Как только что... жаль, что тонет в письмах, потому что здесь крупницы той самой прозы, которая предписана и запущена всем моим предшественникам.

Перехожу к прозе. Утром сегодня получил твое-Андрюшино-Витино письмо.

...Жак Амальрик передаст Николь: о моем чтении известит «Le Monde» — и будут отклики. Включается много народу (Сувчинские позовут Ксенакиса и других композиторов, музыкантов), Мишель Деги займется прессой и театральным миром. Это сейчас необходимо. Беккета пригласят его друзья. Грак тоже поговорит вокруг. Робер Галлимар придет. С Мишо я еще толком не говорил: послезавтра... он позовет своих.

В «Экспрессе» предупреждены (тот самый, кого яростно атаквала «Лит. газета» — я о нем тебе не раз говорил). С Габи обсужу даже насчет телевидения. В бой!!! Но никакой политики (пока): чисто литературное...

Ты знаешь, Ириша, как я ничтожен в унынии и упадке. Но стоит мне взвинтиться... Как бы кое-кого не преместили на новую должность в Акмолинскую область. Напрасно он (Ф.Д. Бобков. — *И.Е.*) завел со мной войну. Это ведь еще цветочки...

О Сувчинском будет в четверг многочасовая передача по France Musique (ему сюрприз): много музыки, много о его дружбе со Стравинским, «свидетельства» Булеза, Ксенакиса и других его друзей и питомцев. Это Марьяна сообщила. А сам П.П. долго настаивал на включении в свой текст пассажа о моих переводах; я его успокоил: включил, сократив до необходимой плотности. Посмотрим, что скажет Мишо.

На чтение позвал, конечно, и Степу, Аню Шевалье, Тоню и попросил вокруг раззвонить. Жерарко в это время будет в Москве. Увижу его, наверное, перед отъездом... что вам купить, не знаю, никаких «идей» нет, да и отказывается он брать тяжелое (самолет!). Если бы ты подсказала!.

...О НИХе грустно читать. Разговоры о смерти я слышал тысячекратно, однако возраст делает свое дело... Стопки бумаг, карандаши, лупа — все это я знаю наизусть, но, откровенно говоря, разделяю твое впечатление о «ничегонеделании». Госпо-

ди, если бы он согласился сюда приехать (помню его припев: «Не хочу тут умирать»), я бы из кожи вон вылез, а жизнь и общения ему наладил бы (и у него самого есть возможности). Мишо, Сувчинские, Жак Дюпен (и, конечно, Морис) знают (и любят!) его как моего ближайшего друга. Мне его не хватает почти как вас. И ведь мы с ним вместе еще многое успели бы сделать. Вот это обязательно передай. Мишо ведь на четыре года его старше, недомогает, глаза болят, голова трещит, нога ноет, а работает вовсю и всем интересуется.

...Получил ли Франек, наконец, приглашение?

...А почему это третья «возвышенность» не должна состояться? Нет уж, дудки, она ждет своего часа, чтобы вам не во вред. Но часа своего дождется! Я не совсем тебя понял: ты хочешь, чтобы я в письмах молчал о «Холме»? У меня иное к этому отношение: играть с ними в прятки нельзя — поздно. Контратакка (с необходимым подтекстом — см. выше) гораздо лучше осторожничанья и умолчаний. Я своего авторства не скрываю и в нем не раскаиваюсь. Если создается такое ложное впечатление, начнется двусмысленная игра, т. к. будут ждать от меня невозможного покаяния, — и ты застрянешь. Вспомни хоть письма Брежневу (после «Экспресса»): тебя покоробили вступительные выражения, но для меня — грош им была цена, поскольку главное следовало дальше: от своего права на «свободу передвижения» не откажусь и прошу немедленно распорядиться о выдаче мне разрешения на поездку. То же самое с ПЕН-клубом и проч.

Они царят в силу умолчаний, недомолвок и навязанного всеми способами «языка». А теперь вспомни, как я общался с ними — от телефонного начальника и овировского Зотова вплоть до Шумилина и генерала Бобкова. Этот «распоясавшийся язык» был просто-напросто сильнее меня. Прочитирую тебе неизвестное: «Говори с волками по-волчьи, а с нелюдью по-человечьи». Бобков, к его чести надо сказать, кое-какие

мои словесные выходки воспринял не без юмора. Даже в самый критически-решающий момент (конец августа), когда он предложил мне вторично встретиться: «Ну что, теперь даете пресс-конференции...» — «Да нет, вы преувеличиваете. И в газетах еще ничего не появилось». — «Вы мне угрожаете?» — «Я? Вам? Да вы просто смеетесь». — «Вы этим путем ничего не добьетесь». — «Ну, это мы еще увидим». — «Чего вы хотите, в самом деле?» — «Поездки. Покидать страну окончательно я не намерен: ваши сотрудники это отлично знают по моим телефонным разговорам». — «Меня не интересует, что вы говорите по телефону. Я прослушиванием не занимаюсь»... И т. д. Ничего не выдумываю: как сейчас помню. Потом состоялась «дружеская беседа» — тоже, впрочем, не лишенная кое-каких колкостей. И уже в первый якобы победный вечер я представлял себе достаточно ясно, куда могут (должны!) завести меня и хлопоты о Боре, и моя поэзия. Увы!

Вот почему в почтовых письмах долблю одно и то же: либо примите меня таким как есть (???), либо — как ни тяжело — расстанемся мирно и отдайте мне мою семью.

«Учитель»\*... Никакие «миражи» над ней не летают. Тут много израильтян, и много у меня свидетельств: война войной, а в самом Израиле идет спокойная повседневная жизнь. Так было и в 1967-м, и в 1973-м. Другое дело, что на сей раз война куда менее «популярна» — и не без причины. Ни с кем из давних друзей и знакомых в Израиле у меня общения нет. Да и тут-то...

Андрюшкино письмо прелестно... Но удивительно: вдруг пишет латинскими буквами. «Но перед этим (?) я тебя спрашу. Каму ты prislal рулетку?» Кому? Если хочет — ему. Игрок! Вот кто будет пропадать в Монте-Карло. Витя пишет о «монополии». Ее Жерар, наверное, привезет для вас.

Не хватает мне московских писем: Левка писать не умеет, месяцами собирается, Франек затих... Получил ли Сашка Грибанов мою открытку? И ни от кого нет отклика на подписанное.

По Грузии тоже тоскую: прочел тут кое-что мемуарное — удивительная страна! Ах, будь у меня хоть какие-то гарантии, возвратился бы летом. Но их нет — и ахать нечего. Борьку жалко до стога и слез. Однако ему скоро 18 лет (меньше года осталось) и надо думать о его будущем.

...Здесь не о том речь: хороший или плохой человек. Жорж человек несомненно хороший. Но такие деления в зрелом мире не совсем (пожалуй, совсем не) пригодны; ты ведь помнишь Борино манихейское деление в 12-летнем возрасте. В живой жизни так не бывает и не получается. О Б.П. никак не скажешь: «Хороший человек». Просто комично. А двух критериев быть не может. Не скажешь ведь этого и о НИХе: нелепо. Упасть в эти измерения я не способен, но они существуют во плоти и предъявляют свои законнические права ненавидящим люто не их именно, мерящих и расставляющих по ранжиру, но само «подзаконное офонарелое». Не знаю, почувствуешь ли ты: нет на свете ничего глупее фонаря. Еще раз дивлюсь русскому языку.

По длине моих писем ты можешь судить, во-первых, о том, что говорить не с кем, и во-вторых, о дикости моих бессонниц. Как смогу я жить вместе с вами? Как смогу вести «нормальную» жизнь в обществе, включая работу, хлопоты и т. д.? Войти в этот мир безумно трудно не только из-за иного ритма (климатический тоже кое-что значит), иных человеческих отношений, распыленности, жилья, работы и проч., но и ввиду неопишуемой сети юридическо-социальных отношений, которые миновать нельзя: налоги, система соц. страхования — без конца. Учтя это, можешь хотя бы смутно вообразить, каких трудов (и отваги!) потребовало от меня Борино устройство (множественное). Устроив Борю в foуег я порой могу позволить себе эти бессонницы, которые отчасти связаны с моей вечерней взвинченностью и снова появляющимися мыслями и строчками. При нем превратился в камень — с одной только страдающей дыркой. Но из-за этих бессонниц

я упускаю всяческие возможности: ни на что, кроме писем и редкого чтения, почти не остается времени. Сколько собственного начатого... Так хотелось бы попытаться переложить на французский наитруднейшее — и самое сильное. Думаю, что можно и для «Отправляю навечно» найти какие-то франкоязычные исхищрения... Но нужен и переводчик примерно того же склада мне в помощь. «Рассказ об этом» мог бы перевести с Беккетом — и только. «Не твоей, волна, молотилке» (люблю) — с кем? «Облака» — с кем? Мишо ведь когда-то писал изумительные (и порой столь же напряженные, как мои) вещи с неологизмами.

Сегодня у него был, смотрел живопись (огромные листы, работает бешено) и выбрал то, что по духу соответствует моей поэзии и построению этой двуязычной книги. Свои вещи Мишо показывает с робостью и оговорками, но кое-что я с превеликим удовольствием утащил. Тексту Сувчинского он поразился: «Absolument parfait»<sup>1</sup>. Мы его поставим (чуть-чуть конец переделан и внесена сноской сильная — теперь — фраза о переводах) в самом начале книги, а текст Мориса будет послесловием. Надписаны мне еще две книги, а одна — НИХу (передам). Обсуждаем программу чтения, Мишо позовет кое-кого, в том числе редактора «Курьера Юнеско» (см. последний номер — с Мишо), поэта. Но когда будут готовы литографии, гуаши? Загадка. Я его подталкивать не могу; созреет — за несколько дней сделает. Пока отдаю издателю окончательно отредактированные (с дополнениями) тексты в набор. «Вот!» — но по-французски гораздо лучше вышло, чем по-русски: Мишо прямо-таки ахнул. Еще бы, вероятно, кое-что мог перевести (проза)... Но нельзя больше тянуть. Все ж получилась настоящая книга. Кстати, пытались затащить Мишо в какой-то салон с Вознесенским, но он уперся — ни за что!

---

<sup>1</sup> Безукоризненно (франц.).

Ни на что, кроме собственных текстов, сил не остается. Мишель Деги просит (больше года тянется) хоть несколько слов для своего журнала... Но не могу я собраться! В этих-то условиях... И писать могу только по-русски! А переводы, которые составят книгу, во власти Береса: контракт подписан, и теперь права на эти французские тексты у него. Впрочем, удалось вставить (я не уступал!) в договор условие: в случае более обширного издания (напр. «Галлимар») я смогу эти тексты использовать. Все издатели — волки, тигры и шакалы.

Перед тем, как отдать книгу НИХу, не только посмотри рисунки («Saisir» — лучше), но прочти поэтическое: гениально. И до чего же мне родственно... Вот так бы кое-что перевести! Я когда-то где-то этот текст видел, но забыл... А ведь тут самый лучший Мишо! Какой поэт!!! Так был потрясен, что тут же, одним махом, накатал ему письмецо — залпом! Я вот сейчас понимаю, что именно он во мне угадал. Слово глупое, но другого не найти: он и впрямь гений. Прошу тебя, напиши ему несколько строк, откликнись на «Saisir»... Ему ахи и восторги не нужны, а вот живое чувство он ценить умеет. И будь ему за меня благодарна: эта дружба (и Морис, и Жак) меня спасла от наихудшего, на краю пропасти. Быть может... Быть может, это окупает все прочее, которое стало совсем не под силу. Быть может, только цепляюсь за соломинку...

Слушаю совершенно потрясающий Hommage Сувчинскому (ему, оказывается, сегодня 90 лет!). С 8.30 (вечера) до часу ночи!! Булез, Ксенакис, дирижеры говорили. Уйма прекрасной музыки: больше всего Стравинского (много рассказывали об их дружбе, и многое я узнал), но и Вагнер, Мусоргский, Шуберт, Шуман, Ксенакис, Булез... Многое в исполнении и под руководством (Фуртвенглер и др.) друзей Сувчинского. Вдруг — голос Шара (старая запись): два стихотворения из «Retour amont»... Прекрасно! Ничего не могу поделаться... В биографии кое-что упустили, но подчеркнули встречу с Ник. Тру-

бецким (великим лингвистом — «фонология»; у Сувчинского огромная с ним переписка), положившую начало путаному, но небезынтересному (и трагическому для многих: С. Эфрон, другие) евразийству. Много отрывков из разных текстов Сувчинского. Я перед этим позвонил им, говорил с Марьяной и сказал, что предупредил о передаче Мишо. Каковой Мишо удивился не только силе текста Сувчинского обо мне, но и самому факту его написания... Всегда писал с превеликим трудом. И сколько Булез ни спрашивал — ни слова...

...Музыку мне слушать трудно: вдруг рыдания душат. Стравинского вещи бесподобные («Звездоликий» особенно, и «Весну» могу слушать 1 000 000 раз — мое!), Вагнер, выбранный отлично, — и Шуберт (о-о-о!!!), Шуман. У меня тут много пластинок Шуберта.

А рыдания еще и потому, что утром получил твое «свободное» письмо. Как все грустно! Куча писем: от Ленки (спасибо им и самые нежные поцелуи), от Мориса (душераздирающее — он тебе написал) и др. Левке спасибо сердечное за все, что пишет он о моей книге. Скажи непременно, что мне его не хватает. Я ему заказанное передам при первой же возможности.

Через несколько дней снова увижу главного психиатра. И без того все держится на тончайшей ниточке. Этот главный психиатр может вдруг преподнести сюрприз, отказавшись от продления... В фойе Борька будет жить (и привык!), но ведь этого недостаточно. Вот умерла два дня назад бедная дочка Джойса, которую он так любил: случай вроде Бориного, провела почти всю свою жизнь в лечебницах. А написала о ней в «Le Monde» подруга Джойсов — мать Тины. Жива старуха!..

Читаю о том, что там происходит. Право, не КГБ и цензура меня больше всего страшат, а голод и тяготы быта. Повторяю несмотря на все нажимы (они будут!): я вернусь. Но никаких уступок! Здесь подготовлю верную и крепкую защиту, двуязычный «Холм» выйдет — и, вероятно, уедем все вместе. Так что

важнейшее все равно передавай. Если настанет НЭП (это — для смеха), всегда можно передать необходимое обратно в Москву. Ибо жить хотел бы там. Ириша, переезд, разумеется, труден, но не в нем дело. Пастернак? Да нет, не готов был он уезжать. Ты еще и семейный (от матери) миф поддерживаешь. Понимаешь ли ты, что не мог он уезжать с двумя семьями, выставляя себя (в его представлении) на посмешище и меняя радикально (был — чувствую — и страх перед матерью, ее безытностью; как мог бы он с ней жить одним домом?) весь уклад своей жизни? А этот уклад и есть Россия, уклад своих четырех стен, своего поля и оврага, своей тропинки и своих ромашек, своего милиционера и своего говора в театре перед спектаклем, своих слухов, ужасов и слез, своей беспомощной любви и своего рокового неприятия, своего соловья, который бился и щелкал по-русски, и своей развалюхи, не тебе принадлежащей, но в твоем сердце с трухой шемящей, твоих облаков и твоего чувства неминуемости, которого теперь нигде в этом скукожившемся мире, кроме черной русской дыры, не сыщешь, и даже своего гнета, своих безглазых харь, без которых ни Гоголя не понять, ни к поднебесной не вознестись.

Заметила ли ты, что в самом сухом, жестком, остервенелом, у меня нет-нет да пробьется слеза, струна не без надрыва, приплясочка со смешком горьким? А в переводах ничего этого не осталось.

Киса, сохрани эти письма! Думаю, стоит. Фотографии (лагерные) прошу на всякий случай. Твою — мою любимую — пожалуйста! Хочу ее друзьям показать. А «Память»-то издана. Разве ты ее не видела? Это их тоже обозлило.

Тоня — добрая, славная, отзывчивая до слез. Были мы с ней в кино, и так она мне сострадает... «Сегодня, — говорит, — буду спать, буду о тебе с Ирой думать». Она тебе безусловно будет рада. С Татями будешь встречаться раз в полгода.

Где достать мильон самой надежной зеленой бумаги?

Андрюшкин напечатанный рассказик — молодчина! И так: 1) хочет во Францию; 2) хочет играть и побеждать в карты и др.; 3) хочет, чтобы все его любили. Хорошие задатки. Распроклятая сволочь гэбэшная, ведь по их вине я не видел мальчика (в таком возрасте!) два года. Я так вижу вещи. И за кого меня этот «интеллектуал» (Ф.Д. Бобков. — *И.Е.*) принимает? Пусть скажет спасибо, что был со мной знаком и что я удостоил его благодарности. Вот так-то! Своим опусом о Рембо он поставил себя в сверхкомическое положение, о чем я при случае и напому. Нет, довольно, не советую ему со мной воевать и подсылать странных субъектов.

Совершенно обнаглели! Сейчас тут пресса полна сообщений о ходе следствия в связи с покушением на папу... Тут же и торговля оружием (вплоть до танков!), и наркотиками... И профсоюзный деятель, принимавший Валенсу и на него доносивший тем же болгарам, и при этом связанный с Красными бригадами — а за болгарам, об этом пишут всюду, стоял (и стоит)... Соловьев (Юрий Владимирович, но здесь имеется в виду Андропов. — *И.Е.*) — да простит Юра Соловьев мне эту глупую шутку! Так что имеются подозрения (верить ли?), что вся нынешняя шумиха (почему именно теперь?) подогревается из Москвы соперниками главного туза, чтобы его скочырнуть. Именно теперь? Множество новых фактов (уйма!!), а главное — турок стал колотья всюду (его тоже должны были ликвидировать, да не успели). Думаю, что беспокойно на душе у многих власть имущих: еще долго будет эта волынка продолжаться, и наш благодетель, возможно, тоже не вполне в себе уверен. Догадки, догадки...

На «Лит. газету» мне плевать... Но ты меня знаешь, если разозлят донельзя, в ту же газетенку такое напишу, что у них там стены развалятся. Этот плаксивый тон заступников в «Русской мысли» или французских петициях не по мне. Я их — молотом!

Идеального периода не было. Вскоре по приезде, как ты знаешь, ПЕН-клуб устроил вечер в мою честь, где я говорил (разумеется) как свободный человек. Вознесенский (привез цветы с могилы Б.П.!) в тот же день устраивал свое мощное выступление и сказал Степе: «А я знаю, что Вадим сегодня...» Потом был я (в следующий раз укрылся) на обеде после выборного собрания в ПЕНе, где вдруг Тавернье\* встал и громко меня чествовал под всеобщие глупые аплодисменты. И т. д. и т. п. Но интервью не давал, заявлений не делал. Да мало ли что могло до них дойти? Эта странная адвокатша, которая хотела заниматься делом Фельтринелли\*... Нет, они с самого начала не были во мне уверены, а вскоре после приезда были уже недовольны. Твое ходатайство (первое) восприняли как попытку бегства. «Шестерка», с которой ты, так сказать, общалась, не может быть в курсе тайных донесений. А шпионов и доносчиков у них тут — легион. Нет, прекрасно, что книжка издана. Прорвался нарыв. А то бы — представляю! — спокойненько через 3–4 месяца вернулся, начали бы меня (после «легкой» беседы, благодушно) «устраивать» в Союз писателей, даже заботились бы: позволить Козовому издать антологию французской поэзии в прозе за 150 лет; включить в план избранные переводы Козового в одном томе; разрешить книгу статей Козового о французской литературе; нам нужна — пусть Козовой сделает — антология французской поэтики и теории литературы, пусть включает, что хочет; необходимо срочно перевести — опять Козовой! — произведения выдающегося французского писателя Мориса Бланшо (и все это — на фоне царящего в издательствах террора и повсеместного страха). А одновременно: «Вы не могли бы (во время очередной беседы) написать для “Лит. газеты” свои впечатления о Франции? Вот-вот, это отлично, а это, пожалуй, стоит убрать. А вот формулировку заменим. И больше “борьбы за мир”». И пошло, и поехало. Никто бы мне не предлагал прямого сотрудничества, но, зная, что

снова захочу поехать, кое-какие уступки, конечно же, предложили бы. Дальше съездил бы... На меня бы тут косились (не все, не все)... А потом: отчет в ССП, вступление на какую-нибудь мелкую выборную должность... И позволялись бы мне даже кое-какие выходки, лишь бы генеральную линию сохранить: на сотрудничество с «французской культурой». Вот видите, есть у нас такой сорвиголова! Прощай, поэзия, прощай, стыд и совесть, а потом, неизбежно, и выходки прощайте.

Вот если бы приняли меня таким как есть (в том числе с третьей книгой, куда, скрепя сердце, внес бы несколько исправлений, но оставив «Древо Люция») — тогда, значицца, поворот руля к совершенно небывалым порядкам. Ура товарищу иксу! И ура его сотоварищам игрекам! Без никаких самоуправных и дерзостных шуток. Всерьез! И на такое государство замахиваться не стану, требуя, наподобие неумных поляков, свободных выборов. Нет, это уже не мое дело. Я пришел из другой эпохи, где цена человеку, будь он хоть перлом мироздания, не более полукопейки. Удовлетворюсь своим словом и своей тесной клеткой, от которой ведь некуда деться и в новых Афинах, и в Новом Афоне... А то ведь, может быть, ты и права — наверное, вчитывается и видит не только учреждение пирамиду, куда уносят отпечатки с фонаря, но и «кусочек народного знамени. Темя — темени, вымя — вымени. Этот — всем». Да еще и «следователь по особым делам пред смертью рассыпчатый». Да еще «за полушку сфинкса». Так и вижу: уперся в сфинкса — гадает. А ведь ответ должен дать совсем как в древнем мифе — назвать себя. Как видишь, мое бешеное перо на лету разгадало собственные строки — без комментаторов. Думаю, и Сыдалин, который то куксится, то улыбчив и стягивает сапожки, показывая носки, связанные сообщными усилиями, — нет, этот Сыдалин им не по душе. Душа-то у них есть, и она томится: ей надо, чтобы ее полюбили!

Довольно!

Из foyer мне сообщили, что Боре подарят на Рождество приемник! Говорят, что он спокоен и к нему все хорошо относятся.

Перечитал Андриюшин рассказ: замечательно. Я его немедленно переведу (уже готово в голове) — и увековечу. С необходимым комментарием (тоже молниеносно созрело) о самом главном. Этим и открою мое чтение. А комментарий — так, в нескольких словах нужно суметь сказать обо всем (le tout). Так умел говорить Толстой в своем букваре и особенно в сказках (точнее: историях) для детей. Эта проза в моем *choix français*<sup>1</sup> отсутствует. Погодите. Но вот чего хочет мой мальчик... Т. е. он хочет всего, и в нескольких словах он сумел это сказать. Нам нужно все — и не менее: и эта великая ненасытность, которую за неосуществимостью прячет от нашего сознания всеми своими закоулками хитроумный мозг, — поэзия это проговаривает до конца... Еще и не начав говорить. Ее первое слово — осуществленная сбыточность вплоть до последних голодных краев мира нынешнего и навеки грядущего. Ее слово, заклинание идиотки, на которую перестали даже оглядываться, так она примелькалась в своей дырявой никчемности, бормочущей свое про себя. Умствующие понапрасну пытаются подражать ее голосу, ища «дачу с участием яблочного многоденствия», и глупцы надевают ее тряпье, швыряя камни в каждый клочок ее голого тела, мелькающего в темных углах там и сям на улицах людоедского города. Тщетно! Голое и дырявое болит у ней не из-за каменных швырков, а потому именно, что тут-то и спрятано, открытое ребенку, бесконечное в своей полноте, щемящее и гогочущее многоголосие мира. «Слово короче звука» — об этом. Слово поэтического заклинания, единственное, более вместительно, нежели все, что в этом мире было, будет и есть.

---

<sup>1</sup> Французском избранном (*франц.*). — Имеется в виду «Hors de la colline» («Прочь от холма»).

Но надо стоять ногами на земле. Бдительность утрачивали мы оба, но невозможно всю жизнь жить по законам скрытничества и подполья. Нет, судить легко лишь тем, кто ничего не делал и вечно жил в безопасном углу. Однако, Ириша, есть разумные границы, за которые выходить без надобности излишне. Одно дело — поэзия: тут судьба, деться некуда, как бы ни старался я (тщетно!) найти наименее болезненное решение. Другое дело — телефонная и почтовая болтовня, как, например, о книгах, посылаемых отсюда (с самого начала). Ты напрасно принимала «компетентных товарищей» за простачков, которым на все наплевать (до определенных масштабов). Я не сомневаюсь, что Б. лично требовал с первых же дней «отчетов» о моем тут пребывании. И он мне не доверял, а между тем ведь положил на весы свой «авторитет». Можешь мне поверить: когда ты в первый раз подала документы на поездку, ответ не был автоматическим. Все имеющиеся данные были приняты во внимание, а какие формулы употреблял «молодой человек» — это дело десятое. О резонах он мог иметь лишь смутное представление. Здешняя (да и не только) часть «данных» приходила к Б. из другого департамента, к которому и приближенные пешки доступа не имеют. Как действует эта машина, я могу догадываться. Я ведь о тебе говорил (получив кое-какие туманные заверения), мое заявление, поданное в консульство, было достаточно красноречивым, твердость мою — и непредсказуемость! — знают... Так что выбор был непрост и никакой импульсивностью объяснять его не следует. Выбор негодный, скверный просчет... Но выше себя не перепрыгнешь, оставаясь шестерней, пускай даже главной, в налаженной десятилетиями машине. Даже думая про себя, шестерня делает чужое...

Но думает ли свое? Я тебе в этом дневнике уже описал планы «приручения»... И они-то, столь мелочные, были на грани дерзости, учитывая нынешнее положение, Польшу и т. д. Осталось ли место для какого-либо заигрывания с западной ин-

теллигенцией и культурой? Не думаю. Эта игра выглядит страшным (и более чем странным) анахронизмом, унаследованным от 60-х годов. Понимаю, что Б-у бывает нелегко, но ничем помочь ему не могу. В связи с последним перемещением его положение, видимо, упрочилось — и вероятно, попытки такой игры снова и снова будут предприниматься, но нынешняя мировая ситуация (по чьей вине?) никак этому не способствует. Мы перешли к тягчайшему и затяжному кризису, поскольку определенная (в том числе имперская) система достигла границ своих возможностей. Вся задача (для «умного правителя») должна бы состоять в том, чтобы умело пойти на попятный. Однако за последние 25 лет (еще при Хрущеве, но особенно в 70-е годы) создан такой тупик, что никто и никак не сумеет (если бы и захотел) вынуть хоть одну карту, не разрушив весь карточный домик. Оставляю в стороне историю последних 65 — и более! — лет. Это — иная перспектива... Что же остается? Менять персонал, демонстрировать твердость намерений, грозить и шантажировать... Сознывая, что дело-то скверно! Думается мне, кое-кто сознает... Поскольку страна моя и душа по ней изнывает, и сердце за нее болит, я не могу относиться к происходящему со злым вчуже равнодушием. Чувство гнета знаю прекрасно, ненависть тоже отлично мне знакома, но последнее слово не за ней... Надеюсь, что это в «Холме» ощутимо... И конечно же, в третьей книге. «Цензура — балагура» — рифма гадкая, при всей моей любви к Пушкину и частичном понимании такого сопоставления. Когда подумаешь об эмиграции и сравнишь ее с тамошней Россией... право же... Но... но... но... Какова бы ни была моя поэзия, в том числе и самая свирепая (на душе тумба!), но один факт невозможности ее издания в Москве видится мне роковым проклятием и для меня, и для Вологды с Костромой. Нет, не научился я примериваться и по-прежнему гляжу на эту, казалось бы, очевидность с недоумением и по-детски с болью. Поверь, нет тут

никаких натяжек. И никакие умники меня не образумят. Нет для меня очевидностей! «В надежде славы и добра...» — строки явно глупые, но великий поэт не мог жить без такой глупости... Как не мог и не смолкнуть затем, а потом (печальная, но не постыдная страница) не обманывать себя мастерским стихописательством и натужной, в будущее не заглядывающей, отдающей нафталином прозой. Ты уж прости, если больно читать. Но во мне говорит — и тут! — благодарность за то, что есть, а не раздражение на то, чего нет. Вечное упоминание строк о «неслыханной простоте» приводит меня в ярость. Настоящий Пастернак предельно прост и ясен, как всякое дыхание травы и веяние облаков. Но он как будто запомнил, что был некогда частью природы — как Лермонтов и Тютчев... Той природы, у которой нет «никакого прочего объяснения». Дальнейшее — пытаюсь понять (как уход Рембо, дуэль Лермонтова и Пушкина, попытку самоубийства Фета, адскую муку Хлебникова), ибо такому пониманию нет никаких законнических (в том числе и моралистических) границ. Мне это позволено, а критику Пипкину или Попкину запрещено. Разумеется, не могу я требовать от поэта дуэли или самоубийства (вот еще посмотрим...), как не могу требовать от заданного народа (пусть «плуты и прохвосты», пусть! ведь не все... ведь одной муки достаточно, одной безмолвной слезинки, чтобы всех принять) — не могу от него требовать «массового восстания» и «активного сопротивления». С поэтом я говорить могу, с народом я говорить умею, а вот эти посиделки да чириканы за столом... В последние годы бежал как ошпаренный (см. «Окаянство»). В 1975–77 гг. что-то круто во мне перевернулось и завертелось чертовым колесом — и останавливается лишь для недолгой передышки. Ты долго не хотела понять. Спасская — конкретный жизненный вывод... И потому так мучительно о ней думать. Но вспоминать нужно честно: лучшее написал на Потаповском, даже из третьей книги (за редкими — были! — исключениями).

Ты уж не обижайся, но почти всегда писал в ваше отсутствие (и Мишо поймет, и Морис, и Жак) — правда, страстно ожидая твоего возвращения, чтобы прочитать (и в письмах посылал — помнишь?). Всегда необходимо было тебе почитать и НИХу. Больше — никого. Впрочем, и Левке читал (и даже какие-то автографы дарил). Казалось бы... Никакого эха (да еще Лена Богатырева) — но тут? Из русских — один Сувчинский. Да остальных и не вижу. Степан, думаю, и не заглядывал в книгу... когда что-то о поэзии говорю, хмыкает и отмалчивается. Это все я знал, но — тяжело! Читал я здесь свою поэзию (т. е. по-русски): 1. Сувчинскому (не забуду этого восторга, руки мне целовал после песни (Ремизову) и «...а мне много не надо райские кущи...»); 2. Мишо (по его просьбе, несколько раз — любит слушать мое чтение, но я себя чувствую глуповато). Хотелось бы позвать каких-нибудь русских на 12-е — КОГО? Степа говорит: «Позови Наташу Г.». Может быть... Майя придет (и «на людей посмотреть»), Андрей — нет (ведь «по-французски»... хотя прочту и по-русски)... Дома у них дикий бардак, Майя работает зверски, раздраженная, однообразные шуточки, и вечно кто-нибудь гостит с «интеллигентскими» разговорами за пятиминутным столом. Андрей запирается у себя наверху — как в осажденной крепости. Впрочем, я и с ними общаюсь крайне редко. Добиться от Майи какого-то документального оформления наших авторско-издательских отношений крайне трудно. Деньги она получила немалые, но выложила и свои — хотела красиво издать и готова печатать третью. Нюх у нее есть (потому и Лизе Мнацакановой послала мою книгу, Е. Гуро хочет издать, Хармса и т. д.) и за сделанное для меня — спасибо!

Холодно, сыро, ветер воеет, дождь промозглый — паршивая зима; в берлоге моей томительно и неуютно, ноги стынют, голова вянет, да надо Борькой заниматься (тысячи мелочей), готовить его к очередной поездке с центром (предупредить foyer),

а потом и к поездке с foyer... Накатал письма (с картинками) тебе, Андрюше, маме; м. б., друзьям напишу.

Долго болтал по телефону с Сережей Артамоновым\* (муж Наташи): он упрекает меня за то, что ни разу к ним не выбрался. В Медон! Когда-то заехал к ним на несколько минут со Степаном... но и Степана-то вижу раз в полгода. Сережино предположение: статья в «Лит. газ.» — потому что решили, что не вернусь. Но я ему разъяснил, оперируя фактами: книга, намеки и т. д. С Никитой тоже говорил, который на меня давит и уговаривает не совершать безумия (т. е. возвращения). Но у меня свои резоны... пока стараюсь всеми силами вас вытащить... но дальше-то что? Стар я стал и к этому миру приноровиться вряд ли сумею; если бы еще быстро устроиться, если бы какие-то деньги были, работа — хоть какой-то круг близких... Нет, не иду я на попятный (некуда!), но ежели до лета не приедете... повторяюсь! Борька в средней форме, к foyer привык и т. д. — но конечно же, разлука с тобой и с привычным миром его гнетет неопишимо. Ну, а в Москве что бы с ним было?

Ты мои восторги принимай с оглядкой. Прислушивайся лишь к холодным наблюдениям. Мишо вижу в основном по делу; относится он ко мне, конечно, дружески и, по поэтической линии, даже более того, но приятельских посиделок избегает и по музеям, как прежде, со мной не расхаживает. Сувчинскому все же 90 лет! Морис завершил свое последнее письмо каким-то странным: «Adieu, très cher, reût-être adieu sans retour» — «Прощайте, дорогой друг, быть может, НАВСЕГДА» (это меня цитирует — обращенное в эпитафии к пирамиде) — и дальше, под занавес, клянется, что пока будет биться его сердце, оно будет биться по нас (все поименно — и обо мне еще красиво: «Celui à qui il... de parler pour nous tous jusqu'à la fin, de trouver et de soutenir le dernier mot») («Тот, кому суждено говорить за всех нас до самого конца, найти и сдержать последнее слово»). Подзреваю, что ему уже не под силу эта переписка.

Кстати, третья книга, видимо, будет называться «Поименное». Но появится ли она? Не уверен..

Фета читаю: как яд... так и пахнуло Россией... дивный, дивный! Это я нарочно написал «фетовы с блеском дубинные глупости». Умен он был чертовски, а в поэзии истинно глуп, т. е. свех всякого ума.

Нелегко тащить груз чужого несчастья. Мишо — мое видит... и при всем сочувствии (именно) незаметно и неотвратно пролегает граница. Что уж о других говорить... Хорошо бы мне сюда раз-два в год наезжать: были бы великолепные и насыщенные отношения с теми, кого ценю. Иначе...

Каким бесом угораздило меня родиться в такое время в таком мире? Не я первый, не я последний (м. б., один из последних). Тропенция... Один экземплярчик своего приглашения хочу тебе послать — там три перевода (а для друзей — и три автографа): не суди строго. По-французски «гор-ли-дыня» неосуществима, а ОБЕЗГОЛОСЕТЬ — нетути. Акцентность и интонационность пропали начисто, и полтора года меня переводившие (сам перевел, в сущности) Жак и Мишель вряд ли догадываются о ПРИРОДЕ этого слова. «Объяснить» стихию языка невозможно: это и с Морисом почувствовал... лучше всех, мне кажется, проник Мишо. О русских чурбанах и олухах нечего говорить.

Да и то ведь... по-французски «Откуда взялось» выглядит пышно и цветисто (не без едкости), а по-русски... завалившее стихотворение (как половина первой книги), без которого и я, и всякий другой легко может прожить. Лишь 2–3 раза (особенно «Костина вариация») взялся я (и довел до конца) за неподъемное... Что же вышло в результате? Судить мне трудно. М. б., какой-то «новый АРТО\*»... Бешенство, ярость, сухость, «выразительность» — без чего? Написал выше. Конечно, — как того хотел Мишо — часто чувствуется, что уж очень не французское (хотя по-французски, а не на собачьем...), но что осталось от

«Узко — не разминуться»? Такого наворотили! «Гаденыша» не найти, «из последних силенок» — шиш! В самой сухой и стенографической краткости запечатлеть чувство пронзительное, играющее на тысячи голосов... а совсем не «пугающий» образ. Кому он нужен? Меня, например, в Пастернаке совсем не приводит в безумный восторг избыточность образов, которыми упивается Лихачев. Но когда (почти всегда в лучшие годы) эти образы пронизаны насквозь пульсацией ритмического ощущения (природа), которое, минуя глаз, ошеломительно переходит в чувство (человек) — тогда принимаю всеми прожилками. Хлебников такой спрессованности не знал, потому что жил ИСТОРИЧЕСКИМИ тысячелетиями; один вздох его прозы вбирает (не всегда, говорю о лучшем) всю неразгаданность инков, чтобы выдохнуть громадинами фараонов, попутно насытившись Гоголем и казацким разгулом... ЭПОХА ПСАММЕТИХА — это Хлебникову родственно. Но не: «с эпохи...»... Этого отстранения Велимир бы не принял. Вещи Пастернака закончены, а Велимировы — не имеют конца и порой монотонны, как изначальное движение языка из никуда в никуда; его ритмы, кажущиеся поначалу однообразными, с легким шатанием и раскачкой, надо уметь воспринять (на слух!) в иных измерениях, которые человеческому музыкальному инструменту вряд ли доступны. Кое-кто в музыке, вероятно, пытался этого достичь, но я тут не судья. Вместе с тем: внеисторический Пастернак ВПОЛНЕ историчен (ибо — все же! — психологичен), тогда как свержисторический Хлебников абсолютно надысторичен (до-? Но только не А- и не ВНЕ-), будучи лишен психологического начала. Ах, достать бы сборник этой прозы! Голод, голод по книгам! Только с ними можно дружить ДО КОНЦА.

Поразительные фрагменты Кафки — но какая, в родстве с ними, праотеческая бездна: гоголевский «Фонарь умирал...» (НИХ любит; помню, как поразило меня — и его — это совпадение в ЛЮБВИ). Оттуда это «существо вне гражданства сто-

лицы». Попытаться бы перевести! Вот прекрасная идея! И написать «по поводу» — свое.

Мишель мне без конца напоминает и о тексте для его журнала, и о «лекциях» по русской литературе. Последнее было бы явно возможно (и даже полезно внутренне!), если бы здесь были у меня книги и дом. Обошелся бы и без их университетов, в которых, кстати, на рабочее место надеяться нечего (и слава богу! Этого мне не надо).

Какие нужны мне книги? ВСЕ. Поэзия, «классика», философия, теория и история искусства, литературы (особенно русской), старые журналы, лучшее и самое разное из мировой литературы, кое-какие книги по искусству, мемуары, история (особенно русская — но не только!), энциклопедии, словари, любимые издания (футуристы и др.) и т. д. и т. п.

У меня достанет сил, чтобы выполнить роль живого моста от русского богатства к богатствам иноязычным. Десятилетия славистики на бледном (мало сказать) русском фоне привели к полному туману и порой — мертвечине. Когда-то такая роль в Москве мне мерещилась. Сейчас, казалось бы, я с еще большим основанием мог бы на нее притязать — и с нуля «развернуться». Говорю спокойно и трезво, без мегаломании. Однако та же трезвость заставляет видеть ясно: 1) отсутствие русскоязычной почвы (скажем: навоза — в положительном смысле), без которой такие притязания утопичны; 2) отсутствие почвы французской, куда могло бы упасть русское семя (Морис тоже пишет о деградации языка и мысли): полнейшее и, быть может, наихудшее безвременье.

У меня нет иллюзий насчет собственной «эрудиции»: читал я всегда случайно — и проблемы чудовищные. Как нет и иллюзий в отношении опубликованного или упомянутого тут за долгие десятилетия: не все, разумеется, но очень многое введено в узкий научный обиход. Задача иная: попытаться преодолеть «Запад есть Запад, Восток есть Восток» через (и ради) своего

собственного. Может быть, скверно и нечленораздельно выражаюсь. Иначе сейчас не могу. Но не случайно (правы!) и Морис, и еще кое-кто настаивали на том, чтобы я, например, высказался о русской поэзии. Вот это (вижу сквозь туман...) могло бы как-то перемену местожительства оправдать. Но как сказано выше, обращаться НЕ К КОМУ и НИ ОТ ЧЬЕГО ИМЕНИ говорить невозможно.

От Мориса письмо; пишет о своей любви к Мишо: *toujours supérieur à lui-même*<sup>1</sup>. А Шару, видимо, не может меня простить. Объясняемся, строим догадки и т. д. Он очень волнуется (понял многое) за твое тут будущее. Насчет моей возможной встречи с президентом он написал тебе в расчете на цензуру.. Шансов на это пока немного. Но они имеются, да и без встречи необходимое будет сделано.

Был у Жерара, который через три дня отправляется с Никола в Москву. Волнуется... Он отлично все понимает; можешь с ним поговорить по душам.

*Левик Вильгельм Вениаминович* (1906–1982) — поэт-переводчик. Также профессионально занимался живописью.

*Сергеев Андрей Яковлевич* (1933–1998) — поэт-переводчик.

*Фрейденберг Ольга Михайловна* (1890–1955) — литературовед, филолог-классик. Двоюродная сестра Б.Л. Пастернака, переписка с которым опубликована Э. Моссманом в 1981 году в США.

*Алешинский Пьер* (р. 1927 в Бельгии) — французский художник.

*Занд Николь* — в те годы корреспондент газеты «Монд». Десять лет прожила в Москве.

*...мое чтение 12 января...* — Выступление Вадима Козового при участии Мишеля Деги и Жака Дюпена состоялось 12 января 1983 года в аудитории Музея современного искусства Парижа..

---

<sup>1</sup> Всегда выше себя самого (франц.).

...но Мишо его не принял... — Вадим ошибается. Мишо принял Евтушенко зимой 1982 года и беседовал с ним три часа. По словам Алена Боске, сопровождавшего Евтушенко и переводившего их разговор, эта встреча была «диалогом глухих». Евтушенко долго говорил о том, что у него 600 тысяч читателей, что он пророк в своем отечестве, что народ говорит его голосом и т. д. Мишо насмешливо ухмылялся: «Поэт всегда себя ищет, он себя не знает, он идет на страшный риск одиночества и ненужности, а “другие” — лишь страшная помеха. Он зарывается вглубь, не показывается на поверхности, читатели ему мешают, он их не выносит. Даже в пустыне слов он не царь, ибо они пожирают его как падаль под черным солнцем». «Эта встреча не была столкновением минений, — продолжает Боске, — это был просто “спектакль”, на сцене два борца, у которых нет ничего общего — ни мысли, ни культуры, ни взгляда на поэзию». Под конец Евтушенко стал умолять Мишо разрешить ему — только для него самого и его беременной жены — сделать одну фотографию и даже бросился на колени. Роковая ошибка. «Встаньте, Евтушенко, вам не хватит колен!» (Vous n'avez pas assez de genoux.) J.-P. MARTIN. Michaux.-Gallimard, 2003, p. 656.

«Учитель» — Инесса Захаровна Малинкович (1928–1992), преподаватель английского языка в школе, где училась Ирина Емельянова. Близкий друг семьи Козовых. В 1974 году эмигрировала в Израиль; автор книги «Судьба старинной легенды», издательство «Восточная литература», Москва, 1994.

*Тавернье Рене* (1915–1989) — литератор, политический деятель; участник Сопротивления. С 1979 года председатель французского ПЕН-клуба.

*Фельтринелли Джанджакомо* — итальянский издатель, опубликовавший в 1957 году роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»; владелец авторских прав на это произведение. См. подробнее: «Легенды Потаповского переулка», Эллис Лак, 1997.

*Артамонов Сережа* — зять редактора издательства «Прогресс» Б.В. Шуплецова (муж его дочери Наташи), друга О.В. Ивинской и семьи Козовых.

*Арто Антонен* (1896—1948) — французский актер, режиссер, художник, поэт. Выдвинул идею «театра жестокости».

## 1982 НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

Ириша любимая,

к драке я готов, но устал... и не на что (в повседневной жизни) опереться. «Жизнь конечно потеха необязательная...»

...Вчера утром вручил Бересу наши с Мишо подписанные контракты — и получил авансовый чек на 10 тысяч франков. Берес в восторге, так как Мишо ради меня обязался выполнить и 10 гуашей (дар неслыханный), а Морис написал ему (издателю), что моя книга станет событием. Дружба и встречи с Мишо для меня спасительны (он это знает и чувствует). Действительно — гений... о чем вчера и Сувчинский говорил (наконец встретились). Для НИХа Мишо подготовит специальный подарок; я ему передал отклики НИХа на «Saisir» (в том числе «готтентотский ритм» — понравилось); НИХа мне не хватает ужасно, а для Мишо мои друзья — его друзья. В мою поэзию он теперь верит как никто, интуитивно угадывает вплоть до невероятного. Начинает работу для книги... О тебе говорю ему без конца, Андриюшины фотографии показываю, порой хохочем, как бывало только с НИХом. Ума палата.

Сувчинский написал короткий (по-моему, отличный) текст, который можно поместить и на задней обложке книги (по ее выходе в журнале), и по-русски где-нибудь напечатать. «Холм» (я видел) зачитал до дыр. Может быть, мой единственный здесь настоящий читатель. Вот тебе его текст:

*«Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые.  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.*

*Эти мощные и бездонные тютчевские строки (но как их перевести на другой язык?) оживают ныне по-новому.*

*Взрывчатое, небывалое русское поэтическое пиршество, начавшись задолго до 1917 года, давно завершилось и отделено от нас чередой долгих десятилетий.*

*Прошло три поколения. Роковая минута приходит вновь, а с нею вместе — ее поэт.*

*В стихотворениях, прозе, театре Вадима Козового звук и смысл, интонация и артикуляция, функция фонетическая и логика лингвистическая порождают, единые и неразделимые, сознательным или бессознательным взаимодействием, загадочнейшую стихию ПОЭЗИИ. Она — в этом голом, неожиданном, из дальней дали несущемся голосе, с которым доносится к нам воскрешенное слово.*

*Пьер Сувчинский»<sup>1</sup>.*

После оборванного телефонного разговора написал тебе короткое письмо. Тревожусь за тебя, понимаю твою тревогу — но чего ты от меня требуешь? Нельзя, недопустимо поддаваться их логике и смотреть на них, как кролик на удава; если так, то не стнай и не проклинай страну, в которой «больше жить невозможно». По телефону намекнул, но выразусь яснее: «письмо» в газетенке может означать, что вас выпустят. Импульсивно, грубо-раздражительно эти господа не действуют. Там в письме сказано ясно: В.К. — Аксенов. Т. е. «ты нам больше не нужен». Повторяю: ход довольно элегантный (во фран-

---

<sup>1</sup> В оригинале текст по-французски. — *Прим. сост.*

цузском смысле). Как сказал Лаврентий Палыч: «Кто не видит, тот слеп».

Разумеется, тебе, проработавшей 20 лет в Музгизе и живущей в той же квартире, где ты родилась, нелегко понять мою растреклятую неприкаянность. Здешняя моя чертова жизнь, бесприютная и страдальческая, тебе, видимо, представляется раем: свобода, магазины, Париж и «встречаюсь с Мишо». Увидела бы ты... и в конце лета больше жить будет негде. О любви моей искровавленной повторяться нечего. Андрюша, ты... «Однолюб»? Нет, не совсем так. Как тебе известно. Но в этих условиях и обстоятельствах вот уже полтора года, как все во мне окончено.... И ведь есть несчастные (ЩАРАНСКИЙ\* и другие), которые страдают в тюрьмах и лагерях — понимаешь ли ты, как мы выглядим на этом фоне? И ты не решаешься сделать минимальное усилие — написать заявление на две странички.

...Ах, кисанька родная, начал за здоровье, кончил за упокой. Хотел написать тебе бодрое и решительное — и вот снова увяз «в трясине слез» (бесконечное самоцитирование).

Позвонил Жоржу, хотелось поделиться, несмотря на его отсутствие. Аннушке его (милая девчушка — но с характером) я давно обещал свою французскую книгу, если выйдет. Она все спрашивала: «А что ты пишешь? А о чем эти стихи? А ты подаришь мне свою книгу?» Е. б. ж., подарю.

Да, «L'Enfant de la haute mer»<sup>1</sup>... Как точно ты сказала! На рассвете сегодня снились мне Андрюша и папа. А ты — позавчера. Ночью и днем — только о вас. Но отступления нет. «И, полюбив немедля махонького прохожего, я ненавижу люто, на том и этом свете, их подзаконный офонарелый мир». Эх, молодец В.К.! Книга есть... и им ее не стерпеть! Если у тебя появятся чистенькие (без посвящений) экземпляры, раздавай кому хочешь, по своему усмотрению. Мой читатель — там, и са-

---

<sup>1</sup> «Ребенок в открытом море» (франц.) — рассказ Ж. Сюпервьеля.

мый дорогой — тот, которого не знаю. Майя отыскала экземпляр, который я надписал Лизе Мн., — пошлет.

О книге НИХа в «Le Monde» написал Жорж. Еще не появилось... Я написал бы с радостью и как надо (Морис, Мишо, другие давно «нажимают»), но пока вы там, невозможно... а дипломатничать и заниматься самоцензурой особенно нелепо. Но третья книга — как гиря на сердце. Если от нее избавлюсь (т. е. напечатаю), уверен, что прорвется нечто совершенно новое.

В этом смысле трезвость есть. Конечно, необходимы одиночество, отрешенность, сосредоточенность, «наедине с собой»... но не в такой адской с вами разлуке, не в такой изнурительной тревоге. Немножко покоя!!!

Телефонные разговоры. Их, разумеется, записывают и слушают. Однако прерывают, кажется, «автоматически». Кого-то предупреждали: «Не более 5—6 минут». Надоели!

Ириша, солнышко, когда я говорю «не автомат и не марионетка», это не угроза и не декларация в чью-то сторону. Совсем напротив. Внутренне во мне живет смирение и готовность признать силу, которая мне не по плечу. Сознательно — не воитель. Все получается как будто вопреки моей воле... не могу я с ними ужиться, «слишком» много мне надо. Вспоминаю, как остро это переживал перед отъездом. Опять же процитирую себя: «...и выпустив пленников на свободу любви, приспособился блошкой в тайную дырочку». Хотел бы... но одно с другим сочетается только в сказках (помню, как Андрюше понравилось).

...Чего же ты хотела? Чтобы я не узнал о «Лит. газете»? Но ведь это меняет в корне нашу ситуацию. Мои необузданные реакции? Но ты, видимо, недооцениваешь мою тревогу за вас, мой трезвый взгляд на положение и глубину моего презрения к московским «нравам» и «писаниям». *Toutes proportions gardées*<sup>1</sup>, вспомни поведение своей матери (зафиксировано

---

<sup>1</sup> При всем различии (*франц.*).

в мемуарах) в 1958 году.. Я ее не сужу и не осуждаю несколько; все мы люди, а на ее долю выпало столько страданий... Однако нельзя же оставаться слепым. «Личная злоба»... но что же я, по-твоему, должен делать, чтобы эту злобу умерить?

...Морис — твой защитник. У него на расстоянии возникают странные идеи. Так, например, он не понял моего письма и решил, что я требую от тебя написать протест (!!) в «Лит. газету». Вообще жизнь в СССР, конкретно, повседневно, с ее реальными возможностями и опасностями, представляется здешнему наблюдателю чрезвычайно туманно. Конечно же, мне наплевать, получила или нет (уверен, что получила) «Лит. газета» ответные письма действительных читателей. Но Морису кажется, что такие письма крайне (чуть ли не смертельно) опасны для отправителей, что они могут быть только анонимны и т. д. Это — лишь маленький пример.

Однако для искушенного русско-советского человека неясностей тут быть не может. Думаю, что я разгадал сигнал безошибочно и что мы воссоединимся.

Как хотел бы тебя успокоить! Чувствую твою взвинченность и тревогу и порой — хотя не за что — проклиная себя последними словами. Эх, жизнь... А тут еще кремленологи разбушевались: пишут всякий вздор, гадают на кофейной гуще... сов. дезинформация работает всюю... Понятно и нетерпение: так хотелось бы, чтобы наконец произошло нечто в безмятежно-гниющем царстве... «Море и утес». Морис видит вещи трезво. Но в частных случаях перемены могут произойти (мы, например). Так или иначе, здесь или там, мы в ближайшие месяцы (лето — крайний срок) все будем вместе. «Море и утес»? Увы, и моря нет больше, давно пересохло.

Пытаюсь (пока Мишо не подготовит иллюстраций) перевести еще кое-что. Читателей тут мало или почти совсем нет — однако заметят (и Берес полон рекламных прожектов): не хочу

выглядеть голым королем. Но как заставить плясать этот стелющийся язык? Бедные Жак (Дюпен. — *И.Е.*) и Мишель (Дегги. — *И.Е.*)... настрадались они со мною, извел я их своей требовательностью. 12 января буду с ними читать переводы (и немножко — по-русски) в Музее современного искусства (парижском, т. е. не Помпиду), где проводятся раз в месяц такие чтения. Надо составить список для приглашений и выбрать текст. С Жаком сегодня говорил: составляют (его дочь — юрист) на его имя доверенность... чтобы в случае чего, он мог получать и хранить причитающиеся мне за книгу суммы. Если вернусь в Москву... Знай.

...«Родительское собрание». Еще раз ВОСХИЩАЛСЯ отличным «коллективом» (их было больше, чем родителей). ОЧЕНЬ умный психолог — музыкант, всерьез умный (все там и преподаватели, и воспитатели, и психологи одновременно). О Борьке говорил чрезвычайно дельно. Никого на музыку (обучаются разным инструментам, выбирают сами, но всегда в группе, вместе) ходить не заставляют. Вообще ничего НАСИЛЬНО не делают. Боря после гитары выбрал контрабас (хотя особенно важны для «завоевания пространства», «самовыражения» — в этом цель — духовые), наигрывал какую-то (цитирую) «глубокую жалобу», а потом вдруг перестал ходить... И этот музыкант, и другие повторяют: «Нужно время, нельзя терять надежды, у него, без сомнения, очень сложный и богатый внутренний мир — возможно, однажды он прорвется наружу». В свободное время Борька читает там (сам выбирает) книги по истории, но отвечает ПИСЬМЕННО — и всегда безошибочно; знает много. Баранес улыбался, слушал меня внимательно... посмотрим, что скажет во время нашей встречи в пятницу. Я бы очень хотел, чтобы Боря эту клинику посещал до 20 лет (их предел), т. к. лучше ничего не найдем. Но для этого нам надо быть тут.

...Николь Занд умеет отлично писать. Статья о книге «Павлика» Тореза — Артек и шире, и дальше... — написана просто с блеском, ни одной фальшивой ноты, понимание страны превосходное. И тон верный, и факты с короткими, без пошады, характеристиками — но никакой злобы к стране и народу. Это тут редкость.

...Сегодня Боря сказал: «Да-да, как будто все во мне заперто на ключ» (впрочем, не так складно). А что заперто — загадка. Страдание его чувствую, как собственную рану, и мать ему заменить не могу. Но и при тебе? Каков он будет теперь? Выносит он борьбу с чужой языковой стихией по-геройски — чего она ему стоит? Вижу на других примерах (Никишкин приемный сын и др.), что это и для нормальных, куда более юных детей — испытание преогромное. Да и по себе знаю, как бы «свободно» я ни изъяснялся по-французски... по-настоящему объясниться не умею, словно не напрямик (даже — именно! — в моем захлебывающемся «барокко»), а какими-то протоптанными не мною окольными путями. Утешаю себя мыслью, что и в Москве говорить на своем русском почти ни с кем не мог. Утешение слабое... Здесь — совершенно не с кем. Терпи, казак.

...Звонил Борька. Рассказал, что смотрел комедию с Фюнесом — понравилось, смеялся. Сам позвонил Степе и договорился насчет визита к ним.

Был в магазине Гольденберга. Оказывается, кассирша жива. Дорого там, но зато какой выбор! И атмосфера (во всем районе) почти семейная. Покупаю немного и всегда одно: несколько блинчиков, банку селедки в сметане, сытный и вкусный творог с изюмом и 3—4 струделя. Но теперь бываю там крайне редко — лень и экономия. Шныряет вечно деловой Гольденберг. Обедают завсегда и туристы-евреи. Никакой тебе (почти) кошерности. Хотя свинину, разумеется, не продают.

Арестован (в связи с прошлогодним покушением на папу) болгарский гражданин Иванов-Антонов. Мало им зонтиков...

Ириша, на Спасской были не только архивы, но и масса превосходных книг (с автографами, надписями мне), русская поэзия... Господи, стыдно признаться, но жалко мне до слез этого едва обжитого угла... Даже по машинке страдаю... Но как быть? Устал обо всем этом думать.

Писать предисловие для «Галлимара»?.. Да представляешь ли ты, какую жизнь я вел тут, особенно поселившись вместе с Борей? Его «пропажи», мучительное привыкание, беспомощность, мои чудовищные хлопоты, бессонницы, отчаянье, неустроенность... Какая уж тут работа! Даже в консульстве (говорил о Чехове) как-то сказали: «И вы еще можете работать в этих условиях???» сочувствующие... завтра получают приказ — и заговаривают другим голосом.

Живу как на бесконвойке... А ты мне по телефону плела какую-то околесицу (не стану цитировать), и просила в письмах не писать страшных угроз вроде «как аукнется...» Мол, тебе на нервы действует, а они не читают. Читают! Нет у тебя правого гнева, а вот ОНИ его понимают. Я в консульстве летом изрек страшные угрозы — ответ: «Да-да, я с вами согласен». Вот так. Сохраняй взгляд свободного человека, даже если находишься в рабстве. Иначе никто тебе тут сочувствовать не будет и помогать тоже.

Рассказывают мне историю о перебежчике (переводчик в ЮНЕСКО): он с ума сходит без семьи. Его жена попала в больницу — он хотел покончить с собой. Также предпринимаются всякие демарши. Это каждому понятно, а вот турысы на колесах по поводу поэтического сборника непонятны никому.

...В отношении «Холма» тебе трудно понять, как развивались события. Собираение денег, а затем издание растянулись на год. И с самого приезда я жил в полной неопределенности, не зная, выйдет книга или нет и где. Жорж пропадал, обижался... Я чуть не сошел с ума. Мишо предложил сделать подписку: его поэтическая со мной солидарность изумительна, с са-

мого начала. Многие мог бы я тебе рассказать, но главное: без появления «ХОЛМА» моя жизнь совершенно лишилась бы всякого оправдания. Лучше в омут. Ты знала давно: в этом никакого компромисса быть не может. И задним числом могу только радоваться, что книга появилась в удобочитаемом неизуродованном виде.

Морис в восторге от текста Сувчинского и тютчевской строфы, которую (он предлагает варианты) в переводе перерабатываю. Особенно трудно — эти «всеблагие»...

Heureux, qui visita ce monde  
à ses instants les plus fatals:  
fût, par les généreux célestes  
convié en égal au festin.

Считает, что надо поместить и его, и Сувчинского тексты в книге — предисловие и послесловие. Как-то странновато... Но с другой стороны, книга-то двуязычная, так что пусть будут два отклика — русского и француза. Говорил с Марьяной, они только что прочли моих Рембо — Малларме — Лотреамона: опять же полный восторг.

...Читатели, говоришь ты, у меня «есть; мало, но есть». Настоящих у меня при нормальных условиях было бы не больше, чем у Мишо (т. е. немало)... и чем у Хлебникова и, кто знает, даже лучшего Б.П., которого все якобы знают наизусть. Но в России нет моих книг!! 10 или 20 экземпляров. Никто об этом не пишет и не спорит...

*Щаранский Анатолий (Натан) Борисович* (р. 1948) — активист правозащитного и еврейского эмиграционного движения. Обвинен КГБ в шпионаже, с 1977 по 1986 год — в заключении. В 1986 году выехал в Израиль; избирался депутатом парламента, занимал посты в правительстве.

Ириша родная,

с Жераром говорил пока лишь по телефону; знаю, что ходатайства ты возобновила и два письма написала. Оба, разумеется, попадут к Ф.Б.

Миттеран занял во внешней политике (вооружение) очень жесткую позицию. Секретарь Соц. партии по внешнеполитическим вопросам (который обещал за тебя ходатайствовать... но, увы, в Москву не поехал) назвал заявления Громыко в Бонне «наглыми» и обещал на язык угроз отвечать тем же языком. Это — редкостная по нынешним временам твердость. В нашем «горемычном» случае — хуже ли это или лучше? Гадать невозможно!

Очень печально, что Николь Занд, занятая Борхесом, не явилась на мой вечер и не написала, как обещала, отчета. Для того-то я и читал — для этих откликов... А личные — есть. Кто-то (подпись пока не могу разобрать — спрошу у Мишеля) посвятил мне стихотворение. Кто-то записал весь вечер на пленку (кассета). Сувчинский передавал мне отклики. «Песню» почувствовали. Жак Дюпен написал короткую заметку в «Quinzaine» (уже говорил, кажется). Кстати, Жаку я подготовлю доверенность и на мою чековую книжку (счет) — мало ли что...

Вернисаж Мура\* у Магта — слабо, слабо, слабо! Никакой массы, полная дубовость. Есть зато неплохие рисунки. Вышли мы с Жаком в соседнее кафе выпить пива; там он меня познакомил с «представительницей» Мура: Вера Рассел — русская! Вера Владимировна... и что-то по-русски лопочет. Ее предисловие (навязанное) к каталогу — чистое недоразумение. Чем-то напомнила мне Веру Трейл.

Жак нашел какого-то богатого американца, образованного и утонченного (специалист по искусству), который хочет совершенствовать свои познания (зачаточные) русского. Я ска-

зал: согласен — могу давать уроки. Но с таким сном, как теперь, я готов лишь на свалку. Подозреваю и легкие... но могу ли я (в этом положении) лежать месяцами пластом?

Не забываю и о том, что в Москве руку не пожмут, а вывернут. Доходящие вести малоутешительны. Культ порядка (давняя ностальгия!), неминуемо ведущий к кое-каким сталинским методам. И зачем им понадобился Рой Медведев? Отлично их устраивал — и никому не мешал. Обо всем этом говорил с Жаком Амальриком, который, возможно, меня процитирует. Но часто ищет каких-то сложных и искусственных объяснений. Дескать, не случайно же создавали Андропову репутацию либерала... а стало быть, эти шаги (арест Медведева и др., в том числе внешнеполитическое — Афганистан и др.) — быть может, подкоп ему во вред. Не думаю. Ближайшие месяцы покажут. Нет, не думаю. Обо всем этом (попеременно с более серьезным) беседую в письмах с Морисом. Он всегда был известен как ультралевый (но не коммунист), а теперь, видимо, круто изменился (во внешней политике): изумляю Жака Дюпена, рассказывая... Возможно, я на него сильно повлиял. Но уже говорил тебе: переписка иногда становится мучительной. Теперь вот Морис просит послать ему — для полноты суждения — полный перевод Панасьевского письма... нет, невысказанно. Получаешь ли ты его письма? Если да, отзовись — ведь как он о тебе тревожится!!

Кстати, впервые в жизни сделал копии своих писем; особенно последнее — Морису: о языке, книге Иова и т. д. Тебе тоже написал, кажется, весьма всерьез («между прочим») — об улыбке... Это лишь набросок... но если бы такие «наброски» собирать... След двух прошедших лет. Иного не существует.

Сегодня — письмо от Вити и Лорочки\*, с фотографиями папиной могилы. Тяжко, ох, тяжело... Хороший портрет могильный... Об этом думать не могу. Своих родителей люблю нежно, но вот уже 25 лет (или более), как не нахожу с ними

общего языка. Пишу в настоящем, хотя папа и умер. И не забываю письма, которое он написал мне за 2—3 месяца до смерти — когда прочел мое и что-то новое во мне открыл. Где-то в груди писем оно лежит. Вите очень хочу ответить (узнаю породу), но надо подыскать слова. А ты пока передай им всем мою любовь.

Ты по моему адресу часто употребляла выражение абсолютно точное (и сама не догадываешься, насколько верное): зарвался. Вот именно. А «сорваться» затем почти невозможно. Разве что с Андрюшей — по-настоящему! Тряпкой быть еще не значит «сорваться». С тобой тоже иногда... Но за эти годы я Андрюшу «потерял» (и без кавычек тоже). Вырос он, упустил я единственную на свете радость. Долго ты не хотела этого понимать. Понимаешь ли теперь? Не уверен. Строга ты была ко мне — нет, не убеждай в обратном ни себя, ни меня. Пишу об Андрюше без слез: пересохла. А себя жалеть нечего: «того не стоит».

Пока дожидался Жака Амальрика (он писал срочную статью), рылся по соседству в книгах по искусству. Как и все прочее — великое множество со сниженными ценами (на 40, 50%). Много хотелось бы купить. Но когда всего этого — бездна, да на каждом шагу... зачем? Вот если в Москву вернуться... Но там как бы не послали разглядывать с кайлом в руках рисунки сибирских пещер. Вряд ли напишешь в подобные ледяные минуты что-либо подобное циклу Lascaux\*. Как бы не пожалеть потом, если вернусь.

Видел на вернисаже и Береса: «Мне нужна рукопись. Пора начинать. Это — долгая работа». Пойди его пойми! Рукопись давно готова, но он все прятался. «Долгая работа»... будет ли затягивать? Главное — Мишо. Позвонил ему; был необычайно дружелюбен, почти ласков. О Миларепе\* говорили... которого он любит безумно. Но упрашивал меня «не поддаваться». Впервые, кажется, называет меня по имени; в первые 4 месяца бы-

ло «monsieur», потом «KOZOVOI», а потом какое-то взаимное неназывание: от неловкости. Но мне трудно (язык не поворачивается) называть его в ответ Непгі. Дело не в этом. Литографии, кажется, готовы — множество (больше 15); теперь он хочет, чтобы — перед печатанием (сложный процесс) — я их просмотрел внимательно и «неподходящие» забраковал. Никто из французов не относится с таким (восторженным, без преувеличения) пониманием к моей поэзии, как Мишо. Снова делился впечатлениями от чтения (кто-то принес ему кассету, но он хочет послушать и другую, о которой я ему сказал). Спасибо. Знаю, как Жак страдает, недовольный собой и своим бессилием «передать» мою поэзию по-французски. Так что сразу же позвонил Кристин: пусть она его утешит.

Литографии надо не только принять либо отвергнуть, но и тщательно продумать (вместе с Мишо) их размещение в книге. Чем еще заняться? По-русски ничего не пишу: история с третьей книгой меня доконала... зачем продолжать? если и тут нельзя печататься... зачем? Вот и старался Мишо это мое «зачем» переубедить.

...Ужинал у Деги (впервые за полгода)... люди симпатичные, Мишель верный и славный... Я — еще ладно, готов (с усилием) говорить и на «местные» темы, но ты-то о чем будешь говорить? Нет, не хотелось бы подводить черту. Решительность, нерешительность... Как говорит Лао-дзы:

Быть решительным — без гордыни.

Быть решительным — не требуя много.

Быть решительным — без хвастовства.

Быть решительным — по необходимости.

Именно так — решительным,

Не навязывая себя силой<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В оригинале по-французски.

Но я, В.К., не хочу себя навязывать — ни силой, ни слабостью. Хочу, чтобы меня оставили в покое — и покой придет. Вот и все.

Надоело изъясняться по-французски; предпочитаю молчать по-русски. С кем помолчать? Иметь свою лежанку и свой угол — и догорать со своей лучиной... ничего больше не надо. Сегодня сказал Мишо, что наплевать мне на то, что со мной «происходит», что меня «волнует», что мною «написано» и т. д. Он приписал это воздействию Миларепы, но часто находит на меня эдакая отрешенность, без всякого внешнего воздействия. В конце концов, я сделал в этой жизни то, что мог. Немного... но кто будет считать?

...Смотрел у Мишо рисунки; он ищет подходящую массу, чтобы литографии получили глубину. Настоящее черное — чтобы белое как следует просвечивало. Цветные пятна наложат в ателье. Рисунки неровные, есть так себе, есть и отличные (рыбы). Множество голов (или якобы). Я попросил побольше динамики. В этой комнате у него еще не был. На стене две великолепных абстрактных вещи: тушь пятнистая с голубыми (в глубину) пятнами. Теперь могу отдать рукопись Бересу. Мишо обещает скоро закончить. Я сказал ему, что мне бы хотелось (ввиду обстоятельств) увидеть книгу изданной до лета. Маловероятно... но он понимает и постарается. Вид усталый... Листал у него большой каталог японской выставки. Примерно то же, что в Музее совр. искусства, но, кажется, еще больше вещей — и тексты по-японски (кроме одного). Вложено два изящных приглашения: одно — мне (мы так решили).

Пока говорил я по телефону о нашей с Мишо книге и т. д., прислушивался ко мне бородатый «чокнутый», которого я давно тут заметил. Оказывается, чех: покинул Чехословакию в 1968 и 10 лет (!) прожил в Иране, где обучился прекрасно персидскому... биография романтическая. Был в Иране художником, архитектором, фотографом и (кажется, не врет) губерна-

тором Ормуза на службе у шахини (!). По-русски тоже говорит, но не хочет. Мишо он боготворит... Зазвал меня к себе, показывал альбомы с изумительными фотографиями безумной Персии и дивных (какая раса! особенно дети!), гордых и свирепых персов. Потом еще пришла куча народу, в том числе его приятель — курд (из Персии): умница, отлично понимающий (и многое знающий), что происходит в России. Кончилось «воскурением» опиума, но я ушел. Фотографии (груда альбомов: первоклассное мастерство) я хотел бы показать Мишо, но человек этот, кажется, на днях должен отсюда уехать. Хотел он мне всучить пока альбомы, однако я отказался. Быть может, завтра попрошу одну-две фотографии на память. Персидские дети! В мальчике, девочке пяти-шести лет (глаза! осанка!) — величие небывалое. Рассказал он мне об ужасах, какие там творятся. Его приятель курд — с изувеченной рукой (граната), родственники замучены, расстреляны... Господи, что за безумие в этом мире!

Оказывается (давно не «пробовал») и мне есть что рассказать. Пришел этот чех в такой восторг и так мне понравились его фотографии, что постараюсь сделать ему приятное: попрошу какую-нибудь фотографию в подарок Мишо, а у Мишо попрошу для него «*Le barbare en Asie*»<sup>1</sup> с надписью. Мишо такое понимает.

Эх, развернуться бы здесь! Когда вижу издали маленький, затхлый и запуганный московский мирок... страшно! Но тут иные проблемы, свобода в пустоте и невесомости, обращаться не к кому, слово тает на лету... Не говоря уже о практическом... неподъемном. Впрочем, пока вас не вытащил, и говорить об этом излишне. Но за «Лит. газету» спасибо! К мысли о «жгучем яде» привыкаю постепенно... ползать на карачках, вымаливая прощение, не буду.

---

<sup>1</sup> «Варвар в Азии» (франц.).

С Жаком Дюпеном сегодня обедал; оформил на него доверенность в банке. Знай! Рассказал он мне про бредовую (но расскажи НИХу — ему будет интересно) идею крупнейшего европейского дельца от искусства (и коллекционера) Бейелера: предложить СССР «недостающие» вещи Пикассо, Матисса и других в обмен на Малевича и других русских. Все это вместе с галереей Магта. Принципиально я бы не против. Пусть лучше Малевич или Филонов тут красуются в музеях, нежели томиться в запасниках, где никто их не видит. Однако на кой черт СССР «недостающие» (или «достающие») Матиссы, Браки и Пикассо? Им это надо? А вот продать свое исподтишка они всегда готовы... Что я Жаку и сказал. Еще хочу с ним эту тему обсудить....

Да, письмо дорогого НИХа безумно грустное. Против возраста, разумеется, не попрешь. Но будь у него занятие, дело и два-три человека близких... Морис всю жизнь одержим смертью, но я на подобные «нотки» в его письмах не отвечаю. И знаю: он продолжает писать, думать и отзываться страстно на происходящее в мире — и с любимыми (мы с тобой). Мишо — уникал (в мае — 84 года!); конечно, и он о смерти думает (надпись — но без «нажима» — на «*Mouvements*»<sup>1</sup> — для меня); создается, однако, впечатление, что просто нет у него времени, чтобы предаваться этим думам. Мне пришлось сегодня снова его потревожить; думаю, что Берес задал ему слишком малый формат: книга получится пузатой и уродливой, да и необходим достаточный простор, чтобы Мишо мог как следует «размахнуться». Увы, он уже проделал немалую работу...

НИХу я написал (последний мой «дневник» — он уже, вероятно, у тебя) и еще напишу.

Твои описания Москвы полностью совпадают с тем, что я отсюда угадываю.

От Ленки такое прелестное письмо!

---

<sup>1</sup> «Движения» (франц.) — альбом рисунков А. Мишо (1951).

Чем помочь Диме Янкову\*? Я могу поговорить в ПЕН-клубе, его примут, будут пробовать и т. д. Толку-то! Несомненное усиление повседневногo террора объясняется (для меня) и тем, что их самозванство стало особенно явным. Этого клейма никогда не смыть, но теперь больше никаких дымовых завес («догнать, перегнать», «коммунизм» и т. д.). Их присутствие у кормила ничем, кроме власти ради власти, не «оправдывается» (кавычки не случайны).

А вот «фрагменты из переписки» хотел бы я готовить уже теперь, не оставляя на весьма проблематичное завтра. Боюсь, нет у тебя времени рыться, выбирать, перепечатывать... а мне такой отбор (и фрагменты под рукой) все более необходим.

С самого начала знал, что Поносюк (Панасьев. — *И.Е.*) — личность реальная. У них сотни и тысячи таких подставных фигур. Что это меняет. Настоящая фамилия Поносюка начинается на букву Б. Гложет, гложет их собственное «бесправие» — и нелюбимость. Нет, недостаточно упырям чужой крови; надобно им, чтобы их любили как живых (вечно) и любили страстно, утопая без остатка в ублюдочном, между двух миров, месиве.

Снова и снова не хватает мне НИХа ужасно. Он и не догадывается, скольким я ему обязан. «Через него» как будто окошко на волю распахнулось... Мою преданную любовь к нему знает и Жак Дюпен, и Мишо, и Морис (а сегодня и с Моник о нем говорил). Жак принял бы его тут с распростертыми объятиями.

Твои упреки по поводу телефона меня поразили. Ты по-прежнему не способна понять другого, его натуру, его состояние, его положение. По-прежнему о себе... Я-то ведь не корю тебя в том, что нет в твоих письмах — месяцами! — ни одного нежного слова, ты ведь (практически) настаивала, чтобы я шел (месяцами, годами) по лезвию бритвы — весь изрезан, кровь брызжет, а ты мне: «Шути! В эти три минуты развесели маму! Будь со мною во всем согласен!» И т. д. Понимаешь ли ты, что

я маминых реакций уже много лет страшусь (именно потому что ее люблю). А если у кого-то вообще нет никаких чувств к родным или даже ненависть к «предкам», я не стану ему читать уроки нравственности. Что это еще за детский сад? Мишо проклинал всегда стариков-родителей (по-античному!..) Что у него таится в глубине души — не знаю, да и не мое это дело. Я маму свою люблю нежно, но и это мое частное дело. О ее физическом состоянии знаю, и это-то меня пугает: боюсь не то ляпнуть. Оставим эту тему.

...Если бы мог я тебе рассказать свою жизнь в конкретных и частных деталях... нет, не могу. Когда был у Мишо — вырвалось несколько слов. Он понимает. Жак тоже поймет. Но вообще-то говорить я горазд, в том числе и о себе, да главное, тайное, сверхинтимное — на запоре. Нельзя! «Fermé et ouvert»<sup>1</sup> — Мишо прав (или наоборот, не помню).

Вероятно — е. б. ж. — этот опыт, это испытание даром не пройдут. Еще я себя не знаю...

Сколько французы едят! И какие сладкоежки! На каждом шагу в любой булочной горы несметные пирожных, тортов и проч. И при этом средняя русская женщина в 5 раз толще французенки. Рост? Есть верзилы... но на общем уровне я (я!) выгляжу довольно высоким.

Ириша, я тоже не люблю «родословных». Это пойми. Андриша — моя радость (а теперь — страдание), но никакого ИДИШЕ в моем к нему отношении нет (я давно от этого убежал!), он для меня человек «сам по себе». И говорить я хотел по поводу его «рассказика»... о том, что нас выше. Я своих люблю, им предан, но что значит это «я»? Кто оно? Нет, семейственности я просто не понимаю. Быть может, евреям втайне и завидую, но — лишен (как, впрочем, и многие настоящие евреи, ускользающие из курятника).

---

<sup>1</sup> Закрыт и открыт (франц.).

Если оставить о маме вообще, то вот что меня сковывает: она, быть может (наверное!), догадывается, что мы никогда не увидимся, и, кто знает (вряд ли... но все же —?), понимает, что мысль эта не только для нее непосильна; я готов разорваться на куски, то и дело об этом вспоминая. И не знаю ведь, что ей известно и понятно. Ах, как невесело... А пребывать в таком унынии — нельзя! «Нельзя» — это поважнее всех «надо» вместе взятых.

...но я под утро засыпаю. И вот что давно заметил. Засыпая вовремя, после насыщенного труда, мысли, чтения, пусть даже в 5 утра, сплю без таблеток спокойно... лишь бы мог свое «выспаться». А заставляя себя ложиться в час ночи с таблетками... нет, пытка! Следующий день никуда не годится.

Милая моя и родная кисанька, я безумно хотел, чтобы ты вырвалась... в путешествие, чтобы время от времени могла покидать пределы «любимой собственной страны». Понимал, что такая «разрядка напряженности» и тебе, и мне необходима — и просто хотел увидеть твое радостное изумляющееся лицо. В поездке-то совсем иное дело! Пойми, ради Бога, пойми: даже если вы приедете, сложившиеся обстоятельства — горе и беда! Я тебя ценю (а не только люблю) именно за то, что ты это можешь понять. Не слушай пошлую будничную прозу, которую твердят в Москве одни и те же языки. К счастью, у этих «языкастых» есть и сердце отзывчивое, и руки в помощь...

Насчет французских книг — осторожнее! Там множество редкостей (и даже уникамов), а также — с надписями (не только Рене Шара, Мишо, но и Лериса, Грина, других).

Как прекрасно, что Андрюша не пишет стихов! За это я его еще больше люблю.

Начиная с 30-х годов проза Пастернака превращается в какие-то «ясырские яровые» (встретил где-то у него). Совершенно понять не могу, кому это нужно. В коротеньких заметках встречаются вспышки разговорного напора мысли... мысли не-обязательной, пролетающей со сквозняком через комнату и на

лету кое-что звучно подмеченное выбалтывающей. Увы, их немного. За всем, почти за каждой строкой ощутим усидчивый размеренный труд и скрипение пера. Я не думаю, чтобы таков был изначально роковой удел автора. Фет ведь не был раздавлен своей многопудовой переводческой деятельностью. Неровен — а какой ЛИРИЧЕСКИЙ поэт «ровен»? Бывают такие дивные периоды... во что превратился бы Китс, не умри он вовремя? Мне кажется, Пастернак эту опасность субъективного истощения отлично сознавал, но искать выход (с середины — конца 30-х годов) стал не там, где следовало. Опрокинутый в прошлое повествовательный эпос не только истощил себя, но и все более сливался с фальшью одичалого безвременья, требующего себе во славу или в утешение «рассказов о былом». На ЭТОЙ прозе Пастернака лежит гнетущая печать ностальгии. Дело ведь, по существу, не в том, кто за и кто против... Никакая ностальгия не позволяет уйти от времени, которое можно только преодолеть: насквозь! Но для этого требуется иная мысль, иное прозрение, озарение, иное слово — иные границы! Пастернак же возвращается к стихии XIX века, его конца — к толстовству! По-человечески и даже (что то же) по-поэтически я это понимаю и этим восхищаюсь. Однажды уже сказал (по-французски). Но ГРУБО говоря, записываю романы сталинской (40-е годы) эпохи о «былом», Солженицына, «Доктора Живаго» и телевизионную серию с бравыми офицерами в одно «временное измерение». Грустно это писать, но не умею стоять истуканом навтыжку перед идолищами тысячеустой толпы. Да и не нужно такое Пастернаку. Этот сборник («Воздушные пути») — в том виде, в каком он появился — не случаен и обязан не только Жене и его (не его — все равно его!) нынешней среде, но и самому Б.Л. От увиденного не спрячешься. Но и слова, обращенные к Ливанову\*, пусть и сказаны они частным человеком, звучат в полную силу, перекрывая наготой вольного движения и жеста созданное для неотвратимой пыли

драпировки и (Б.П.) драпировочки. Не следует соловьиною переливчатую звезду растягивать, как резинку, на несколько десятилетий, измеряя порознь каждый ее сантиметр. Время обезглавлено ею раз навсегда; позвольте же, непрошенные собеседнички, видеть ее выпавшей из множительного гнезда времени и пульсирующей под ногами в траве одним сердечным комком. Тогда и понимаешь, что в жизни Пастернака, как и в долгой жизни Фета и Тютчева, в короткой — Лермонтова и Китса, нет и быть не может ничего лишнего. Но до этого сознания нужно дорасти, его заслужить; тут не место девическим слезам и младенческому подвыванию, а еще менее — академическим гробовым переплетам.

Опять не могу заснуть: утром будет звонить Берес — он звонит в 8 утра! — и никакие таблетки, никакая усталость не помогают. Предстоит мне нелегкое объяснение; человек этот — делец и в делах крут и хитер, как дьявол; знает, что сила на его стороне — деньги! Мне надо убедить его (как?), что избранный им формат не годится... и надо спешить, спешить! Печально, что нельзя издать книгу у Жака в Магте... все было бы дружески, и я получил бы максимум возможного...

...Разумеется, не позвонил, негодяй. Пришлось вскочить в лютой ярости («Скажу, что книга меня больше не интересует!») — дозвонился. Обсудил формат (он свое навязал: 25 на 31,5... мало, но, б. м., он и прав), рукопись пошлю почтой («Оставьте для меня в издательстве» — «У меня нет времени!»... знай наших!), опять позвонил Мишо, уточнил с ним формат (он действительно ошибся — его рисунки помельче), на той неделе (т. е. через несколько дней) он пойдет в литографическую «печатню» для пробы на черноту, я у него посмотрю, что вышло, и т. д. и т. п.

А ведь сегодня Андриюшин день рождения — и буду пытаться вам дозвониться! Хотел — да забыл сказать Мишо... Жерар дослал оставшееся: Андриюшино письмо с очередной игрой (деловая карьера на Западе ему обеспечена) и Франеково.

...Вернулся от Жака расстроенный... несмотря на всю их дружбу и понимание, и преданность. Прежде всего — разговор с тобой и Андрюшей. Как будто внутренности у меня вывернули. И надо эти рыдания прятать... Кристин и Жак понимают — но другие?? Выясняется, что подруга Мишо (которую я видел мельком 3—4 раза) обо мне более чем странного мнения. Violent, dur, impossible...<sup>1</sup> Мишо с нею ужинал у Зао Ву-ки (художника)... были и Жак с Кристин. И вот эта Мишлин (подруга Мишо) спрашивает у Кристин: «Вы когда-нибудь видели его спокойным, нежным, тихим, сердечным?» Кристин за меня обиделась: «Тысячу раз! Постоянно, когда мы с ним видимся...» И стала объяснять, что моя свирепость — в ответ, что я сам вечно под гнетом этой проклятой violence. Вот тебе и Мишо... Для него просто: он создал для себя мой «вулканический» образ; такое общение ему, конечно, тягостно, зато рисуется «облик проклятого поэта». Да что мне до этой проклятости!.. И вот эти «жены» и «подруги» разносят по салонам какой-то негодный миф, а Мишо (я теперь понял) побаивается общения со мной. Да еще эта растреклятая книга! Жак подтверждает мою догадку: такой маленький формат не только плох (тесен!) для Мишо, но и в денежном отношении крайне невыгоден. Как выкрутиться? Он постарается переубедить Береса... но тот скорее всего уклонится от разговора. Мишо от этой «возни» устал... тысячи перипетий... невозможно в деталях рассказать. Мишо не хочет общаться с Бересом, Берес уклоняется от объяснений со мной и т. д. и т. п. Я вынужден что-то уточнять, три дня подряд звонить Мишо (представляю себе, как я ему надоел... он и вообще-то крайне экономен в общении... и возраст!). Теперь подозреваю, что подруга его (которая влияет на него, как никто!) вряд ли довольна нашим сотрудничеством. Ах, Ириша, тяжело это зависимое существование! И другого не предвидится.

---

<sup>1</sup> Бешеный, жесткий, невозможный... (франц.)

...Это у меня, Ириша, не приступ, Мишо я благодарен за многое; ему жить тоже (о возрасте молчу) весьма нелегко, да и ведет он себя порой как ребенок... почти два месяца возится с литографиями и, как объяснил мне Жак, нелепейшим образом занимается (уже 2 недели в мучениях!) разведением литографической туши (это дело специалистов, которые приготовят ему ее за 5 минут). Бересу он мог бы (при его-то имени и положении!) навязать любой формат — и тот бы и не пикнул... но боится «объяснений», «запутанных ситуаций» и т. д. «Убивает» на меня уйму времени... и я даже могу вчуже понять его Мишлин (Мишо и Мишлин! Славная парочка!), которая не очень-то, должно быть, этим довольна. Но — violent! Я рассказал Жаку и Кристин о встреченном тут чехе (см. выше) и его похождениях, об иранских ужасах — и добавил: «Вы живете на крохотном спокойном островке в клокочущем океане ярости, ненависти, человекоубийства и мученичества — и вы (не они конкретно) требуете, чтобы вас окружали тепленькие, нежненькие, спокойненькие, любезные? Черта с два!» Разорвавшимся снарядам войны я отмечен навеки, клеймо непокорного раба на мне выжжено навсегда — и обе эти отметины связали меня нераздельно с обезголосевшими, которым выпала лихая доля. Пусть бы эти мадамы и прочие господа понюхали, чем эта доля пахнет. Не только ведь чапаевскими стоячими носками! Оставляя в стороне мои «выходки», ты ведь тоже попрекала меня не раз моим темпераментом, страстью, которую вкладываю в любимое и ненавидимое... Но можешь ли ты топором разрубить имеющее один и тот же взвинченный корень? И разве не ищу я покоя? Прежде чем корить да обговаривать, попробуйте на собственном опыте. А пока — имейте стыд и помолчите.

...Маниакальный страх, внушаемый «Москвой»... Долго сидел у Сувчинских, относятся они ко мне с любовью, поэзию мою любят (особенно Пьер, то бишь П.П.) по высочайшему счету... но подписывать свой текст обо мне Сувчинский боит-

ся, опасаясь причинить вред своим московским знакомцам, которые много для него значат. Я пытался доказать обратное (это ведь не 1953 год!) — но безуспешно. И так было это неприятно, что я умолк: пусть не терзается мой здешний единственный настоящий читатель. P.S. для книги не годится (Post scriptum? Parti socialiste?) — комично... слушаю Жака Дюпена, а не Мишо... который, однако, лучше Жака понимает, как важен для меня этот текст русского читателя... почитателя.

Сувчинский говорит, что Шар всегда относился к Мишо с тайной завистью, и сформулировал точно: Шар — «трубадур», труба — дура, а Мишо — «до конца мыслитель». Думаю, что не простил мне мелочный негодай и этой дружбы... хотя, как видишь, не все с этой «дружбой» гладко.

...Бересу я отправил рукопись с вежливым и жестким письмом. Сказал, что книга теперь мало меня интересует. С Мишо не знаю как быть; написал письмо, в котором поставил точки над i... но отправлять не решаюсь. Рассказал Ане; она отвечает: «Если ты будешь со всеми рвать, станешь клошаром». Я ей говорю, что уже клошар... Общаться не с кем и незачем; перспектив никаких; тупик. Через 6 месяцев — без жилья... И никакого дела, никакого занятия!

...Передача по телевидению (которое почти не смотрю теперь) о поисках нацистских преступников и т. д. Женщина-еврейка, чудом спасшаяся в концлагере, французский историк, Симон Визенталь\* и немецкий профессор (чуть моложе меня), полностью разделяющий, как большинство из его поколения, взгляды Визенталю. Последнее особенно отраднo. Но этот же профессор отверг начисто сравнение, которое привел под конец французский историк с Катынью, Камбоджей и т. д. «Качественная разница»? Так ли? И почему только Катынь? Кое-какие нацистские палачи прячутся в Южной Америке... а сотни, тысячи и десятки тысяч советских мирно почили, сделали головокружительные карьеры или прогуливаются с палочкой

по улицам русских городов. Десятки тысяч? Нет, сотни тысяч! Клаус Барби, лионский гестаповец, который замучил Жана Мулена, возглавлявшего французское Сопротивление, быть может, будет наконец выдан Боливией Германии или Франции. А где наши «герои», истреблявшие (и организовавшие истребление) миллионы русских, украинских и прочих крестьян? Всех ли их перестрелял Сталин? Все ли оставшиеся околели? А где Серов, руководивший расстрелом Тухачевского «со товарищи», расстрелявший и погнавший на гибель и мучения тысячи и тысячи литовцев? Его «идеологический» собрат Сулов лишь недавно издох и с почестями похоронен. А все те, кто «переселял» немцев, крымских татар, чеченов? Кто гноил миллионы и миллионы в лагерях? Кто начал (да не успел) поголовное истребление евреев? Только ли Абакумов, Рюмин и Меркулов? Кровавые псы Каганович и Молотов — живы ли они еще? И надо ли забираться в 20–30–40-е годы?

Тут на телевизионном экране шел недолгий спор (все согласились): можно ли говорить о crimes de guerre<sup>1</sup>, когда речь идет о преступлениях предвоенных или о концлагерях, о пытках, ничего общего с войной не имеющих?

Нет у меня мстительности: я тебе об этом писал. Но страшным и несмываемым грехом раздавлена нация (то, что от нее осталось), которая внутренне со своим дьявольским прошлым не разделалась. Ее же собственное мученичество лишено правды, которую приносит только очищение. Этого очищения, увы, не произошло... и новая скверна наслаивается на скопившуюся десятилетиями. Вспоминаю письмо в «Новый мир», которое читал нам с тобой когда-то Марьямов\*... вот там (как бы его достать!) было и русское смирение, и — с ним нераздельно — верная и чистая память, которой преодолевается общая беда и общая каинова печать.

---

<sup>1</sup> Военных преступлений (франц.).

Есть слово САМОЗВАНЕЦ... но есть французское — непеводимое! — imposteur... По сравнению с нацизмом, на протяжении десятилетий и вплоть до сегодняшнего дня, наши imposteurs явно преуспели, и приходится сделать вывод, что минимальные человеческие нравственные устои — ничто перед наглой и голой силой. Симпатичнейший немец на телеэкране честно признался: «Мой отец был нацистом, пусть мелкой пешкой, но — нацистом. Как бы я вел себя на его месте? С уверенностью ответить не могу, хотя испытываю несказанный стыд за него и весь немецкий народ». То-то и дело, что и теперь, хотя им движет (прекрасное!) чувство искупления — но, будучи сосредоточен на нем, он склоняется перед фактом внешней (якобы!), его стыду не подлежащей силы. Стоит ли, впрочем, придирааться к такому сознанию, если внутри России никакого искупления не свершилось? Придирааться — нет, а вдуматься — стоит... Национальное очищение — одна сторона дела, а вселенское покаяние (и сострадание) — иная. Ибо не только Петров и Сидоров, не только мы с тобой, но и француз, и американец, и немец несут на себе кровавую ношу этих шестидесяти с лишним лет. Умолчание, забвение, нежелание знать и понять внушают мне ужас. Но ничего не изменишь... таков человек.

И еще о другом. Высказаться по-русски (а как еще?) тут невозможно. Вот листаю статьи Ходасевича... умный и меткий человек — довольно заурядного уровня... Но если сравнить его с нынешними — титан! Читая, убеждаешься: вокруг была эмиграция — пусть скверная, но «массовая», более или менее читающая русская публика! Новой эмиграции нет — это выдумка! Пять-шесть человек еще могут сойти за русских эмигрантов-изгнанников. Не об уровне тут говорю... остальные же — беглецы с «советской территории», никоим образом со страной, ее историей, судьбой и культурой не связанные (и на 99% не желающие быть связанными). Разумеется, их понимаю... но

легче ли мне от такого понимания? Никакое ожесточение не поможет — пойми! оно не лишит тебя твоей «субстанции», без которой... стоит ли жить? По-буддистски — быть может; но и изгнанные китайскими коммунистами отшельники Тибета продолжают лепиться — в Непале и рядом — к своим излюбленным горным пещерам...

...Труба — дура, а также Трубо — дур: нераздельно. То есть труба-то дура, а играет на ней трубадур (вместо САМО...). Еще лучше: губа не дура, а труба-то дура, и в эту дуру дует трубо-дур. Каково? Вот тебе и точное определение поэзии и поэта (кое-каких), и — по языку — краткое «самовыражение». Пожалуй, даже использую...

Наткнулся в статье Ходасевича на:

«Вот бреду я вдоль большой дороги...» — и почти взвыл: о, как люблю я эти строки! Жизнь и смерть отдать за это стихотворение! Кто знает — кроме тебя, быть может, и НИХа, — как я живу родным словом! Только этим еще жив... и нет у меня под рукой ни Тютчева, ни Батюшкова, ни Анненского, ни Державина... Мне кажется, что пока не отдался полностью на волю этих беззаконных волн (довольно поздно), жизнь моя была лишь каким-то смутным пророчеством о жизни и глаза оставались слепыми как у новорожденного младенца. Зато какой страх — увидеть вдруг небо! И какой ужасающий под небом восторг! Это — Тютчев. Больше уж он не «засыпал» (и о нем, и о себе), хоть и усох после смерти Денисьевой, но не ослеп и не осип.

Скажу теперь: счастлив, что написал однажды «Отправляю навечно» — там это чувство кровью сотоварищества вырвалось на вольную волю. Когда-нибудь кто-нибудь прочтет и приобщится.

...Морис опять спрашивает, доходят ли до тебя его письма? Ответил, что ты ему пишешь. Неужели и твои пропадают?

Надо идти на свидание с Граком (ритуальный — раз в месяц — ужин в ресторане)... а у меня от снотворных кружится

голова и «что-то обжигающее в печенках свиристит». И радикалит хронический. Понимаю я Мишо и других: видеть все время такую уныло-тревожно-взвинченную харю — небольшое удовольствие. Сам себе надоел.

Хорошо накормил меня Грак в китайском ресторане (его там знают, да и меня тоже), и чуть на душе отлегло. Главное же: с ним рядом купил в аптеке прибор для мамы. В копеечку... но доволен; если смогу, завтра передам. Жаль, что ничего для Андрюши нет, хоть мелочь бы какую... Подумать только, на каком живу я вулкане! Не рассориться бы окончательно со всеми на свете...

Пришли наконец (попроси кого-нибудь) Андрюшины фотографии! И пиши...

...К Андрюшиному дню рождения послал я два красочных письма — ему и тебе. Мамино новогоднее получил (ей до этого написал в Харьков). А мои новогодние уже пришли?

Боря каникулы провел хорошо. Уже трижды побывал в Бретани. Немножко лучше говорит по-французски. И т. д. и т. п. Больно обо всем этом писать. Ни о чем — ни в каких тупиках — сожалеть не следует. Крохоборства и нищенских суповых мисок жизнь единственная не стерпит: она вся — из одного синеватого куска льда... На скверные роли (какие там еще?) в театре сумеречных теней я непригоден, а околевать в атласах или в канаве под лопухами — об этом мое воображение молчит, потому что вглядывается в сторону противоположную, не умея выбирать в запредельном. Выбрано, тысячелетия назад выбрано за каждого из нас... займемся же тем, что нам еще под силу.

Получила ли к Новому году письмо Мориса? Он будет вскоре незримо присутствовать рядом со мной, а Мишо, Грак и другие — зримо. Кстати, в очередную бессонную ночь прочел изумительный текст Мориса (старый — переиздание) «La folie du

jour»<sup>1</sup>: есть два-три слова о детстве — узнал и почувствовал Андриюшу.

Целую тебя нежно. В.

*Мур Генри* (1898—1986) — английский скульптор.

*Витя и Лорочка* — племянник и сестра Вадима.

*Lascaux (Ласко)* — пещера во Франции (Перигор), где в 1940 году были обнаружены богатейшие наскальные рисунки эпохи позднего палеолита. Известна книга Жоржа Батая («Ласко, или Рождение искусства») (1955).

*Миларена* (1040—1123) — тибетский поэт-мистик.

*Янков Вадим (Дима)* (р. 1935) — философ-античник. За публикацию своих статей на западе был арестован (1982—1987). В настоящее время профессор РГГУ.

...слова, обращенные к Ливанову... — Речь идет о письме Бориса Пастернака актеру Борису Ливанову, близкому другу дома, в котором Пастернак писал: «...я несправедлив к тебе, я не верю в тебя, и ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил и говорил бы впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А, конечно, охотнее всего я всех бы вас перевешал». По словам сына Ливанова, Б.Л. рассказывался в этом письме, просил его простить, и отношения возобновились.

*Симон Визенталь* (р. 1908) — еврейский общественный деятель, выходец из Галиции (Австро-Венгрия), в 1941—1945 годах узник гитлеровских лагерей. Борец против нацизма, основатель и директор Еврейского центра документации в Вене (создан в 1947 году), Центра исследований Холокоста в Иерусалиме (создан в 1977 году).

*Марьямов Александр Моисеевич* (р. 1909) — советский писатель, член редколлегии «Нового мира» при Твардовском, ког-

---

<sup>1</sup> Безумие дня (*франц.*).

да журнал после публикации «Одного дня Ивана Денисовича» был завален читательскими откликами. Одно из таких писем, потрясшее нас, он прочитал нам как-то — он был знаком с отцом Вадима и бывал у нас.

## 1982 ДЕКАБРЬ—1983 ЯНВАРЬ (2)

Ириша родная,

ты прочла мое длинное письмо, поговорила с Жераром — а главного все равно не выскажу. Его ощущаю «от противного» (но без всякой логики!), сталкиваясь, как в Москве (хотя еще реже) либо с тупой ностальгией, либо с враждебным остервенением (вроде?), не говоря уже о роковом французском непонимании, в том числе у самых лучших и умных. Что угодно можно сказать о трижды или четырежды проклятой — соглашусь... потому что слова эти пусты, бессодержательны и, в сущности, никчемны. Не о том речь. Одна русская живая строка (в том числе и собственная) возвращает меня к родному и незаменимому, без чего жить нет смысла. У кого на это слуха нет, те мне не собеседники и не судьи. Я навсегда ВНУТРИ, каждой кровинкой — и потому-то глубоко несчастен. Даже ты, Андрюша и дом — потом (а впрочем, разделить невозможно). Ненависти у меня больше, чем у тебя... но она не существует сама по себе, только с болью, только со слезами — когда слышу чей-то страшный рассказ. И слезы эти — о том, кто никогда не пожалуется, не расскажет и на груди моей не выплечется. Это — Россия. Вместе с ее смехом, гоготом, плачем, воем, судьбой, тишиной. Когда ты пишешь в отчаянье: «Ничего не осталось», — я тебе не верю. Быть такого не может, если пишу «бисером по сердцу мотиного егорушки кузьмича». Ты меня не переубедишь, и никто не переубедит. Я и сам себя переубедить не сумею. И никакие исторические катастрофы не переубедят.

Никакие Дзержинские, Сталины и прочие Студеняпины. Никакое вырождение, перерождение, угасание и вымирание. Никакие хари, морды и физиономии (посмотрела бы ты на здешних, в парижском метро!). Никто и ничто — пока отзывается сердце на каждый вздрог русской струны и сквозь него слышит и видит чаемые миры. Некуда деться!

Чем больше я тут торчу (именно торчу), тем сильнее это чувствую. Знаю, как уничтожало меня московское гробовое одиночество, не забыл и ничтожества повседневной жизни, быта, страхов, общений (!) — но все это потом, потом. И я тоже никому не судья, понимаю и тех, кто бежал, кто хочет бежать и тем более тех, кто там живет, «под собою не чуя страны». Понимать-то понимаю, но общих слов с ними не найду.

Б.Л. видел тебя «плавающей и путешествующей»? Что же, ему свойственно было заблуждаться. Во-первых, годы показали, что это не так на деле, да и не в твоём характере. А во-вторых (что ещё важнее!), кто здесь плавающий и путешествующий? Тот же (ещё более) устойчивый крепкий быт — и жизнь, расписанная на годы и десятилетия вперед. Никого называть не буду. Учитывая всепоглощающий ритм жизни, работу до отупения (тут отлынивать нельзя!), замкнутость среды, почти всеобщую государственную опеку, отсутствие внятной опасности, внешней тревоги и риска, деградацию языка, оскудение мысли, царящий в отношениях (но не только) ледяной холод и т. д. и т. п. — не ищи спасения в переезде. Ну и: другая среда, язык, традиции, история. Но даже не в этом дело. Просто-напросто у меня, вероятно, другого выхода нет — и если ты готова со мной эту трудную жизнь разделить, готовься именно к ней, а не к каким-то плаваниям и путешествиям.

...Отсутствие российского гнета станет для тебя незаметным, неощутимым через две-три недели. Новый гнет навалится... и одиночество, которого ты в Москве не знаешь. Я-то к нему привык, но за сокрушительными упадками следуют у меня

ошеломляющие взлеты, которым московский образ жизни позволяет осуществиться и вылиться в кое-каких общениях. Когда ощущаю в себе эту полноту, я ни на что более не жалуясь, чувствую себя победителем... Тут этого быть не может, да и «московский образ жизни» (а значит, и ритм моей, с таким трудом завоеванный), увы, неосуществим.

Моралистическое и прочее остервенение меня, в сущности, мало задевает. В этих измерениях я жить не умею.

Было бы чуть больше сил, возможно, смотрел бы на вещи несколько иначе. Но сил нет; и свой взгляд на мир изменить не могу.

Еще раз: это не значит, что не вижу я отсюда чудовищности московского существования. Вижу и помню и, разумеется, страшусь.

...Не случайно круг моих общений свелся до минимума: днями и неделями не вижу никого, в т. ч. в это предновогоднее время. Уже 28-е; был только на предрождественском обеде, куда хозяйка собрала (добрая душа!) разных изгнанников и польских заезжих, вместе со своей семьей. Мишо, по-моему, прячется; я не решаюсь его тревожить, т. к. теперь, пока он не сделал литографий, мои звонки ему неизбежно кажутся напоминанием. Да и не чувствую я в себе избыточности, которая только и оправдывает общение; а стенать и жаловаться надоело, никому это не интересно. Тем более — Мишо, всю жизнь оберегавший свирепую свою одинокую думу, а теперь знающий, что осталось ему недолго... «des paroles du bout de la vie»<sup>1</sup>, как написал он мне недавно «Mouvements» (та, что передана НИХу). Жак говорит мне, удивляясь относительной легкости моих встреч, что из всех «прославленных» поэтов, которых он знал (Бретон, Реверди, Сен-Жон Перс и, конечно же, Шар), один Мишо всегда внушал ему страх своей безмолвной ОЩЕТИ-

---

<sup>1</sup> «Слова на краю жизни» (франц.).

НЕННОСТЬЮ. Не знаю... отчасти понимаю, но со мной это не так.

Вот только что ему позвонил: та же внимательность к мельчайшим деталям моего бытия, к моей судьбе... какая-то изысканность (французское... русского эквивалента не найти) в дружбе, смесь уважения, интуиции и редкостной тактичности. Об иллюстрациях, впрочем, ни слова, да я и не настаивал. Будет готово — скажет. Он помнит, обо всем помнит — как вспомнил, например, о книге («Ailleurs»), которую я попросил полгода назад. Вспомнил — и надписал.

Вероника (Шильц) позвонила — был у нее; последний раз видел ее весной. Встретил там старую приятельницу, живущую в Лондоне; целый вечер отговаривала меня от возвращения. Доводы разумные и женщина неглупая. Но... увидим.

Жоржу сказал о чтении — и позвал. Как и Веронику.

У нее смотрел два альбома (английский и французский) с фотографиями предреволюционной России. Господи, ЖИВАЯ страна! И какие вдруг попадаются лица! Какие дети (мальчики — кадеты): прелесть! Всех перебили, втоптали в гнойную беспробудную землю! Страшно! Тут Россию не знают; Морису, например, при всей его нелюбви к большевикам, предреволюционная Россия рисуется, я думаю, в образе николаевской. И т. д. и т. п. Да, я против тупой ностальгии, выпученных глаз и легкомысленных вздыханий. Однако надо и меру знать. Ни с Розановым не соглашусь, ни с Мерабом: русская литература и русская совесть не на пустом болотном месте возникли. И довольно ссылаться на Гоголя. Лесков, например, пишет явно о стране (какая бы ни была, со всеми пороками!), у которой есть прошлое и будущее. Прав Гоголь, прав Достоевский («Бесы»), прав Белый — но прав и Лесков. Толстого оставим. О НЕ О ТОМ.

То-то и жутко становится, когда видишь на фотографиях Живые лица Живых людей. Это ведь было! И будущее у них бы-

ло! И невозможно (а нужно!) смириться с мыслью, что, оказывается, НЕ БЫЛО: вонючая яма, даже не братская могила.

Мне и самому захотелось составить по-своему, со своим текстом и с особым подбором, такую книгу — в назидание... Но — промелькнуло и унеслось; ни на что нет сил.

...Твое письмо Борьке, откровенно говоря, не очень-то педагогично. Ему ведь надо многое забывать окончательно, поменьше терзаться, вживаясь в новую жизнь. А ты ему — о Москве, Харькове, Вильнюсе, Риге... и поименно обо всех, кто его любит. Знаю, знаю, как ты его жалеешь, как страдаешь... но у него-то нет внутренней «утешительной» ссылки (хотя много об этом говорю) на тамошние порядки и небо цвета «солдатской шинели». Для него это — абстракция. А болен он тяжело, глубоко и, может быть, безысходно. В одном Жорж несомненно прав: если есть хоть один шанс, надо за него цепляться. Что и делаю. Мне хотелось бы, чтобы ты взглянула на Борю несколько отстраненно, без моралистики. И подумала о нас в этой связи.

В «Le Monde» большая статья Луи Мартинеза о Польше и вообще о коммунизме: яростная, свирепая, умная и бескомпромиссная — настоящий Сен-Жюст. Но то, что касается Советской России, даже если сказано безошибочно, нуждается в существенной поправке. Гнилой снисходительности (к «населению»), разумеется, не место; но никто не вправе претендовать на безапелляционную чистоту в этом нечистом мире, который не испытал и в тысячной степени тысячелетней большевистской Голгофы; никто не вправе швырять камень в заблудших, порочных, растоптанных, осуждая их всех окончательно, безоговорочно и поголовно. Вглядитесь, вслушайтесь в этот бездонный опыт! Это вселенское, без разбору и спасения, испытание! Любая белоснежность души и одежд замарана безжалостно, как во времена пророков, несмываемой помесью ужаса, муки, стыда и падения. Нич-

то более не подлежит прежнему, до совершившегося, веками испытанному взгляду. Чтобы это осознать последним нутром, следует не только вспомнить о пророках, но и отдаться без всякой бережливости пронзительному, до костей, потоку сострадания и безрассудной жалости. Она ведь тоже не знает блуждающих релятивистских туманов, которые загубили не одну благородную душу... Безрассудной — но не тупой и слепой.

Если ты вчитаешься внимательно и без страха в «Нужную пищу», там ты увидишь и нужную ноту.

К Жоржу не поехал. Пишу тебе в новогоднюю ночь, которая на сей раз (и внутренне) уподобилась во мне предшествующим и последующим. Только мысль работает в полную силу и находит свой ориентир. Завтра должен обсудить с Мишелем Деги кое-какие детали. Исправил переводы. Читаю Лескова. Один.

...Снова, не выдержав, пишу Морису о Шаре. Беспощадно (но без гадких деталей) о человеке, который больше для меня не существует. И, перечитав «L'Oiseau spirituel<sup>1</sup>», с прежним трепетом — о поэте: на крыльях вылетевшую заповедную страницу. Порой жалко становится: если бы сохранилось что-либо лучшее из этих писем! Тартарары...

Мишель позвал на чтение даже двух министров, которых давно знает приятельски (но когда становятся министрами...): Ланга (культура) и Базентера (юстиции... вечно атакуемый). Оба, кстати (ох, эти «кстати»), евреи. Их полно и в Елисейском дворце (главный советник Миттерана — один из руководителей еврейской общины во Франции), и в правительстве... как, впрочем, и в руководстве компартии.

Просмотрел еще раз тексты переводов для двуязычного издания. Все самое мрачное, свирепое, жесткое и яростное. Не-

---

<sup>1</sup> «Духовную птицу» (франц.).

избежно. Шепот, «приговор», припляска — непередаваемы. Есть 2—3 исключения. Мишо, конечно, сделает, не забудет (б. м., этим и занят) — но когда? Не решаюсь и не хочу его дергать: если он будет чувствовать себя свободно, то и вещи окажутся лучше.

Шар... Да, многие его не любят и даже терпеть не могут. Но и совершив неотвратимый отбор в его поэзии, «не могу молчать»: лучшее (и его немало) — МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ. И родное для нас, близкое русскому. Мишо знает его слабые поэтические (и человеческие) стороны, однако весьма и весьма ценит. О нашем разрыве всегда предельно тактично. Шар, знаю, тоже его чрезвычайно ценит — но ревнив дьявольски! Небось, и эту дружбу не может мне простить. Я — ладно. Но как мог он тебя забыть? Морис ему о тебе писал... Позор, низость!

Автомобили клаксонят под окном: Новый год... А я ложусь (снова под утро) спать. Спокойной ночи, солнышко! Тебе, впрочем, скоро, быть может, вставать. Или ты праздновала где-то? С Ленкой — Юркой? Как я в их семье — в лютый сорокаградусный мороз.

Увидеть бы Андрюшу, упивающегося подарками! Ах, гниды полицейские... Быть может, если вы приедете, каменная глыба во мне растает — и чего только я не совершу! Пока не знаю.

Писать, высказаться... вероятно, мог бы и сейчас, но по-русски! — «автоматическим письмом»... Потом можно перевести. Мысль и есть динамическое слово. «В начале было...»? Тайна. Любое восклицание и любое междометие на языке человеческом сверхчеловечны: смысл. А смысл и есть словесная (иной нет, кроме как в бёмовской бездне, до творения и внутри из века рождающегося Бога) реальность. «В начале было Слово» означает: 1) творение; 2) тишину, которая была, есть и будет совместно... но всегда чуть опережая или чуть запаздывая. Но если НЕТ времени...

Шар — и «преодоленный» — все еще тяжкий камень. Пришел бы кто-нибудь и столкнул... с этим камнем пуповина больше меня не связывает.

Морис говорит о нас с тобой: «Вы живете на грани возможного». Знаю, знаю, родная, что тебе нелегко, и поэтому стонать не смею. Но у тебя Андрюша, ты в своем доме, и не стоит пред тобой безглазой угрозой ежеминутный вызов и выбор... Я потерял почти всякое представление о жилом уюте и «нежности сердечной». Когда Борька уехал, два дня (т. е. две ночи) спал без таблеток — а потом снова пришлось травиться... силы иссякают. Даже не знаю, выдержу ли часовое чтение поэзии: ты ведь помнишь, небось, как я «взвинчивался» каждой клеточкой и каждой жилкой. Слушал Жака и Мишеля (пробное) — нет, они не могут, нет интонационной раскатки. Жак, правда, голосом превосходно владеет, но все это на одной ноте, а Мишель (хотя у него отличный тембр) «глочет» текст — и никакой тайны.

То, что написал по поводу статьи Луи, не читай никому. Если соберусь, отвечу и публично под псевдонимом: он задел главное, что почти никто осознать не может, из-за чего страдаю безбожно и все мучительней.

Сделал себе новогодний подарок (по дороге от Мишеля): Менухин играет джаз (легкий) вместе со Стефаном Грапелли, известным джазовым скрипачом. У Вероники слушал. Это хорошо, когда есть дом и в доме друзья. На это надежды у меня нет. Завтра, быть может, попытаюсь выбраться к Габи на телевидение и тебе позвонить. Но страшно! После разговора тяжело — непередаваемо.

...Пусть сначала пройдет мое чтение. Уж «они»-то разнохают (м. б., и придет кто-либо: Жак и Мишо предполагают...), да и где-нибудь прочтут. В самих текстах ничего «зловредного» нет — Коленин и прочее остались за бортом. Но думаю и о расширенном издании. Мишель, заседающий в Comité de lecture у Галлимара, сразу после 12-го начнет там готовить почву, а потом (все

решает сам Клод, поэзию — по меркантильным причинам — не любящий) запрасят официально Мориса, мнение которого чрезвычайно много значит, для Самого. По словам Жака, после смерти Арагона осталось 2 человека, которые могут «навязать» Галлимару любую поэтическую книгу и любого автора. Это — Шар и Мишо. Но сам я просить Мишо не хочу.. посмотрим, впрочем. И так уже получил от него столько даров! Но если бы получить от Галлимара контракт, взялся бы переводить и многое другое: из третьей книги тоже. Текст Мориса и литографии, гуаши Мишо (где они? когда?) достаточно красноречивы.

...Да, пора оставить без внимания душевно-нервическое состояние тиранов. Надо же!.. Сперва приходит Б. с оравой молодчиков, отнимает силой (нет разве? силой!!) подаренную матери рукопись\*... и потом, отправив ее (так и слышу: «Это не я! Я ни при чем!») к черту на рога (ее — О.В., а не рукопись, разумеется), по ее возвращении целует ручку и обещает Б.Л. «в обиду не давать...» Экий благодетель! Постоял бы в очереди за сырком, вместо того чтобы копать в моем Рембо.

В «Экспрессе» мой знакомый сунул мне в руку последний номер «Русской мысли».... «Передовица» Эдика, который пишет на каком-то советско-блатном, порою мудрено-вымороженном диалекте. Писатель! Вспоминаю, как Сувчинские удивлялись моей русской речи: они уже привыкли (хотя не общаются... по редким залетным голосам знают) к тому, что речь тамошняя («здешней» просто нет) выродилась до неузнаваемости. Надо признать, что и «Память» Горбаневской делается грамотно. Но ведь создается она преимущественно там... а там кое-кто, считанные, впрочем, единицы, еще русской речью владеют. Говорю об азах, не о поэтическом слове. Зошенко — бесподобный поэт. А Зиновьев, Алешковский и прочие «сказители» — подзаборные хамы. И не только чудовищный советский словарь, не только дичайшие сочетания слов (очень любят: якобы библейское с очевидно клозетным), сама артику-

ляция (когда приходится слышать — да и вспоминаю слышанное): как будто у них каша во рту... и что-то придушенное... Ах, как не хватает НИХа! Когда встрепенется, слова вылетают тугими калачиками и ходят ходуном (интонация!). Поди объясни это Морису; «вообще» поймет, но «в частности», небось, считает меня непомерно требовательным. Разумеется, и азав мне мало... Сеземан грамотен и Синявский тоже... но речь их — гладкая, торная. Без акцентных вспышек и крутых, взвихряющих закорючек. То же и в Москве — упоминаемые тобою друзья... Не вижу ни тех, ни других. Говорить не с кем, т. к. для полноценного разговора нужен полноценный собеседник... а с другими всю жизнь проямлил на их наречии: хамелеон! (Неизбежно.)

...Борька вернулся из Бретани: теперь и поговорить с ним по телефону не могу. В конце недели приедет. Я позвонил, однако, воспитательнице. Волновался, что нет у него месячного билета, — оказывается, купили. Там за ними уход: и пуговицы пришьют, и накормят (ест много фруктов), и оденут, и постирают-погладят. Но покидать его нельзя: в том-то и несчастье его сожителей, что они — полубеспомощные — были покинуты родителями (или родители лишены судом родительских прав). У Борьки-то есть мы...

Сувчинский написал: наотрез отказывается подписывать свой текст; хочет инициалами... Но весь смысл пропадает! Позвонил я Мишо (который полностью разделяет мое мнение), «натравил» его на Сувчинского, которому он позвонит. Зачитал я Мишо Андриюшин рассказ, он — в восторге и считает правильным мое решение зачитать «текст» 12-го, с коротким (2–3 слова) комментарием о поэзии. Мишо работает над иллюстрациями, которые хочет усложнить... потом мне покажет, будем решать. Спасибо ему. Какое чутье!!

...Отчаянным игроком был Артур Рубинштейн. Смотрел вчера передачу о нем по телевидению. Какой человек — и ка-

кой артист! Умер месяц назад (95 лет) — и до конца сохранил тот же юмор, лукавство, жизнелюбие, чаплиновские ужимки... и как бесподобно говорил (снято, когда ему исполнился 91 год) о жизни — смерти, о Шуберте (я в слезах смотрел), о Моцарте особенно. Уже совсем беспомощный, прыгал к телевизору, как только говорили о Польше, которую любил безумно. Будучи преданным еврейству и Израилю (кадры: в Иерусалиме говорит о страсти человека к убийству — и особенно убийству лучших). О квинтете (?) Шуберта, написанном за 3 месяца до смерти: «Медленно-медленно, почти неощутимо вступаешь в смерть — с грустью, но безмятежно» (упрощаю; он говорил прекрасно). А Яше Хейфецу, на репетиции, сказал: «Будешь спешить — я тебя убью!» Под конец — самые пронзительные кадры: жена его ставит пластинку (он исполняет Шопена), и этот старец, без слов, покачивает в такт головой, сам себе изумляется, кулаком помахивает, подчеркивая ритм... и в глазах выражение такой детской радости! Счастливая жизнь — и этим счастьем обязанная только самому ее носителю.

В Израиле сейчас («кампания за мир») — Лиз Тейлор. Как я и думал, она еврейка. Находясь в детском приюте, какого-то несчастного усыновила. Принимает ее президент, Бегин и др. Бегин — ее безумный поклонник; видел все фильмы с ее участием. Не могу понять... никогда она мне не нравилась. А вот Клаудиа Кардинале — в отличной форме (42 года)... хотя грубовата несколько. Никто из них, однако, не сравнится с Мэрилин: видел в каком-то детективе — дивная!

Вести из Москвы неутешительны. Надеяться не на что. КГБ у власти! Ну, поменяют несколько министров, сменят кое-каких членов Политбюро, уберут кое-кого из ЦК... и по-прежнему, с новой, быть может, изощренностью будут сеять безмыслие, тупость, отчаянье, апатию, муки, голод, истребление и рабство. Перед ними — века! Мавзолейное бессмертие... которое не знает жизни, потому что вычеркнуло смерть из своего

лексикона... Брезжит во мне какая-то безумная догадка: катастрофическое изменение климата в России — не прямое ли оно следствие самой природы режима? Ни день, ни ночь: ни солнца, ни крошечной тьмы — вечная сумеречность, полусвет (об этом в «Отсрочке»; фрагменты в «Истории одного сердца»). Ах, кисанька, надо, надо все это высказать — приезжайте! Оживу! Скажу!

Рылся в тоннах писем: пожалуй, три четверти от Мориса... не сосчитать. Какая поразительная верность! Сегодня позвонил Моник, говорю ей: «Никого у меня тут нет, кроме Мориса, Мишо и Дюпена». «Очень неплохо», — отвечает она. Печально, что ее не вижу... она очень славная. Тебе напишет, но ты напугала ее и Мориса: обязательно ли писать адрес кириллицей?

Не терпится увидеть литографии Мишо. «Пока, — говорит он, — не решаюсь вам показывать».

Получила ли письмо от Сувчинских? Ответь им, пожалуйста. А почему не отвечаешь Мишо? Он заслужил! И Жак Дюпен был бы счастлив получить от тебя несколько слов. Морис думает, что его последнее письмо (где о Миттеране) до тебя не дойдет. Было бы прекрасно, если бы НИХ ответил Мишо (на книгу с подписью), пусть по-русски, я переведу. И мы совместно надпишем ему *édition de luxe*<sup>1</sup>.

Убедил меня Мишо: сделаю Андрюше рекламу. Если бы на 5—6 дней избавиться от гложущей тревоги, бесконечных звонков и т. д., написал бы текст о поэзии, начав с Андрюшиного рассказа. Морис зачитал его Моник по телефону. А мне пишет: «Андре хочет всю жизнь выигрывать — а я всегда хотел проигрывать и терять: то и другое одинаково трудно».

Как видишь, у нашего мальчика замечательные поклонники (Мишо особенно).

Ириша, в чемодан с «сокровищами» положи, пожалуйста, и

---

<sup>1</sup> Роскошное издание (*франц.*).

скопившиеся у меня письма (в ящике стола). И еще раз — никого не слушай — так или иначе мы будем вместе.

...Консульство. Заявление и справку (мед.) оставил: «запросят Москву...» и поддержат. Звонить просят 15 февраля! И даже к этому времени не надеются получить ответ из Москвы. Ну и нервотрепка! Если откажут, потребую тотчас постоянной визы, т. е. паспорта на постоянное проживание.

Письмо Франека... ох, скучаю без него, без друзей! Пишет кратко и о твоих переживаниях. Ириша, не волнуйся, все образуется.

...Аня Шевалье (пообедал с ней после консульства) обещала подобрать кое-что для мамы и тещи. Но крупных размеров тут действительно в обычных магазинах не бывает. Успокаивала Аня меня — пришел я после консульства взвинченный и злой. Физиономии! Глаза!

Ириша, задумайся на минуту: моя жизнь протекала почти всегда в каких-то необщих измерениях. Это — факт. Так что и дальше — еще посмотрим. Ах ты, Господи, ведь завтра — православное Рождество! Совсем забыл. Позвоню Степе.

Многие мне советуют съездить куда-нибудь за границу, развеемся. И в самом деле: сколько можно трястись и осторожничать? В Англии есть у кого остановиться; в Риме мог бы погостить у Дм. Вяч. Иванова (который, впрочем, больше не пишет). В Израиле — уйма старых друзей, кто-нибудь приютит (и визу дают — отдельно от паспорта, чтобы без следов; и посол французский — мой приятель, Жак Дюпон.). А тут, сидя на месте, как прикованный, совершенно извелся. За эти два года мог бы обучиться как следует английскому: без него на Западе трудно. Но видно, не суждено. Где там мой учебник немецкого?

...Говорил вечером с Бориным воспитателем: не успели ему (к Новому году) подарить приемник, как он его сломал. Просит новый... ему объясняют, что это невозможно, т. к. стоит денег и т. д. Нет, из этого не выкарабкаться...

А чудовищности свои (без кавычек) знаю — и каюсь, и помню, и «строк печальных не смываю». Поздно, быть может, обо всем этом говорить, но думать горько. Простой пример: незадолго до моего отъезда ты ко мне на Спасскую приходишь, предстоит долгая-долгая разлука (ты плохо это понимала), мы вдвоем почти не бываем, живем полуврозь (физически! Ибо что такое мой приход с Андрюшей вечером на Потаповский? Провожу 5—6 часов, ты ложишься спать, а я бегу искать такси...), надо нам поговорить, и прижаться друг к другу... 2—3 часа, больше не дано — и тут звонок: опять Боря пропал! И все — прахом! Как сейчас помню... нет, не надо меня корить словами о «несчастном». Во мне тоже торчит гвоздем кровавая по нем боль. Но жизнь-то моя, твоя и наша общая чего-то стоит! Морис вот пишет мне о дочери Джойса: какой была она хорошенькой и талантливой; как мало уделяли ей внимания и как влюбилась она в юного Беккета, который не удостоил ее взгляда... как потом провела всю жизнь в приюте для несчастных (сначала, недолго, во Франции, а потом — до глубокой старости — в Англии, навещаемая двумя-тремя верными друзьями). «Мало уделяли внимания?» — да нет, Джойс ее нежно любил и глубоко страдал. Брошу ли в него камень? Я и сам все предшествующее написал с болью, себя преодолевая, как всегда испытывая («беспричинно») перед Борей вину. Но и лгать себе не могу: уезжая с ним, не столько надеялся на излечение, сколько знал, что так больше продолжаться не может, что ради нас, ради Андрюши, ради него самого (ведь помрем...) надо его как-то устроить. Не суди, Ириша, пойми! Много раз уже писал тебе: даже если это «заслуженно» и «поделом», говорить с Борей для меня пытка. Простейшая фраза растягивается на десять минут и сводится к повторению в том же (или чуть ином) порядке одних и тех же слов. Добиться от него связного и просто внятного рассказа (об интернате, занятиях в центре и т. д.) я не в состоянии. Месяцами слышу одно и тоже: «Немножко при-

вык» или что-нибудь в этом роде. Право, не знаю, как бы он теперь говорил и с тобой... Вероятно, несколько лучше, чем со мной. Меня он, поверь, несколько не боится — не в этом дело! Думаю, что психоаналитик, говорящий по-русски (с хорошим опытом и умелым подходом), что-то мог бы сделать... но где его найти? Вспоминаю Алино (Эфрон) мнение — и совет. В сущности, ведь она об этом и говорила (хотя, разумеется, не очень-то хорошо представляла нынешнюю здешнюю ситуацию): об устройстве. К сожалению, я не сумел найти идеальный вариант: какое-то сочетание Центра и foyer, т. е. попытку лечения, приют и опеку в одном и том же месте. Теперь искать и менять поздно, да и нет ничего подобного во Франции. Зато есть отличная (в отличие от США, Англии, Швейцарии, где все НА ЧАСТНЫХ началах) система социального страхования, которая и позволила мне, ЧУЖАКУ, — ценою невероятных усилий и с помощью Грина и других друзей — Борю устроить. Рассуждая от противного: попробуй вообразить, во что превратилась бы наша (твоя!) жизнь, если бы так продолжалось в Москве — без школы, без всяких надежд на улучшение, на минимальную Борину самостоятельность (даже на телеграфе он не смог бы работать — куда там!) и т. д. и т. п. И учти, что (знаю по чужим свидетельствам и по Бориной мордашке) тут он более или менее прижился — совсем не прибитый и несчастный, как год-полтора назад. Может быть, прав и Баранес, считающий, что присутствие семьи — фактор чрезвычайно важный. Откровенно говоря, не очень-то я в этом уверен. Больше того: мне кажется (возможно, ошибаюсь), что комната на Потаповском, «мама» и «бабушка» — все это для Бори удобная скорлупка... чтобы, в ней оставаясь, не делать никаких усилий и никаких шагов к повседневной самостоятельности. Ведь вот научился же отлично разбираться в метро... а мне долго казалось, что для него это задача непосильная. Можно и другие примеры привести. И вспоминая его панические состоя-

ния в Москве («путешествие» к Соловьеву и т. д.), замечу, что здесь теперь такого не бывает. Это ведь кое-что значит. И если ему что-нибудь нужно, он больше не стесняется просить в фойе и в Центре... при всей своей неразговорчивости.

Теперь-то могу признаться, что растреклятое консульство вконец меня извело... я боялся тебе рассказывать, а надо было, и без нервических ноток. Ждать до последней минуты! Потом (вероятно) до конца месяца! Потом продлевать... на месяц — и снова ждать! Да ну их, собак, к лешему. Откровенно сказать, я втайне надеялся, что просто и грубо откажут — на что я ответил бы как следует, лишь бы прорвался гнойник! Нет ведь, все продумал опасливый консульский гэбэшник... на кой ляд ему брать на себя ответственность? И спросил: «А не собирается ли жена подавать?» И пообещал «поддержать». И ОВИР шепотом облаял. И ручку втихомолку пожал. А продлевать боится... вижу! Да только я дал ему ясно понять, что Борю не оставляю, лечения не прекращу и т. д. — пусть не надеются. Здесь они (хотя та же порода) поневоле должны быть более «понятливыми» — руки-то коротки, и скандала боятся. Тем более, что отношения с Францией, кажется, снова налаживаются. Шейсон (министр иностранных дел) в феврале поедет в Москву... а Guetta (замечательный журналист, но Польшу ему простить не могут), кажется, получил наконец разрешение — после многомесячного ожидания — на «устройство» в Москве. Уже 8 месяцев «Le Monde» без московского корреспондента. С Шейсоном, наверное, поедут в Москву и Габи, и Жак. Габи дает слово, что приглашение в двух экземплярах Франеку послал, но тот сказал мне, что оно не дошло. Обещал вскоре оформить новое и вручить его мне. Так и скажи Франеку.

...Нет, не забыл и не отвык: «Отправляю навечно» ведь не в шутку написано — как и «Моя жизнь» (помню, как НИХ ахал — как будто заново меня открыл). Думаю, что за всю мою жизнь я ничего не забыл и ни от чего не отвык, только все силь-

нее боль и жалость, от которых и в самой страшной тревоге мне не спрятаться. «Вы никак не хотите забыть вашего прошлого!» — почти патетически воскликнул благодетель в начале сентября... я только пронзительно на него посмотрел — тут уж было не до хитростей. Видишь: для этих людей бескорыстное сострадание — вещь немыслимая; погрязшие в злобе (при всем — изредка — внешнем лоске), они воображают, что всякий прочий тоже действует (и мыслит) по мотивам личной озлобленности, мстительности... или же благодарности за «брошенный кусок»... или же чисто инстинктивного страха. Все это есть, но эта измеримая наша часть в миллион раз ничтожней нашего неизмеримого и непредсказуемого, которое неподзаконно вопреки всем «разумным доводам». Говорю банальности. Прости.

...Борька... рубашка торчит, воротник не заправлен. Ругаю его, но долго не могу: жалко! И все мои планы кажутся вздором; была бы у нас тут квартира, конечно же, должен он с нами жить. Я ведь, Ириша, и люблю его, и жалею не меньше твоего. Всякой трезвости лишен... как любит он меня слушать! Чтобы позабавить его, рассказал на ночь о Монте-Карло, рулетке и моей страсти. И о том (мечты! мечты!), как было бы хорошо нам с тобой провести месяц на Ривьере — и как удивлялась бы ты моему знанию Антиба (каждый уголок и каждый ресторанчик), Cannes, Nices, Монако! Все там исходил и изъездил; если даже разок побывал, запомнил накрепко: зрительная память у меня — прежняя. О-о-о!!! Месяц бы нам с тобой там провести — и, быть может, набрался бы сил на великое переустройство. До чего устал! Сажу над проклятым переводом («Ты и я») — нет, еще надо править... Мишель ничего в этом языке не понял... а французский во мне не играет. Зато начал потихоньку переводить на русский «L'Arrêt de mort»<sup>1</sup> Мориса:

---

<sup>1</sup> «Смертный приговор» (франц.).

пока с наслаждением, без мук... русского-то еще не забыл. Но словарей нет! Хочу перевести эту повесть, а затем «*Au moment voulu*»<sup>1</sup>, великолепный бы томик получился. Где-нибудь когда-нибудь издам. А переводы моих вещей противно читать. Что от меня осталось? И с этим-то выступать... Завтра вечером встречаюсь с Жаком и Мишелем для последнего обсуждения. А издатель между тем затаился, пропал. Думаю, ждет иллюстраций Мишо — не хочет рисковать. Это, говорят, нормально. Потерпим.

...Сегодня встретил... Миттерана! Он обедал у Гольденберга, где я покупал блинчики и прочие мелочи. Заплатил в кассу — потом, вижу, какая-то суматоха внутри ресторана — и полицейский возник у выхода. Появляется, в сопровождении Гольденберга и еще 2—3 личностей, Миттеран, пожимает на ходу руку и — рядом со мной — выходит на улицу. Я даже горилл (личная охрана) не заметил. Сел в машину — и укатил. Разумеется, связано это и с муниципальными выборами, — но симпатично! Демонстрация солидарности с евреями (Гольденберг теперь символ). Я себя немножко поругал: надо-де было к нему броситься — «*Monsieur le President, vous avez mon dossier...*»<sup>2</sup> — но это, разумеется, на людях невысказано, да и *les gorilles* быстро схватили бы меня под локоток. Рассказал Моник, а вечером — Жаку и Мишелю: нет, ничего нельзя было сделать.

Обсудили в последний раз послезавтрашнее чтение — порядок и т. д. Кажется (??), народу соберется больше обычного. Даже я по каким-то откликам заметил, что «*Le Monde*» читают — заметку обо мне видели. Бонфуа прислал Жаку письмо, полное всяческих выражений солидарности со мной; готов помочь, подписывать и т. д., но прийти, увы, не сможет, так как принимает 12-го в *Collège de France Борхеса\**, которого будет потом

<sup>1</sup> «В нужный момент» (франц.).

<sup>2</sup> «Господин Президент, у вас мое досье...» (франц.)

кормить обедом, т. е. ужином. Пусть Борхес приходит! Нет, невозможно. Пришлось уступить Мишелю и Жаку еще по одному тексту для чтения. По-русски же очень хотелось прочитать «Отправляю навечно» — увы, слишком длинный текст...

Выспаться бы. А перед чтением начифирюсь. Чтобы уложиться в программу, нужно читать быстро и без длительных пауз между текстами.

Вознесенский снова тут (живет у художника Адами — Жаков приятель, но...). Спрашивают меня: не явится ли он на чтение? Как знать...

...Вот, кажется, хотят поместить на чтение отклики в газетах и журналах — спрашивают Жака: «В.К. — диссидент?» Бррр... Но если отклики появятся, это будет в Москве замечено: пригодится. Все-то они раздувают... тем лучше! А по-русски... для кого читать? Слава Богу, Марьяна Сувчинская придет — а П.П., разумеется, не сможет... жалко! Андрюшино сочинение (с «комментариями» о поэзии) прочту, лишь если останется время, под конец.

Морис считает, что его письма (короткие, но частые) до тебя не доходят, особенно после того, как стал он с усилием выводить по-русски адрес. Если получаешь их — отзовись. Опять настаивает: не рвать с Россией, не предпринимать ничего, что могло бы навсегда с тобой разлучить и т. д. и т. п. Ему кажется, что ты пребываешь в тягостной нерешительности. При всей дружбе... мучительно стало для меня излагать невыразимое в письмах, без всякого с ним личного общения. Мишо тоже избегает встреч: вижу его крайне редко — последний раз был у него месяц назад.

...Перечитал (собственная репетиция) свои русские отобранные вещи. Едва ли не лучше всех — «Песня» (до сих пор слеза прошибает — и под конец начинаю петь). В первой книге, неровной, скверно собранной, лишенной цельности, попадают все же перлы... куда мне до них теперь! Хорошо говорил

Б.П. о КНИГЕ: так вырос у меня «Холм», из ниоткуда в никуда. Спасибо Франеку за сказанное о нем.

Ах, киса, как жить без России? Косорылая, кривоногая — своя! Чтоб ей... земля пухом. А земля эта — иголками, булавками, рогатинами да штыками. За что? Ведь недаром же дан ей божественный и ни с каким наречием не сравнимый язык. Теперь я убедился, что близок нам не только Рембо, но и Мишо (30-е годы). Его бы и Хлебников, и Ремизов (любил!), и Хармс с Введенским признали вполне своим. А бывает злоюкой — ух! Надо уметь давать ему отпор... но у меня-то мало поводов жаловаться. Умоляю, Ириша, напиши ему 2–3 слова: он поймет (как Андриюшино понял). И НИХ пусть напишет: короткую благодарность. Я передам и, если надо, переведу. Пока, думаю, Мишо меня избегает (кроме телефона), т. к. чувствует себя обязанным побыстрее закончить. Завтра я его и еще кое-кого (не назвав, но чтобы было ясно) в начале поблагодарю. И конечно же, Жака и Мишеля. Нашел нужные слова.

НИХу в тысячный раз скажи: если бы он решился... половина моих брыканий испарилась бы без остатка. Уж я придумаю, как его вытащить без чрезмерных осложнений. И мы с ним тут кое-что устроим. Скажи, что скучаю без него порой до ужаса. Главные его книжные и др. сокровища (их ведь в 1000 раз меньше — по количеству — наших) можно будет перевезти. А язык — не препятствие. Убедится.

Чтение прошло неплохо; народу было необычно много (250–300 человек: полный зал). Жорж появился. Мишель Окутюрье — и его beau-frère — известный философ Жак Деррида (друг Бланшо — и Жака Дюпена). Грак незаметно появился (поздоровался — и спрятался) и незаметно в конце ушел. Конкуренция с Борхесом, разумеется, помешала. Но и оттуда, не дождавшись конца, многие приехали. Мишо со своей Мишлин\* (укрылся в последнем ряду; говорят, был

в восторге от моего чтения). Клод Симон\* (которого я, признаться, никогда не читал). Известнейший дирижер Жильбер Ами, которого привела Марьяна Сувчинская. Степа, конечно, с Анной. Тоня. Алешинский (художник), который потом за обедом (то бишь ужином) предложил мне совместное изделие у Магта — его литография и мой рукописный текст (деньги!), но не люблю я его живопись. Кое-какие поэты, кое-какие критики. Разумеется, Берес (в первом ряду). Чьи-то именитые супруги. Кое-какие русские. Маркадэ\* (я его не узнал). Друзья мои и друзья друзей. Многих я, понятно же, не заметил, а потом надо было быстро уходить (гасят свет!..) так что выслушал на ходу всяческие комплименты, обменялся двумя словами с Жоржем и Степаном, с кем-то расцеловался, пообещал зачитать по-русски для университета и отправился в большой компании в ресторан. Рядом с Жаком и Кристин, моими родными.

Поблагодарил я сперва Мишеля и Жака, а также неназванных: *qui savent et qui m'ont aidé à tenir dans l'impossible* — всех тех, кто помог мне выстоять в невозможном. Безумно аплодировали русскому чтению (особенно «Песня» — я ее пою под конец; люблю эту вещь до слез).

Да, ни с кем там поговорить не успел. На ходу расцеловался с Аней Шевалье, еще с кем-то. Жоржу предложил завтра позвонить, но он сказал, что занят. А сегодня (он спросил) я не мог: Жак с Кристин, Мишель с Моник, Алешинский с женой, Деррида и еще человек шесть сидели до полночи в ресторане. Николь Занд не пришла, так что в «Le Monde» больше ничего не появится. Но сегодня была заметка в «Le Matin», а Жак напишет и поместит отчет (с цитатами из Бланшо и перечислением именитых слушателей) в «*Quinzaine Littéraire*». Появление Жоржа я оценил... Но уверен, что все будет продолжаться по-прежнему, т. е. никак. Многие обещавшие (и даже просившие приглашение) не пришли. Ну и пусть.

В этот вечер вдруг вспомнил, как я люблю читать свое. Кому? Это для меня важнее всех публикуемых книг. Какая-то малознакомая русская («университетчица») сказала: «Вы читаете по-русски потрясающе». Сам знаю. Алешинский говорит, что и по-французски — в отличие от всех нынешних — читаю с какой-то невероятной ритмической интонацией. Ну, в этом я не уверен.

Бонфуа я сегодня днем позвонил: приведите, говорю, Борхеса. Куда там! Почести, орден Почетного легиона и т. д. и т. п. Сам Бонфуа, впрочем, всячески извинялся, спрашивал, чем может помочь, предлагал на днях встретиться и т. д. Поэтически — чужд, но если надо будет «развернуть кампанию»... он — самый что ни на есть официальный поэт (и поэт хороший безусловно — однако не в меру своей поэтической славы).

Что я теперь буду делать? Хотелось бы снова вгрызться в переводы и подготовить на 100–150 страниц том для «Галлимара». При такой адской тревоге безделье убийственно. Но и тревога сковывает порыв и ритм... порочный круг.

Ах, солнышко, что бы я делал без поэзии? Давным-давно бы веревку на шею... Прости. И ведь эта несчастная поэзия никому не нужна! В России, может быть... да и то — помню и вижу отсюда. А здесь... Господи! Издательница моя передала через Степу извинения: занята... У них приглашение давно.

Треклятые чурбаны: покойники Брежнев и Подгорный, литературные критики из «Вопросов литературы», эмигранты (при всех их распрях) Лимонов, Зиновьев, Алешковский, Пипкин и Жопкин, вечно живущие Ленины и Андроповы, гумовские бабы и белорусско-вокзальные бляди, ...енские, ...инские, ...ойловы, ...цевы и ...чевы, архивно-копательские юноши и бородатые публикаторы, коллекционеры и гробокопатели — одна шайка: единая и одноязычная. Вместе с диктором Арбениным и комментатором Жуковым, от которых мало отличаются здешние... На кой им поэзия?

А ты еще мне: «Всеим людям нужно». Каким это еще людям? Днем с огнем (диогеновским) не отыщешь. Тут на поэзию вообще плевать... Любой клошар (не о человеке говорю, о самом клошарстве) дороже ценится. И слово поэзия употребляю в смысле самом широком: кровью добытое освобождающее слово. От Гоголя до Хлебникова, от Гёльдерлина до Аввакума, от Бланшо до Тютчева и от египетских повестей до Лао-дзы. Многорассуждающие педанты не в счет. Этот мир я не приемлю — и никогда не приму. Но где же попросту существовать? Кажется, нигде. Потому что другого повседневного мира нет.

Утром позвонил Грак — поделиться впечатлениями. Потом позвонил я Мишо. Что бы он ни говорил, знаю, что в переводах ничего ровным счетом от меня не осталось. Нет, не поймут. Жак читал совсем скверно, а Мишель гораздо лучше, чем я ожидал. Как им всем объяснить, что мне, в сущности, это чтение вовсе неважно? НИХу, отчасти Сувчинскому, тебе («поделиться!») — вот все. Остальное никому не нужно... хотя слушали внимательно на удивление: ни кашля, ни скрипа, ни хождений. Когда книга выйдет? Боюсь, не раньше осени. Мишо говорит: «Я начал р'оботать». Начал? А я-то думал, уже многое готово.

Что делать, Ириша, что делать? Буквально! Чем заняться? Разговорился с живущим тут давно (и очень неглупым) марокканцем: он говорит (и я полностью согласен), что жить в этом Сите — все равно что на тротуаре. Работать невозможно, задуматься невозможно... Да еще (за редкими исключениями) бездарные претенциозные болваны: муравейник! И никто ни с кем не общается... говорить не о чем: пустыня (каменная).

...Читая вчера вариацию памяти Кости, думал о его страшном конце. Жорж, кстати, сказал, что на его взгляд, это лучший перевод. Относительно, может быть. Но (ты не согласишься) лучшее мое пронизано любовью и радостью (в самом

языке!), а не этой свирепой яростью, которой дышат французские тексты. Сквозь ярость, в песне и танце (ритм!)... по-французски выходит (если выходит) жестко, негибко, а подчас по-деревянному.

Кстати, Андриюшино сочинение не прочел — за недостатком времени. Надо было и прочесть, и сказать по этому поводу самое заветное. Минимум 10 минут, а я еле-еле уложился. Будь я в ударе, несомненно написал бы (для журнала Деги или куда-нибудь еще) кое-что на этот счет, начав с Андриюши. Но я не в ударе (под ударом)... и безумно трудно без книг. Один текст на 5—6 страниц требует двух сотен (минимум) книг под рукой: многое из русской поэзии (и о поэзии), египетские повести, философия, все, что рассматривает соотношение динамики и статики (динамично именно ЛИЦО МИРА, а не единичное: повторяющееся; мы должны стремиться к спиралевидной статике слова, которая оказывается в конечном и необходимом счете последней, без изнанки, наготой ЛИЦА, т. е. движения; обо всем этом, менее развернуто, я говорил когда-то НИХу, который находил удивительные совпадения с идеями Малевича). Боюсь, что не только теперь, но никогда более не удастся высказаться. Предстоящая жизнь (там ли, тут ли) не позволит. По-французски, к тому же, писать не сумею (это не страшно, можно и перевести... но что за бред — писать по-русски для французов?). Ах, какая несусветная, нелепейшая страна... немало было на свете тираний, но никогда еще не существовало Союза писателей плюс Комитета по печати плюс идеологического отдела ЦК плюс Главлита плюс редакционно-издательской иерархии плюс барабанных статей, инструкций и постановлений плюс топора, занесенного над каждой запятой, каждой мыслью, каждым именем, каждым обнаженным местом плюс тайных кардиналов с их бесчисленными штатами, «управляющими» культурой плюс организованного злодейски и террористически истребления живой речи... Ложь, ложь, ложь — и

самозванство. Потому-то (не в «Синтаксисе» дело) так страшит их незаконное слово, выходящее за тесные, общепонятные рамки этого порочного круга. Заметь: куда легче (пусть и со злобой) им «переварить» зловерные (в том же круге!) сочинения, нежели Хлебникова, Филонова, настоящего Ремизова... или мою горемычную особу. Кое-что пытаются красиво уложить в академические сундуки... отлично понимаю, зачем издают Цветаеву... но даже (даже?) истинный Пастернак, с его мельницами на краю поля в черный голодный год — этот Пастернак внушает им, я убежден, неискоренимую злобу. Самые лютые (политически) их враги, говорящие на их (более или менее) языке побуждают их (не о сталинском времени говорю, но тем-то и показательней: основа) искать каких-то компромиссов, грозить, приручать, пусть даже гнать (куда?) в три шеи — но как-то соразмеряться, считаться, «понимать»... тогда как Белый (с дебелим!) и сам Гоголь (БЕЗ сталинских цитат) ставят их в крайний и остервенелый тупик. Не укладываются ни в какие «Лит. наследства», «Лит. памятники», «Всемирные литературы» и «Библиотеки поэта». Кудиновский Рембо — это они понимают (высокая политика!); но мой!.. Думаю, что сам выбор (для «Лит. газеты») далеко не случаен: тут сказалось их глубоко затаенное и призрачное нутро. Что уж говорить о «Холме»... Одни «НАВАЖДЕНИЯ»\* чего стоят! Как будто сноп внезапного света — прямиком в полумглу, где таятся, копошась неслышимо, недотыкомки. Прочли или нет — это дело десятое. Говорю о существе... не знаю, достаточно ли ясно выражаюсь. Но процитировать (для разоблачения, чтобы показать враждебную стихию) икса или игрека (не стану никого называть) они бы могли, а меня — ни за что. Самое печальное (и естественное!) — что «образованная» и «читающая» публика, за вычетом ностальгического, «узаконенного» историческими датами и литературными хронологиями снобизма, остается в том же порочном кругу. Об этом надо говорить спокойно и без го-

речи, ибо тут — вселенское, вечное, неистребимое (если дозвоительно в этих измерениях пользоваться словами «вечное» и «вселенское»). Ярость, которая у меня прорывается (в т. ч. в этом дневнике), меня, разумеется, не украшает... но она сильнее моих разумных доводов: поневоле (или нет?) пещерный, обращаюсь к голодному и съеденному и пещерному. Пусть услышит, братик, а на прочих... с высокого места! Услышит! Если напечатаю... (Вот какое мелкое — с высоким рядом: но это лишь на первый взгляд.)

Снова ожила во мне заветнейшая мысль: если бы кто-нибудь (но где они?) положил «Песню» на музыку! Помню, словно это было вчера: в доме творчества (забыл, как называется!), после недельного разгона (3—4 вещи) валялся на кровати... и вдруг — запело на тысячи ладов! Господи, какое это было счастье! Все пропелось в пять минут, осталось лишь точно записать, кое-что уплотнив. В слезах писал — от радости, муки, вместе! И даже стол тамошний помню. И позу свою вижу. Рукопись, конечно же, порвал (или?), а теперь — жалко. Ах, ничего больше не надо: только еще пропеть бы с такой пронзительностью. Да тебе и НИХу прочесть. И Сувчинскому тоже. Эх, Ириша, видела бы ты его изумление! «Ну, знаете! Ну, знаете!!»... никогда не забуду. 90 лет!! Еще сказал мне: «Стравинский с ума сошел бы от восторга». Вот кто мне нужен для музыки — и не неоклассический, а другой, до 25—26 г. Тут его струя! Да, не в то время я угодил. Сам себя читаю, сам с собой разговариваю. Дрянь дело!

...Грин сегодня ответил мне по телефону полуживым голосом... устал! Огромная книга о Франциске Ассизском, «Дневник» и др.: все выходит одновременно. Сто лет его с Эриком не видел. Видимо, на той неделе. Попросил Эрика: Грин надпишет Франеку книгу! Что угодно... «Дневник»? Франек пишет мне о «Дневнике». Получит, так и скажи. А может быть, и две попрошу. В память наших «толковищ» на кухне... которых так мне не хватает.

Как видишь, Ириша, я верный... потому-то так и страдаю.

Да, верность теперь — «палка о двух концах». Если вернусь в Москву (и уж точно — не говоря о прочем — никогда уж больше не выеду, разве что навсегда), буду тосковать по здешним: Дюпены, Деги, Мишо, Морис (пусть даже «письменный»), Степа и Анн, многие другие. Ну, Жак-то обязательно в Москву придет — если я там буду. Мишо — по-особенному. Уже писал тебе: оживаю, буквально, после встречи и разговора с ним; разумеется, есть в нем и стариковское — но никакого Ассирия Вавилоновича. И не только мысль, поэзия, поиски в живописи, точная (не без злости) мудрость... физически! (тьфу-тьфу). Только подумай: отправился сперва на встречу с Борхесом в Collège de France (хочу его расспросить; они давние знакомые; но он мне, год назад, о Борхесе довольно едко говорил), оттуда спешно — на мой вечер (и поспел вовремя), а вечером со своей подругой еще куда-то направился (я было его хотел позвать в ресторан). Что он делал до этого, с утра, не знаю. Попрыгунчик! Кстати, бывший супруг Мишлин Куперник хотел прийти, но заболел, не смог. Ну его! Не могу забыть, как он беспощадно о Боре (при нем!) высказался. Пусть даже справедливо... Но говорят: умен! И по-русски — как самый что ни на есть русский.

...Как одолеть эту разъедающую тревогу? К вечеру чуть оживаю... один, всегда один. Ко всему тут привык, но изобилию продуктов поражаюсь до сих пор (пожалуй, отмечен навсегда даже не последними годами в Москве, а лагерем). Рядом — остров Св. Луи, прекрасное (одно из лучших в Париже) место, где лавок, магазинчиков, ресторанчиков и т. д. хватит на весь СССР. Булочные (там же и сладости, горы пирожных) — каждые 25 метров. А вечером — если хочешь забыться — кино и тысячи иных развлечений (за исключением кино, преимущественно для туристов); потом прогуляешься, чтобы развеять тоску, пороешься в книгах (вплоть до полночи, а кое-где и до утра): в Dragstore можно найти почти все — и вульгарный де-

тектив, и замечательные книги по философии, мистике. И Мишо, и «Обломова» (на французском, разумеется), и китайскую классическую поэзию.

То, что не издаю третью книгу, — наихудшее, никакой болью за себя и близких не оправдываемое предательство. Как будто младенца в корыте утопил. Это, Ириша, не моралистика, не «рассуждения», а самое глубокое страдание. Другого оправдания моей непутевой жизни нет и не будет. И чувствую, что, не «разделавшись» с этой книгой, ничего нового написать не смогу, любить больше не сумею. Страшный ржавый тормоз в груди. Мегаломания? Не знаю, не хочу разбираться. Если ничего больше нельзя печатать... и писать больше незачем. Стыд и комок в горле. Да и вижу, что творится, какая нищенская участь выпала слову живому: сейчас вот М.С. готова печатать... а завтра? Никого, быть может, не найду. История «Холма» и его публикации — если книга останется (вообще — что останется?) — должна быть когда-нибудь вспомнута: тебе на расстоянии понять это было трудно, да и не «жгло углями», как в моей груди. Кстати, эти «Облака»: кто понял? Возможно, ни единая душа. А вещь-то очень всерьез, на грани... За такое языковое шаманство платить надо высочайшую цену. Так было всегда, и я мог бы под этим углом взглянуть на жизнь Рембо и Хлебникова (самое очевидное) — и Гёльдерлина, и Батюшкова, и Гоголя, и даже Пастернака. В языке жуткая тайна, которую оглашать не позволено: платят безумством (клиническим), платят спячкой (многолетней, в красивых нарядах), платят гнойной и червивой гангреной (см. «Ты все еще впереди!»). Знали это египтяне, знали (до «классической» эпохи) греки, знали по-особому, ни на кого не похоже, евреи, которые не случайно обходились без гласных... Но евреи, доверчивые и простодушные перед Богом, впервые позволили себе говорить с Ним на равных, не прибегая к языку засекреченному, как если бы человеческая речь, слово Иова, была и в лепете своем божественной и Все-

вышнему понятной. Только не плетения советчиков, укоряющих Иова, не их узаконенная и подзаконная СЛОВОМЕЛЬ, а его незаконное, безрассудное, обнаженное до последней кости слово. За него-то он и платил... но был понят.

Нет, евреям шаманства в языке не нужно, это в них Розанов уловил. И вообще шаманство — лишь на поверхности вынужденное тысячелетним языковым наростом пробивание к той же распоследней наготе. «И звезда с звездой говорит». С верующими посредством нароста и коросты говорить невозможно; в этом смысле я неверующий... а если порыться да покопаться? Не знаю, не нам судить. Вот именно: кость. «Она-то, может, ответит? Врешь! Молчит и в земле».

Эта моя «сторона» никому тут неизвестна (а в Москве?): и Мишо, кажется, не знает. Непереводимо: непереВАДИМ. Прости эти дурацкие шутки. Но отношение к языку у меня — как самая безумная, ненасытная страсть к любимой женщине. Это знают и в XX веке многие «теоретики»: язык ничего не выражает, он ЕСТЬ. Вот за что я ценю НИХа: «объяснить» он не сумеет, охватить мыслью (даже на простейшем «формалистическом» уровне) ему не под силу, но разве это важно? В нем эта страсть, пусть в виде эха, отзвука, дрожащей струны, живет неистребимо. Такое не стареет и вообще возраста не знает. Догадывается ли он? Я ему очень многим, без чего жить бы не смог, обязан навеки. Пожалуй, догадывается. Иногда без него физически страдаю. Поэтическое чтение, общение — физическая разрядка. Другой дает тебе в этом взаимодействии мешок с кислородом — чтобы в каменной пустыне не задохнуться.

Сувчинский позвонил (чувствую, что ему трудно говорить): сказать, как жалеет он, что на чтении не был; ему уже несколько человек звонили и восторгались моим русским чтением. Что они в этом чтении уловили? Загадка!

То, что осталось, хочу прожить в полную силу. И это временами обжигающее — в меру нынешнего неподвижного льда. Не

надо (имею в виду и третью книгу, и морализм, который ненавижу) поддаваться СЛЕПОЙ жалости, никогда, ни в чем; идя своей дорогой, жалеешь безмерно все живое, индивидуальное, обреченное и слепое. Но дорогой-то идти надо и не вслепую. Иная жалость — дешевка: жалеешь наихудшее в себе (думая о другом), свою шкуру и свои мозоли. Это не пустое теоретизирование, чтобы «освободиться» от непосильной ноши, — поверь, выношено через ложный стыд (который есть и, быть может, всегда останется). Дорогу надо слушать... и это само собой происходит, без всякого «надо». На ходу вчера купил Миларепу — книгу, о которой в Москве когда-то мечтал. Превосходное предисловие переводчика о тибетском аскетическом мистицизме — и замечательные слова о восточной жалости, которую предпочитаю сентиментальной, эпидермической, избирательной западной (разумеется, и на Западе другие примеры были). Это — страшная тема и жуткая бездна. Но, читая это предисловие, призадумался: а не такой ли жалостью (все сущее и обреченное в своей карме) пронизано то, что сказало мне о стульчаке Васильке, трамвайной ручке Соне, ежике Курултае и паршивом листке вместе с курочкой Аленой и самой Пелагеей Егоровной? Потому-то и лезут в глаза имена, что за ними — нескАзанное и нескАзнное. Возможно, что и преувеличиваю. Вместо (вместо ли?) восточно-буддистской мудрости, которая определяет жалость и сострадание, у меня свирепость недопонимания и недоумения... да и ни один восточный мало-мальски разумный человек не стал бы так в себе копать, как я тут это делаю. Хочу понять! Ничего еще в себе не знаю! И в какую карму записать Иова?

Да, издать надо книгу... потерплю пока — но сколько еще? А вот голубь Яшка — самый настоящий ТАОИСТ. Это несомненно.

Куда я забрался, в какие дебри? Пора бы и на землю, да земля не пушает.

Видимо передам тебе книги: Бунин и Аля — Леве (по заказу), а 3-й том Чуковской не появился еще. Тебе уже передавал Алину переписку\*. Мою — кому хочешь. (Я больше не надписываю, чтобы оставить тебе полную свободу и никого не подводить.)

По телевидению — жуткий двухсерийный американский фильм «Третья мировая война». Жуткий — хотя сама война остается за занавесом. Довольно правдоподобно политически и даже психологически, но представляю себе, как откликнутся в Москве. Тем более, что главный злодей — глава КГБ, по ходу дела «вынужденный» убрать Генсека. Этот Генсек мало похож на реальные фигуры — и маловероятен; но вот кагэбэшный глава... просто удивительно, как сумели подобрать точный типаж, манеру одеваться, изъясняться и т. д. Да, в Москве это вызовет лютую ярость. Политическая схема проста. В конце 80-х годов СССР, под длительным воздействием зернового эмбарго США и всех других стран Запада, начинает трещать, население голодает, никто не работает и т. д. (сомнительная перспектива). Во время многодневной пурги высаживают в Аляске десант особого назначения, который должен захватить главную американскую нефтяную систему снабжения — и посредством шантажа добиться отказа от эмбарго. Так что действие происходит на двух уровнях: маленький героический американский защитный отряд (случайно узнают и т. д.) — против десанта; и переговоры, шантаж, отсрочки и дьявольские хитрости на уровне высшем. Симпатичный американский президент, колеблющийся до конца, но вынужденный принимать крайние меры. При нем — советник по нац. безопасности; разумеется, очкастый еврей (нечто вроде похудевшего на 30 кг Киссинджера). Глядя этот фильм, видишь ясно, что войны не хочет никто... кроме главы КГБ, который становится Генсеком (!). Да и тот убежден был до конца, что американцы отступят. Но ясно «продемонстрировав» их преступную натуру, решает нанести первый удар.

Тут действие обрывается... идут, короткими вспышками, кадры кинохроники: Нью-Йорк, Средняя Азия, Тибет, Москва... «жизнь на земле». И последнее (действительно красиво): мальчик где-то в деревне под солнцем гонит по траве серсо.

В сущности, конечно, схематично и примитивно. К сожалению, сама действительность свелась к примитиву и схеме. Ясно всякому, что готовился и снимался этот фильм до смерти Брежнева... но этот упор на роль КГБ, который так или иначе навязывает свои решения... да, призадумаетесь.

С московской точки зрения, демонстрация подобных фильмов «разрешительна» в США; но во Франции?! Сегодня-завтра заявят протест — убежден. И не совсем я уверен, что появился этот фильм на здешнем телевидении без воздействия свыше. Миттеран настроен антипацифистски... Да только страх перед ядерной войной и Советами таков, что в пацифисты записываются (в США, например) совершенно неожиданные личности, бывшие военные министры и т. д. Так что фильм может зрителя лишь дополнительно напугать. Однако с европейской точки зрения — это «подходящая» пропаганда, ибо европейцы прежде всего страшатся войны у себя... а тут дело происходит в Америке: она первая затронута. Америку подозревают в страшных (и прямо противоположных) грехах: не то она хочет оставить Европу на произвол судьбы, не то вовлекает ее предстоящим размещением новых ракет в неминуемый конфликт.

Рейгана в Москве боятся, ждут от него всяких пакостей... но отлично знают, что все эти президенты и премьер-министры временны, Запад в экономическом кризисе, население ни к какой серьезной войне не готово... а перед Москвой — века! Вот уже о покушении на Папу почти ничего не пишут: явно не хотят (а как иначе, если?..) ставить в неловкое положение «новое советское руководство». И впрямь... с кем же еще тогда говорить? Андропова наделяют какими-то особыми качествами и предпочитают иметь дело с ним, а не с окружающими бесцвет-

ными фигурами. Можно подумать, что он — цветастый! Конечно, умнее других и положение в России (как и на Западе) знает. Но уступать не может и не хочет ни в чем: это стало тут очевидно после первых минут легковерия. Если бы действительно хотел он улучшить положение собственного народа, заставил бы (кто еще может, если не он?) вывести войска из Афганистана, вообще плюнул бы на имперские посягательства последних 30 лет и объявил бы в стране НЭП. Как говорят французы: Tu parles! если бы да кабы... Вот и будет все развиваться по неотвратимой дьявольской спирали... ради чего??? Я просто не в состоянии понять: из какого теста сделаны эти люди? Видел ведь... Даже не в привилегиях дело (чего они стоят? тут они в распоряжении каждого работающего — не привилегии, а человеческие условия жизни) — во власти. Голая власть и стремление быть ее средством, т. к. просто БЫТЬ не могут: призраки, недотыкомки. Такого в истории, кажется, никогда не было. Отдельные личности... но такая огромная, разветвленная, созданная навеки система! Уж казалось бы, кое-кого должен был опыт научить. Ведь есть среди них неглупые люди! Неужели ни один не скажет себе в глубине души: хочу власти, потому так и поступаю, то и то делаю. Емельянову к Козовому не пускаю, а певицу Быкину заставляю петь басом! Нет же, напускают туману в собственную голову, которая, быть может, способна весьма недурно соображать. Но по космическим законам, умственная (как и всякая прочая) энергия следует по пути наименьшего сопротивления, и как бы человек на протяжении тысячелетий к космосу ни относился, он всегда создавал — так природой задумано! — препятствия для своей энергии. В их преодолении («от мухи к слону», по выражению Б.П.) он и создал хрупкий человеческий мир. Если эту природу начисто отвергнуть, остается вечный фантом... символ которого — вечно живой (верю!) — возлежит неподалеку от тебя под стеклянным колпаком.

Поминание этой ХФЫГУРЫ, даже в самом конце жизни Б.П., не к его чести. Это надо прямо сказать. Понимаю: в нем тоже сильна была (по артистической, что ли, линии) антибуржуазная закваска (меньше, чем, например, у Бердяева). Но можно было наконец понять: самое скотское, самое звериное в этой проклинаемой нами буржуазности (которая научилась его в себе «вытеснять» — читай Фрейда!) вырвалось наружу именно через эти штиблеты. Ненавидимое Пастернаком в XIX веке ненавистно и мне. В XX веке? Ты мое отношение к здешнему миру знаешь. И к либеральной болтовне тоже. Но нельзя же забыть о том, что два эти века — песчинки в море человеческой истории. Всегда поражал меня историоцентризм большевистского сознания (крепко вбитый в головы мешан). Но он не в 17 г. родился, а вышел из XIX века. Пожалуй, следует наконец признать, что объявляемая «буржуазности» война — это алиби для тех, кто остается в том же порочном кругу. Если взглянуть на поэтов (с которыми больше всего «имею дело»), легко отличить фатальных, неотвратимо изгоняемых и побиваемых камнями, клянущих неволью свой гений «à travers un desert stérile de Douleurs» — «сквозь голую пустыню страданий» — от делавших ставку на этот неистребимый антагонизм и свою «проклятость». Есть, разумеется, смеси и градации. Брошу ли камень в Цветаеву? Недопустимо — и само поползновение в себе прокляну. Но вдуматься в ее катастрофу — нужно. Ради нас всех, ради нее, быть может. Тут снова возвращаюсь к сказанному выше о жалости.

Ах, Ириша, сколько надо сказать! Сколько продумано, выстрадано! Я вот и Морису написал: если бы собрала ты лучшие фрагменты этих писем, я, возможно, опубликовал бы их (чуть-чуть выправив, сжав, уточнив) отдельной книжицей... или еще как-нибудь... потому что иначе не соберусь, а эти редкие озарения больше не вернуться. Многое тут, конечно, только помечено пунктиром: это мог бы и «развернуть». Но голова моя работает вспышками, фрагментарно и письменно («пись-

мо» — в смысле послания, разговора на расстоянии) — так пусть и останется. Год-полтора уюта и покоя. Вряд ли, вряд ли.

Тревога в гроб меня загонит. Самый страшный мой грех. Сидеть истуканом под грохочущей крышей и ждать, пока ударит в голову камень. Какой? Поди угадай! Не уметь подняться, доплестись к выходу, отдышаться на воздухе, прижавшись к стене. Да не все ли равно? Тут или там, тот или иной кирпич... голова-то одна! Конечно же, надо вернуться — там мой дом! Но боюсь теперь, затопчут. Я, Ириша, никакими обстоятельствами эту безвыходность не объясняю. Ни Борей, ни зловещими кабинетами... все внутри, изнутри! Заслужил истукан, досиделся. Ты, московские друзья и знакомцы, Морис, здешние эмигранты... не о том толковали полтора с лишним года подряд. Я-то понимал головой, отбрехивался и отплеывался, но пальцем не пошевельнул, чтобы «направиться в какую-то сторону». О книге говорить нечего: это не выбор, а «само собой». Не в четырех, а в четырехстах соснах заблудился... да это дела не меняет. Грех свой знаю сам, а потому и не позволю застывшим соснам тыкать в меня пальцем. Им-то легко, пригвожденным к месту.

Сувчинский, конечно, навсегда был мечен евразийством: потому-то многие в эмиграции его не любили. Но когда он клянет эту эмиграцию (за вычетом редкостных одиночек), я ему верю. И это — о прошлой, столь многочисленной и (все же) связанной с Россией кровно! В нынешней я никакого места себе не нахожу, даже с краешка... но ведь офранцузиться не способен! К тому же вижу вещи просто, без теорий: квартира, деньги, работа, быт... бррр!

Пытался тебе дозвониться от Жака Дюпена. Ждал долго: в 21.30 (т. е. 23.30 у вас) говорят: не отвечает номер. Жак написал крохотную сухую заметку для «*Quinzaine Littéraire*»: жалкое чувство вызвала она у меня... но иначе, быть может, и впрямь невозможно. Еще раз подумал, что несмотря на все мои объяснения в течение долгих месяцев ни переводчики мои, Жак и

Мишель, ни Морис не поняли, что пишу я по-русски. Текст Мориса сверхабстрактен... какое имеет он ко мне отношение? Кое-что, быть может, уловил Мишо; эту его интуитивную оценку чувствую и без слов. Ну, а дальше-то что?

Вспоминаю слова Алпатыча (и НИХ то же самое): «Вам тут больше делать нечего». Как будто здесь можно что-либо «делать»... даже будучи великолепно устроенным. Все заперто на ржавый замок; все размножилось в тысячах мелькающих (на пять минут) слепков, измельчало, как этот частый морозящий дождик, полудохлое, ничем не рискующее, вымороченное; ни следа не осталось от электрических и грозových токов, от той атмосферы, что связывается в нашем сознании с именами Пикассо, Стравинского или Джойса, да и (тут, во Франции) Арто, Батай, Мишо (30-е годы) и проч. Франция превратилась в жалкую провинцию (а столица Нью-Йорк — лучше ли?), и особенно комично выглядят официальные потуги раздуть ее нынешнюю культуру и объяснять безразличие к ней за пределами Франции какими-то кознями. (Ядовитая статья в «Нью-Йорк Таймс».)

Не будь известных тебе обстоятельств, я должен был бы продолжать свое в России — альтернатива, разумеется, страшная. Но если одолеть, оттуда «видно до конца света» и счет там, какой тут и не снился. К сожалению, обстоятельства (и не только конкретно мои нынешние) таковы, что рискуешь «провалиться по гроб в репейник». Зато РИСКУЕШЬ... это, быть может, самое главное.

Абстрактному «пониманию» — грош цена. Мераб, однажды отлично говоривший о трагическом чувстве бытия (которого так не хватает нынешним «философствующим»), упрекал меня в каком-то мазохизме... будто бы я сознательно ишу самых безвыходных тупиков. Но жизнь делится на внутреннее и внешнее лишь для поверхностно-членящего сознания. Надоело оправдываться, объясняться.

...Вчера — после очередного детектива (с заложниками) — зашел в Елисейский Драгстор: хотел купить чай вам и себе. Опять убеждаюсь, что найти действительно хороший чай в Париже почти невозможно. Выбрал лучшее из имеющегося. Продуктов горы (в Драгсторе они раза в 1,5 дороже, чем в обычных магазинах), но я питаюсь более чем скромно — и почти всегда одним и тем же. Никакого достоинства в этой «якобинской закваске» не вижу. Дома ем стоя, утром и вечером (если ем!) — холодное, да и не всегда обедаю (часто — банки). Кристин ставит Жаку в пример мою «отрешенность» от жизненных благ и «довольствование малым». Я рассмеялся: представил себе, как бы ты реагировала на такое обо мне суждение. Но если вдуматься: что за жизнь! И к одежде стал вполне равнодушен; усвоил небрежный французский стиль — с вечным шарфом на шее, одной и той же — месяцами — обувью... благо (благо ли?), зимы тут, в сущности, нет, особенно в этом году.

Складывается у меня мнение, что тебя все же не пустят... В ИМКе нет моей «Отсрочки». Хотел один-два экземпляра послать... уже который раз не вижу там своей книги. Книгу, конечно, покупали мало, но и те, кто хотел купить (я посылал!), часто ее не могли найти. А впрочем, так ли уж мало продано экземпляров? То и дело наталкивался тут на людей, у которых «Отсрочка» есть! Кажется, уже писал тебе: лучшие вещи Мориса лет 20 назад продавались по 60—70 экземпляров! Еще недавно можно было найти первоиздания (!) Шара, валяющиеся десятилетиями! Кто вообще покупает и читает поэзию? Да еще русскую... не в России... да такую «нелегкую»... 200 проданных экземпляров — это уже успех. Все мои усилия были затрачены на издание книг, и я ничего не делал, чтобы рекламировать свою поэзию за счет привходящих обстоятельств. Даже писать об этом глупо и постыдно. А вот простая реклама, как для любой книги, нужна: уже полгода М.С не может собраться; напо-

минать ей бесполезно. Так что остаюсь по-прежнему подпольным автором...

И прости, что так много пишу о мелочном, своих «мозолях», о поэзии своей, к которой, право же, умею относиться отрешенно, а временами с полным безразличием. И эту змеиную шкуру я сумею сбросить, поверь. Если жива во мне мысль, она занята иным... о чем промолчу. Даже если выскажется — промолчу!

До 4-х утра читал Миларепу... Вот уж не знаешь, где встретишься! Это — из самого бездонного, написанного человеком; такой силы, красоты и сквозьчеловечности, я, быть может, никогда не встречал. Как могло случиться, что не читал раньше? Переведено (в 20-е годы), кажется, прекрасно, но можно лишь догадываться, какая мощь по-тибетски. Все во мне перевернуто «вверх дном»... и до утра в полусне и каких-то странных видениях (кошмары? может быть! но со смыслом, который не пугает, а просит взглядеться).

По-русски разве нет? Если нет, пришлю эту книгу. Я ее «знал» только по различным статьям и ссылкам. Издано в замечательной серии (Fayard) — там же и антология Бёме, когда-то присланная мне Мишо (с его пометками — не хочу, чтобы пропала!), и множество других первоклассных текстов. Совсем я не думал о книгах эти два года, а ведь, наверное, мог бы выпросить эту коллекцию...

Ириша, родная, пиши!

*...отнимает силой... подаренную матери рукопись...* — 3 июня 1960 года, через два дня после похорон Б.Л. Пастернака, к нам в квартиру в Потаповском переулке явились работники КГБ, среди которых был и генерал Ф.Д. Бобков, и физически «изъяли», т. е. просто вырвали из рук, подаренную Б.Л. Пастернаком моей матери О.В. Ивинской рукопись пьесы «Слепая красавица». Подробнее об этом эпизоде см. в книге «Легенды Потаповского переулка», издательство «Эллис Лак», 1997.

*Борхес Хорхе Луис* (1899–1986) — аргентинский писатель. Автор поэм («Тетради Сен-Мартена»), фантастических новелл («Песчаная книга»), эссе («История вечности»).

*Мишо со своей Мишлин...* — Этот эпизод упоминается в книге «Анри Мишо» (2003) Ж.-П. Мартена: «12 января 1983 года Мишо появился на публике в Коллеж де Франс на выступлении своего друга Хорхе Луи Борхеса. Черные очки не помогли ему сохранить инкогнито. Его снимали — это единственный о нем фильм, — фотографировали, рядом с Клодом Галлимаром, Чораном, Леви-Стросом. Сразу же после заседания Коlette Рубо отвезла его в аудиторию Музея современного искусства: он непременно хотел присутствовать на чтении Вадима Козового (при участии Мишеля Деги и Жака Дюпена)».

*Симон Клод* (р. 1913) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1985).

*Маркадэ Жан-Клод* (р. 1935) — французский писатель, переводчик, эссеист, знаток русского авангарда. Много помогал Вадиму при переводе его прозы и поэзии на французский язык. (См. вышедшую в 2003 году в издательстве Belin книгу прозы Вадима «Le monde est sans objet».)

*«Наваждения»* — текст Вадима из книги «Прочь от холма».

*...передавал Алину переписку...* — Имеется в виду книга «Письма из ссылки. Ариадна Эфрон — Б. Пастернаку», вышедшая в парижском издательстве ИМКА Пресс в 1982 году.

## 1983 ФЕВРАЛЬ–МАРТ

Ириша родная,

за неимением иного русского чтения, перечитал — не без пользы — статьи Ходасевича. То, что пишет он о положении русского автора в эмиграции — многолюдной и не до последнего же человека бедствующей эмиграции 1933 года, — наполняет отча-

яньем. По его словам, хорошая русская книга (при уйме издательств и сотнях тысяч людей, говорящих на русском языке в рассеянье по чужеземью) покупается в количестве 300 экземпляров, не более, а любая поэтическая не покупается вовсе. Что же теперь? Ты, кажется, довольно смутно представляешь себе здешнюю жизнь. Не в «писательстве», разумеется, дело. Но какой же вулканической силой должно обладать слово и каким неукротимым сознанием своей миссии — его носитель, чтобы продолжать трепыхаться и в окончатальной, на веки вечные, пустыне, что-то свое писать и добиваться печатания! Как ни относишься к Марксу (Карлу, а не одному из братьев, и не издателю), но его слова о повторяющейся в виде фарса истории полны глубочайшей зоркости. В том, что происходит, никто не способен, да и не пытается разобраться. Николь Занд помещает в своей газете глупейшее интервью с Айтматовым, обманываясь его нацменьшинским происхождением, «поэзией» Востока и восточно-советской изворотливостью. Мои собеседники — за тысячи километров от катастрофических «озарений», а Морис, как будто ими и живущий, плетет, как парка, свою вечную нить размышлений о смерти, в кругу одних и тех же авторов (что, разумеется, вполне оправдано... до известных пределов); попытки мои туда вторгнуться, со всем моим русским грузом и «шаманско-магическим» культом языка, остались тщетными — стена!

Впрочем, и упоминание «собеседников» не принимай всерьез. С Мишо отчасти это было бы возможно... но на кой ему яд? Все, что можно было, он продумал и передумал сто тысяч раз. Перед лицом последнего Сфинкса — что такое русская стихия, ее литература и очередной (нелегкий) беженец-поэт? Отправив ему письмо, где все акцентны расставлены верно, я не собираюсь больше его тревожить. Если захочет — позвонит сам. И то чудо — и редчайшее поэтическое благородство! — что столько дружбы, пытливого внимания он мне уделил, что так мне в эти два года помог. Не забуду. А о книжке не хочу сейчас и думать.

Вот я внутренне и соглашаюсь со своей собеседницей\*, которую, кажется, ты часто видишь, что, чем бы ни грозила гугнивая чушка, а надобно в ее лужу возвратиться. Ешь!

...Всякий интерес к русским и российским страдальцам исчез совершенно; кое-какие робкие телеграфные сообщения; но главное веяние пронеслось, не оставив следа, 5—10 лет назад. Правда, советский режим еще на один балл утратил свою «привлекательность», но не слишком-то он ею дорожит, полагаясь («справедливо» и небезрезультатно!) на голую силу... а глупейших, дичайших предрассудков в отношении этой (глупейшей и дичайшей!) страны не намного убавилось. Да и вообще всякая мысль, всякое мыслящее слово упали здесь до самого ничтожного уровня...

Берес (слегка встревоженный) позвонил. Свою глупость (формат) понял, кажется. Но заказывать новую бумагу — еще 3 месяца; не хочет. Я послал ему текст Сувчинского и выразился в письме еще резче: участие Мишо — возможность уникальная (первый и последний раз!); абсурдно и непростительно было бы ее загубить. Мишо, я думаю, зол не только на меня, но и на себя: он ведь уступил Бересу, чтобы мне помочь и поскорее добиться контракта. Зачем же я вел, с упорством невероятным, долгие и запутанные переговоры? В конце концов, не славы я ищу (да и кто заметит это издание? сто человек...), а денег. И, разумеется, хотелось бы увидеть действительно красивое издание. Если Мишо махнет теперь на него рукой (хотя контракт) — пускай!.. В конце концов, тексты — мои и ко мне тоже должны были бы прислушаться.

Прочел в «Русской мысли», что осенью вызывали Рейна, Сапгира, Плисецкого и др., требуя прекратить зарубежные публикации — мол, больше такой «практики» не допустят. Вот и делай вывод.

Умерла дочь Корнилова, славного генерала. Жила в Брюсселе. Но жив еще ее брат. Это — на предпоследней странице Р.М. вычитал. Сведения из Москвы ужасают («осмотр» частных библиотек и т. д.). Нет, пороха они не выдумают, страх и террор — единственные средства. Теперь спешат, прут на рожон и проявляют все большее равнодушие к здешним «реакциям». И хотя к эмигрантской участи (не говоря уже о практическом, почти безвылазном) у меня отношение прежнее, отдаю себе отчет в том, что стал почти идеальным персонажем для «примерного наказания». Не только для российских интеллигентов, но и для французских: смотрите, мол, наплевать нам на ваше возмущение. Как? Любые варианты возможны. И не обязательно тотчас... у них иной отсчет времени... Что произойдет в этом месяце? Загадка... нервы во мне скрежещут, и сны видятся, полные тайного смысла.

...Перечитывал твои письма. Ах, Ириша, и злюсь я на тебя (а ты на меня), и полна была наша с тобой жизнь свирепых стычек, и многое вижу холодными, почти каменными глазами, а готов тебе в любви признаваться, как 20 лет назад, и никаких «лет» я не чувствую, только усталость беспредельная... посидеть бы с тобой у Андриюшиной кровати вечером, и кажется, ничего больше не надо. И куда меня всю жизнь нелегкая гонит? «Кочка» — для взгляда крайне поверхностного...

Кстати говоря, Б.Л. ведь, кажется, письмо Ливанову не послал. Так ли? Да если и послал, все равно через день-другой «помирился». О себе думаю. Мишо и т. д. Невесело, разумеется, но иначе нельзя было. «Есть ценностей...» Увидим. Так или иначе, в этот бесконечно трудный и, возможно, решающий месяц предстоящее испытание встречаю один на один... не с кем поделиться. Жак, кажется, забыл в вечных своих делах, другие — тем более... Даже Морис: он снова работает, пишет об этом в двух словах таинственно, переписка иссякла, неминуемо свелась к тавтологии.

...Вся эта суматоха и победные кличи вокруг выдачи боливийцами и ареста французами Клауса Барби (лионский гестаповец) раздражают до бешенства. Оставляя в стороне многое прочее (французам нечем гордиться), вот юридическая сторона медали. Этого Барби судили заочно дважды в 50—60 гг. Присудили оба раза к смертной казни. Теперь смертная казнь отменена, а вменять ему прежние (уже использованные) статьи кодекса не имеют права; по истечении 20-ти лет после преступления они утрачивают силу. Остается единственное, не отменяемое (по спец. закону) временем: «преступления против человечества». Что это такое, одному Богу известно... А здесь, на земле, стало известным по формулировке Нюрнбергского трибунала. Как ты знаешь, представителем СССР в Нюрнберге был кровавый сталинский палач Руденко. Вот мы и подошли к главному... Остается зубами срезать. Этот Барби, конечно, распоследняя гнида; остался убежденным нацистом и в своем палачестве не раскаивается. Но надо же и меру знать! Известный философ (шурин Кассу) Владимир Янкелевич заявляет: «Я — убежденный противник смертной казни, я радовался, что ее отменили, но теперь сожалею. Прощать я готов лишь тех, кто просит прощения (???)». И т. д. в том же роде... телевидение и пресса открыто спекулируют на горе тех, кто потерял в лагерях и газовых камерах своих близких... те (после 40 лет!) готовы «свидетельствовать» против Барби... — нет, не ради мести, а в «назидание». Какое же тут назидание, если уцепились за одного гнуснейшего старикашку и забывают неслыханные ужасы на 1/6, 1/5, земного шара? Мало того, правовая сила предстоящего процесса будет опираться на юридическое определение господина Руденко и мира, который в нем воплотился...

Мишо я напишу спустя недельку... пусть гнев поостынет. Все это глупо до невозможности. Увидим... ни о чем не жалею.

На улице холод, ночью — мороз; спать не могу еще и из-за озноба: не помогают и два одеяла. Чуть забылся: снится, что

снится мне сон, и вижу я себя спящим, видящим кошмар и беспомощнодвигающей рукой в стараниях кошмар стряхнуть. Щ-щ-щ — «щи», как говорил Ремизов с отвращением.

С Марьяной Сувчинской говорил. Они твое письмо получили и ему обрадовались. Будут тебе писать. Долго с нею говорил о «скверном анекдоте». Она в таких вещах особенно умна. С одной стороны, меня жалеет и призывает держаться, а с другой, считает, что сплетни и пересуды я должен встречать с каменным лицом. К сожалению, дело скорее в вещах и обстоятельствах реальных (и их реальном для меня значении), нежели в мелочной болтовне. «Мишо, — говорит она, — всегда был страшным сплетником и злюкой. Это еще со времен Сюпервьеля известно». Советует спустя неделю позвонить ему или написать. Нет, звонить я ему не стану; нарываться на раздражение не желаю, и виноватым себя не чувствую. Напишу, быть может... но в ножки кланяться не буду. Или он помогает мне по-дружески (поэтически...), или — обойдусь! (Этого, разумеется, не скажу; он почувствует.) И вообще другие у меня заботы...

Аня только что говорила с Мишо: с умом и тактом. Больше всего он разозлился на мои «доводы» в отношении формата. Ничего менять не желает и будет готовить 25x31,5. О денежной стороне дела Аня не посмела заикнуться. А еще: «Почему он с таким презрением (это я-то!) говорит о других?» Аня попыталась его переубедить... В споре со мной Мишо себя не считает, дружбу ценит, положение понимает, но после этого письма предпочитает сделать перерыв в наших отношениях. Пожалуйста! Я ему звонить не буду ни завтра, ни послезавтра. Ни через неделю, ни через месяц. Надо будет — сам позвонит. Точка.

Чтобы забыться, выбрался вчера на джазовый концерт (в том же клубе, что Стен Гетц). Слушая, вспомнил Боба\*: он был бы в восторге и от музыки (Dexter Gordon, знаменитый в 40—60 гг. саксофонист), и от атмосферы. Пришлось покинуть это ночное удовольствие, не дождавшись конца. Благо, полно

сейчас такси (каникулы!); с местными таксистами научился болтать, как в Москве.

Стал я, как почти все французы, «бесшапочным». На улице — минус 2—3, снег, но хожу с непокрытой головой, впрочем сегодня без шапки неуютно, увы... Год назад Мишо мне однажды предложил ушанку, но я отказался. Главное — иметь теплый шарф и хороший свитер. Так что не суди по телевизионным кадрам — они обманчивы. Просто не представляю себе, как мог я носить тяжелый тулуп.

Кафкианская пропаганда... Прочел сообщение ТАСС о событиях в Израиле — и волосы дыбом встали. Господи, что они там плетут! Здешняя пресса, как бы ни относилась она к ливанской войне, единодушно восхищается израильской демократией. Бегин, премьер-министр, сам назначил комиссию по расследованию резни в палестинском лагере, и эта комиссия возложила прямую или косвенную ответственность не только на военную верхушку (частично даже преувеличивая; кое-кто понимал и протестовал... хотя картина оставалась неясной), но и на главных членов правительства, рекомендуя отставку Шарона. У здания правительства сегодня состоялось настоящее побоище: сторонники и противники Шарона. А сами убийцы (фалангисты) в Бейруте помалкивают... как и мусульмане, жаждущие примирения и покоя. Разумеется, палестинцы принесли Ливану немало бед. Но и христиане... когда видишь на экране цивилизованнейшую часть города, людей, одетых по последней моде, изъясняющихся сплошь по-французски, современные университеты, музеи (и абсолютно свободная пресса!), трудно поверить, что и тут бродит незримо самая свирепая и кровожадная мстительность. Палестинцы-то палестинцы... но одно дело Арафат (самый «умеренный»!) и присные с вооруженными до зубов бандами, а другое — сотни тысяч его соплеменников, дети, женщины, старики. И тут еврейская совесть (не только в Израиле) не выдержала. Никуда не денешься: если по-

началу «палестинская проблема» была раздута искусственно, при полном равнодушии арабских соседей, то теперь палестинцы — нация. Ни я, ни кто-либо другой не вправе давать Израилю советы, но насильственными поселениями эту проблему не решить. Беда в том, что иной альтернативы Израилю не предлагают и, прячась за миролюбивыми фразами, признавать его не собираются. А тем временем идет дикая по бессмысленности и лютая, не на жизнь, а на смерть, ирако-иранская мясорубка. Вечная вражда персов и арабов... И кое-кто греет руки.

...Треклятый формат. Книга может быть художественно удачной... но деньги??? Тебе или НИХу послал я «*Par la voie du rythme*»\* с рисунками? Этот формат, в точности. Бог с ним. Дружба с Мишо для меня дороже книг, форматов и денег.

Прости, глупейшее и пустейшее послание. Но это единственная возможность ежедневно с тобой общаться. Соломинка для утопающего и тебя любящего В.

*...я... соглашаюсь со своей собеседницей.* — Имеется в виду Наталия Ивановна Столярова (1912–1984), переводчик, секретарь Ильи Эренбурга, знакомая семьи Козовых. Родилась во Франции, была репрессирована. После долгих отказов побывала во Франции у сестры, но вернулась в Россию.

*Боб* — Борис Петрович Пустынцев (р. 1933), друг Вадима со времен мордовского лагеря, где он провел пять лет. Был арестован как участник студенческой группы В. Трофимова. В настоящее время руководитель группы «Гражданского контроля в Петербурге».

«*Par la voie du rythme*» («Путями ритма») — книга литографий и рисунков Анри Мишо, вышедшая в 1974 году.

*И. Емельянова*

# «Прочь от холма»

СТИХИ





*Это не сказка. Это не присказка на беспмятный день. Это, как всякий сон наяву, в нас обрушено теми, кто слушает на ветру и оглядывается со всех сторон во все стороны. Пирамиду соорудили писцы! Их чрево вещателю мы не ответчики. Ей же, присвоившей кочевой горизонт, мы скажем: «Ни с места! Прощай навсегда!»*

## СВАЛЕННЫЙ ДУБ — ЧТОБЫ ОЖИЛ В ГЛАЗАХ ДАЛЕКОГО ДРУГА

Повален небо твоей лежит  
стариковской хваткой  
бредут тысячами как вечный жид  
и гвоздь под лопаткой

что живо и что мертво  
пришлые скажут дети  
мы ж не тронем пасть твоего  
за немых в ответе

если в смертной щели ждет часа циклоп  
мир тесен  
ворвется колосом в чугунный лоб  
выжечь плесень!

## ИМЯ НЕУЛОВИМО

*Рене Шару*

Какая роза на груди!  
сто одежек на нем  
зверь красноперый о погоди  
не играй с огнем

морем расплещется взявший в руки тебя  
но пламени твоего не убьет  
твое кровавое теребя  
души обезболит гнет.

## ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ?

Не было на заре горя  
пришел в мечтах как чума на праздник  
бросило в слезы залило солнца  
голову крови жатву  
отжила свое пестрая как жар охотника  
вымерла шумная как поле в пламени  
клин журавлиный обезголосев  
разорвался в груди.

## В ПУТЬ

*Сыну Андрею*

Вьюнок офелии и кратер дракулы:  
сорок ножек служат ему языками огня  
тысячелет как стог в рогатинах слез  
горбатого мира  
и ночь  
чтоб уйти от смерти  
в луга от волчьего ее стыда.

*6 февраля 1975*

## ТЫ И Я

Ты с кем так разговариваешь? Ты знаешь, кто я? Такой! Мразь ты, кому в лицо плюешь? Кого топчешь? Руки выламываешь кому? А ты? Гнида, над кем измываешься? Да знаешь ли ты, что, стоит мне пальцем, нет, не двинуть, но только слово, и не сказать даже, а взглянуть — в упор, со всей яростью, на какую способен, а я-то способен, поверь, — и от тебя не то что место, не то что мокрое: след от стыда сгорит. Гнида.

А он все плюет и выламывает. В лицо, и руки, и топчет. Измываясь, но безмятежно; было — и ни морщинки; спокоен.

Да, что было, то было; было, будет и не стереть. Гнида.

Легка эта месть: задним числом. С яростью, но лишь рябит. Без пощады, но только зыбью. Легка. Набегает, но в небе ни облачка, тихо, гладь, и корабли режут ладным путем. Легка она, ну а тяжесть — свинец: *титаник*, и не поднять никогда.

\*

Мое дыхание бешеное, а твое — статное. Глаза мои — как пощечина, а у тебя — бритва. Шагнешь по озеру — не качнется; а я — разбрызгами. Зашаталось, плеском гудит; а тебе — ровнем. Ясен день, хотя и без смысла; вот и ясен; а я — где темней: повожу ноздрями, ищу-допытываюсь. Нет как нет, и кулаком — тарарах! Надо вырвать. И вырву: туго в земле, но зубами, едва насилу — и растянулся. Вырвал! Радоваться бы, но жжет в костях; подниму глаза: рядом. Смотришь, не улыбнешься. Далеко еще; взглянула — и ровнем. Дальше тебе, далеко;

шагай. А я — с пыла да ковыльём: до следующего корня. Мое — оно бешеное, а твое — статное.

\*

Как вечно женщина, вечно рядом и — *тише, тише!* (всегда права...), так и привык: вполголоса, потом шепотком, а потом вовсе, свое про себя. Есть ли голос? Давно не пробовал; забыл — и лучше не надо. Какой? Вдруг бабахнет и все обрушится; бабахнет — и оборвется: не связки только, не потолок, не голова, не крыша, не только дерево, да не только с корнями, не с небом только, да не над крышей, не только над головой... что там небо! Нет? Ну а вдруг? И пожалуй, не вдруг. Пожалуй, что и наверное. Оборвется, но все же будет звенеть; с пылью обрушится, но и очистится — в тишь и гладь, в благодать (или?..); да, обрушится, а все же будет звенеть: та, которая... как привык... вполголоса, потом шепотком, а потом вовсе — свое про себя, как блуждающая, как звезда, сама слушает, сама звенит, где-то будет она, замирая, блуждать, но со звоном.

Не будет? Нет? Ну а вдруг? Ты и я: мы останемся.

## НЕТ ПРОЩЕНИЯ

Луна из-под палки  
рапира в запястьях у ястреба  
стебель играя челюстью под окном  
лап  
кому сперма другому пакость  
но и врозь не простив батогу  
в бессоннице ли о двух головах  
спрячь  
корень ушел по следам  
птицелова сеть тебе брошена  
пытка  
грызть до последнего.

## СРЕДИ ХОХОТА ОБЛАКОВ

*Клоуну Пауля Клее*

Сколько их лицых в твое бычье с кровью до дыр  
туша вошло и вышло в болото слез!  
такой ли им мало еще добычи?  
но как ни держи высоко  
с изумрудом топор над собой но бычий  
слишком твой смех всерьез  
слишком багров он нет еще слишком  
среди хохота облаков.

## КНИГА

Умиряющего  
гремит сердце как бубен  
о недочитанном  
в небесной книге  
только и виданной что с земли.

**ВОТ!**

Нет сна  
тупота  
холодна весенняя  
как стена  
как ответь отец:  
ты тоже вышел из той кубышки  
минутной спермой посеребранный?  
так зачем она в океане  
одна  
перевесит что ли слеза без дна  
без обмана  
нет без дураков —  
на!  
возвратись отец  
возврати  
верни Хозяину  
мой десятикопеечный долг.

## ОСТАЕТСЯ

Моя сосна пусть с твоей горой рядом  
обрезаны крылья и головой не вертит  
без ресниц прозрачна невидаль твердыни  
в иглах голубинога искоса взгляда  
юному ли строить по долинам ветхим?  
времена их исчахли и рухнули сроки...  
воздвигать ли заново под грозой ближней?  
обступили дальние протяни лишь руку...  
если перевидано растрчено верчено  
дудено ли крадено все кроме прозрачной  
остается сосна моя с твоей горой рядом  
не верти с прошлым голова квиты  
вглядываться словом невидаль да только  
да только обрезаны крылья секирой.

## СЕБЯ ЛИ РАДИ?

Гор-ли-дыня  
летательно  
или только летально  
а с веток швыряет финики добра и зла  
    не шуми лист-другой  
    отцвела гряда  
    то-то тянет-мм-гла  
    долго ль холодно  
но летательно  
ну хотя б и летально  
крылит не к чему птица над садом одна  
пусть одна не беда если ж не голодна  
всюду финики да не с добра не со зла  
разбазаривая в голодалой траве.

## ТЫ ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!

На ветру, под окном — кусок сине-белой пятнастой твари.  
Ткань. Никакой фамильярности. В мире.

Кухня; выкуренных и брошенных. Дневное на час сгорев:  
метроном в мозгу, но сердце выпало. Вечность.

За стеной — гудеж, а стрекочет кто. Глядь. Слово — между:  
торчком и в синее с белым. Вместе молчим. Прожито.

Ушел в Африку, тысяч верст отгуляв, чтобы из пустынь — ни  
с места. На! Твой костыль. Он тут бродит.

Постоим, глаза: передышка, узоры. Скоро бросишься; нев-  
терпеж, стол, и только к равным. Надежда.

Но с последней твоей гнильцой; в тебя купорос, а блещет.  
Чьих разъедено? чьих — разве не звезд? Пусть мерещится: чер-  
ви!

Да, пусть думается, пусть мерещится: их свора, им гнаться.  
Ну, а нам — промолчать; нам, плечи, с тобой — рваные горы.  
Тут от печки они. И кому-либо за облаками.

## И НАКОНЕЦ

*Осторожней!* — рывкает лес. *Грузите тучи...* — шепочет долина. *Чтобы не брызнуло кровью гончих,* — сокрушается ледяная гора.

Все вместе — твой нерасшатанный мир. Он — единственный волчий клык в твоей челюсти, которая просит, мелко бренча, о загребушем снисхождении века.

## ПРОЧЬ ОТ ХОЛМА (два фрагмента)

Я провел эту жизнь рядом с тобой. Я провел ее с кровью, без передышки по твоему расхлесткому лезвию. Но если в следующей ты донесешься хотя бы песчинкой из лагеря антиподов, в этом месте касания, на прожженной щеке, я, не раздумывая, предамся пожару, восславлю братский самум, чтобы всю твою, за крупницей крупца, вражью скрежетную пустыню перетаскать зубами тоски на эту залетную сторону поцелуя.

\*

Не люби работу, как идиот бормочет со смертью, а камень, если стоишь на нем, люби до гроба и не раскаиваясь в пропусках времени. Текущее лениво так или другим концом нагонит несостоявшееся, и нет на свете, белом и черном, таковой пыли, чтобы не осеменила самое каменное терпение. Когда, продержавшись жильным быком, ты заметишь, что твои звезды вечереют, выпроси у близнеца-соседа, который подвернется наверняка, красноугольный с насечкой топор, чтобы подрубить свои дошлые корни, и ты удивишься великости собственноручного дерева, пустившего ветки к любящим убивать и накрывшего широколиственно всю их невольную простецкую злобу.

## МЫ ВИДЕЛИ

Мы видели ангела он к ней лег и взял губами  
ее сукровицу  
оставшееся синевесть на земле угодно голоду  
сказал и смерти  
был тощ подобно как в бабьей руке спокойная  
хворостина мести  
и выражался грубо словами известными скотному  
двору  
он пришел расчистить для коровьей припляски  
хлев на зиму прочь вышвырнув городских  
с пересохшей кровью на улицы суховея  
где невысказанное обманчиво и запретно как  
в голой пустыне фикусы и дворцы.

## НА ПРАВАХ ОДУВАНЧИКОВ

Их ненависть — в самый раз. Их злости не хватает понюшки табака. Их любовь беспредельна, как ледовитый океан. И на каждом их шагу растет мохнатое одеяло.

Их дети пугливы, как осы. У них процветает старческая верблюжатость. Когда ударит посох с противного берега, они чихают в платок размерами с генеральскую карту.

Они заколачивают ворота. У них в носу висит на цепи дубоватый замок. Их правнук играет с ветхим солдатиком, и животный солдатик ходит по струнке игрушечного мальчика.

Если солнце выглядывает из кустиков, их голос становится канареечным. Если полнолуние заперто, они стружкой лепечут в уши якобы страждущих. Их волосы комковаты, однако столпившимся видимы проволочные космы. Кто к ним прислонится?

Они роняют перекатный мяч на пол, ибо не верят в дальнейшее хождение. Мяч уносится, но они ловят тень мяча, и когда тень мяча ускользает, траектория наконец повинуетя неукоснительно.

Щербатые или гладкие, они знают о прямизне имущества и, воздвигнув горы добра, плюют на них с высокого места, чтобы испытать прочность слежавшегося. И горы выстаивают не дыша, как всякие горы.

## ТВОЕ КРЫЛО

Крыло гёльдерлина беспомощное по своей причине  
необъятности  
меня испугнуло на заре в шелку робкую в глиняную  
потому что я видел нынче под вечер и мой сын крошечка  
как на чистых хотел прудах носорожище утолить черного  
спяну лебедя  
был он в стоптанных зеленоват башмаках и с пожитками  
без примет возраста  
протягивал губы сжав полосатые иссиня над зябким до  
крови облаком  
за которым душа его холодея вдогонку распахивалась  
вулканическим ртом  
и от черной страдала от недостижимости клюва черного  
под твоим беспомощным.

## ОН

Понимая, что жизнь — это люлька, он наконец отдался вволю раскачке ее загробной волны.

Понимая, что волны — небо, светящееся под землей, он позволил им уносить себя на смерть жизни, проваливаясь бескрылой скорлупкой в подвесную толщ, которая лишена даже пенного клетота.

Понимая, что лица теряют в ней всякие полюбовные очертания, он, возлюбивший до изнеможения сердца, отдал его, каждой птичкиной веточкой, бездыханному в ласточкином прозрении дну, откуда увидел крылышки неба под страшившей всю жизнь понапрасну гадюкой вспенившейся земли.

## МЕЛОМ И ГРИФЕЛЕМ

Поэт здоров каждой пробоиной в своем астральном дредно-уте. Каждым ушибом и вывихом в этом плавучем гнезде. Он здоров безошибочно и беззащитно, пульсируя в такт под топориком неба, как океанский кровавый плавник.

Одна человеколошадь превосходит силой сотню человекожуков. Два человекорасстояния превосходят сплошь тысячу человекодней. Три человекострочки возвышаются над миллионами человекотрясин. Но нет такой человекмельницы, чтобы перемолола единственную под звездами человекоплеть.

Не для того, бессонный, чтобы тебя хлестать, кошачий визг на дворе стервенет.

Сварливая кухня, когда ей за полночь зажат рот, умудряется бормотнуть несусветное.

Бесцветный голыш, катясь под откос, вспоминал о пинке и, казалось ему, видел солнце заката.

Бычья сперма чище свежаванной рыбы. Грозовая жесть глуше скрежещущего под пыткой. Ребенок — вне сравнений.

Бросая камень в ближнего, не следи за траекторией. Если бросаешь в дальнего, зажмурься покрепче. Брошенное попадет

непрерывно, а угодившее станет горой, которая, в свой черед, породит кому-то нужную мышь.

Виселица на весах правоты угрызается без повешенного.

Брат убивает брата. Не ново. Сын продает отца. Старо. Но где видано, чтобы мать к обеду пуповиной резала горло младенцу?

Оскорбительно кланяться в ноги жирафу, но отдать на заклятие вшам ухо или спесивый глаз — в этом нет ничего зазорного.

Едва губы коровьи вытянулись, как под ними, над самой травкой, прошмыгнул Млечный Путь.

Слово короче звука. Звук проще выеденного яйца. Но и такое, на вес, на слух, яйцо все еще дороже слова. В котором, однако — без дутой утайки! — больше видимого, чем могут в ответ предложить слепые морщины вселенной.

Кричать незачем. Даже моль ухитряется бить в барабан.

Крокодиловы слезы ивы. Облака не верят. Только озеро лежковерно всерьез.

Учись мудрости у таракана. Бежать по прямой. Невозможность? Повернуться бочком и бежать по прямой.

Ты учишься мудрости у таракана, но твой таракан — упрямец: не расстается с дырявой шкурой быка.

Кровать с балдахином для какаду, который еще повторяет заученные из уст чужих предков слова любви.

Морганатический брак: клавиша с молотобойцем.

Мой сон — провал памяти. Твой сон — провал памяти. Его сон — такой же провал. Там ли встретимся?

Как назвать эту жизнь? Не лучше ли, мамонты, по-ледяному очнуться, чтобы взглянуть без окна — в упор! — на тулупы домов, этих единственных жителей проснувшейся от человека земли?

Лучше. Можно. Стоит. Пора. Но твои, Франтишек К., глаза...

Эти призраки позаботились о телохранителях.

Приговаривая, что смерть стоит за углом, он не удовлетворился, предусмотрительный, лабиринтами предательства, а вбил посреди них иудин сук под сверкающей празднично вывеской.

Безраздельная власть каннибалов, которых народу, гуськом у котла, предписано чтить как вегетарианцев.

Не ищи и не требуй оправы. Если все твои струпья похожи на самоцветы, это еще не значит, что под батогами ты сподобился участи изумруда.

Кто ближе к истине: лягушка или телеграфный столб?

Эшафот по воскресным дням открыт для игры в пинг-понг.

Скажем так: мысли посмертны, и за спиной оживающего солнце глупеет.

Легкие, захлебнувшись пожаром, наконец прозревают разгадку. Но увы, как всякий вулкан, они лишены чувства юмора. И тайна сгорает бесследно.

«Куда их несет?» — сокрушался мудрец. И второй, понимающий, согласно кивал. Но третий мудрец, глуповатый, не участвовал в разговоре: он забрался в самую гущу, которая с ревом тащила его к стремнине, и воображал себя лодкой, оставаясь гребцом.

Дышать трудно. Места маловато. Раз уж согласен с метемпсихозом, выбирай бактерию.

Если самолет трепещет перед Зевсом, а подводная лодка молится Посейдону, еще не все потеряно для оглохших и слепнувших экипажей.

Последняя весть с мороза: слон, подавившийся незабудкой.

Глаза стеклянеют. Не торопись. Очень просто: это позорный мир сбрасывает колбасную шкуру, чтобы предстать в ядовитой до боли ряске.

Пустыня не терпит соглядатаев.

Ваша воля — останьтесь без вожелений. Ваше право — урезать волю на энное число градусов. Ваша власть — рубить или не рубить с плеча, которое давит смирительная рубашка. Но кто вам подарит зуб пустоты, в любой соринке душной земли открывающий горы?

Полюбите злость. Она вытирает тревожные слюни у страшящихся ненавидеть. Эти слюни — не от избытка любви. За ними таится кустарный удав.

Поэзия — кратчайший путь между двумя болевыми точками. Настолько краткий, что ее взмахом обезглавлено время.

## **УЗКО — НЕ РАЗМИНУТЬСЯ**

**Тропенция**

**и глаз гаденыша не смеющего поверить в доброе  
некому тебя выколоть  
когда пройду шатаясь из последних силенок  
в темные снега.**

## МЕЛОДИЯ

*Морису Бланшо*

они подвешивали меня к болотной проволоке  
и вбивали мне снежные в грудь гвозди  
и бормотали искоса поглядывая трататин-тратата  
не задавая возлюбленных до смерти вопросов

я без жалости вынул им из груди сокровенное  
но они укатали его в глянцевитую шубу  
и приплясывали на скрипках оловянных кругом  
которые подмякивали как полынья в сугробы

я готов был отвечать и на левое и незначащее  
но они втыкали мне снежные гвоздочки  
и подвесив к болоченной проволоке говаривали  
трататин-тратата на зимнем бельмесовом

тогда я сказал им дэ и задохнулись их рты  
и на язык мне легла тряпица без имени  
которая на никаковском значит молчалник в таковых

путях

хотя нет во дворцовое ему входа зимовье

где подмякивают оловянные закону неписанному  
и катается глянцевитая без сна и без просыпу  
потому что заморожено твое лицо глядя искоса  
как полынья в сугробы опрокинутая неба

## НУЖНАЯ ПИЩА

Был на свете человек, который кормился перепутанными листиками чужих мыслей. По фамилии — Отходный.

Этот человек кричал не своим голосом, когда судьба затаптывала его в каменную гущу, где не произрастало мысли ни кустика.

Отходный по фамилии, он попал в такую передрагу многолюдной стужи, что его голос стал настоящим голосиной, а потом надорвался и пошел шептать наедине с самим собой в лютом, как у затертого льдинами, голоде о произрастаниях бесчеловечия, где кочуют, унося тупо и упрямо одностороннюю думу, южные тополя.

Никто больше не знал его прозвища и фамилии, потому что он смолк и сделался прямодушен, как деревянный на юге ствол под копьем, и откололся раз навсегда в недостижимой за горизонтами сытости от шумной и лишенной всякого мысля, уходящей к смерти на север толчее разнолюдия.

Отходный — было ему имя, но, выброшенный бездумчиво в отбросы общественной жизни, он стал родственником иных цветений в ожидании новой и, быть может, уже немислимой поросли человека.

ДОРОГУ!

*Н.И.Х.*

освободите люди дорогу  
он будет выписывать над головами коленца  
земля непутевая его не держит и пусть провалится в канаву  
с нечистотами  
воздух вулканический ему нипочем и пусть расступается  
сея панику до горизонта  
освободите ему поскорее дорогу среди патлатых облаков  
столетние люди  
он сейчас будет выдергивать им злополучные космы

## НИ ЦВЕТОВ, НИ ВЕНКОВ

эти люди были как смертный грех в молодости  
бледны и как плевательница перед смертью  
зрячи  
два раза коснулись концом сапога фекальной  
заразы  
в которую выброшен плюхатый медведь за  
ненадобностью с изуродованным чепцом  
потому что галчонок их раздался свинья и жует  
требуху за четверых и вот-вот стервец подавится  
воблой  
они видели чище небес над собой дирижаблево дрогнувшее  
серебро  
в молодости перед смертью  
но не поклонились одиночеству птичьей блесны  
заброшенной  
в халдай-холодок прозрачным человекозверем

## ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

ослепительные кикиморы сидели на горке мусора  
веник снял с них последнюю рубашку  
под которой открылись голые коленки дерьма  
паровоз гладил их костяной рукой  
кацавейка спела им птичкин чирик  
и сам господь веснушчатый и с поросячьим носом  
удостоил их шапочного благословения  
а когда  
когда их волосы покрылись старческой пылью  
и жучок из соседского гроба поманил их пальцем  
кикиморы взялись кружком за говеные ручки  
бессмертно  
чтобы сплясать отходную венику-мироеду

## И НАШ ГРОССБУХ

три уха и пять насекомых винтов  
четырнадцать противников смертной казни покрикиваю-  
щих гоп! на пуговку топотом осьминога  
двадцать семь дутых солнц  
на крылечке числом одиннадцать смейся  
в сопровождении шестерни строгой по имени ариадна  
клавиша  
из сто девятнадцатого музыкального инструментария  
в списке краденых и драгоценных по гроб камней  
зуб за ночь  
язык пожарищу  
хрясть  
а чакона в банке  
поделом  
головокружение от успехов  
речь товарища перекрестного на пороге встать!  
одуванчика  
и тысяча девятьсот восемьдесят четвертый вздох  
по несбывшемуся  
в первый и последний раз

## ТРЕБУЕТСЯ ДОЗАРЕЗУ

время заговаривается у него в желудке пусто  
а человек шатается и ищет прорву  
снимите-ка наклейку с огнедышашей груди  
и пусть разорвется спиртовая банка

времячко балясничает и машет оглоблей  
а человек провалился по гроб в репейник  
пускайте колечики ему в гриву и в хвост  
чтобы с двух концов дым загудел храпом

безвременье топчется как шпик в подворотне  
а человек бежит в пламени на край света  
швыряйте вдогонку фонари и люстры  
и неситесь голые фитильки следом

время безвременное и время топорное  
а человек остр как на костре ножик  
распалил бревно так и вьется жгутом  
гоните подснежнички в навечную печку

из сугроба колымского время петать да плясать  
разгадки не видно а человечина лопнул  
подайте говорит сюда комету свинцовые удила  
чтобы дробь в глаз брызнула пещерный

пусть дробно сложенное развалится на кирпичики  
а дробно понятое в мозговине свищет  
у свиньи сидящей по имени временщик  
на троне базарного за полушку сфинкса

## ЯРОСТЬ И ТАЙНА

моя собака осатанела и моя кошка смотрит вепрем  
мои дети разбежались на все четыре от моего кипятущего  
сглаза  
господин полумира швырнул меня в чугунок с отваром  
и некому дунуть с вышки чтобы задуть мой взбеленив-  
шийся пожар  
в меня обрушивает косматины шапка ледовитого моря  
и велит плюй затрещинами бараньих монбланов  
а я отвечаю шапке и господину полумира  
кричу айсбергам айсберг но без слезливой блевотины  
до хрипоты людям кричу слышите слышите  
убирайтесь к дьяволу дайте с вами стервы  
дайте вместе помолчать

## ЕЩЕ ОДНА ВАРИАЦИЯ

*Памяти Константина Богатырева*

Я б один хотел в тумане боли  
и заснуть не ради песен сна  
я бы даже темная в неволе  
ляжет если на душу она

я в пустыне тишь какая внемля  
но не спит а больно отойти  
голубое падая на землю  
я бы звезды стали на пути

на земле не помня злобы я ведь  
сном души который глубже сна  
по себе хотел бы не оставить  
даже темен если чья вина

я бы сном который тише боли  
но не тем а чтобы и во сне  
я забыть о вашем кто на воле  
о своем не помни обо мне

я заснуть не выплавав о пленном  
в сердце где хотел бы тает лед  
чтоб дыша и вашим мертвым стенам  
в голубое открывало рот

чтобы дуб или какая птица  
я б хотел вздыхая иногда  
если даже изредка напиток  
с ваших губ шумел или вода

даже если капля не покинет  
на волос ли только пожалеть  
я не ради холода пустыни  
но всю ночь где тает в сердце медь

я б ничуть звезды в груди не жалко  
тихо по глазам какая гладь  
но не тем в который с катафалка  
я свободы лебедем касать

\*

С дороги ветер о море свищет  
в котором звезда порога  
день канул новый нейдет  
подвинься ночь  
место для стула  
чтобы просидеть всю жизнь

\*

Хотел уснуть но во сне как на волос  
птичьего озираясь кричит  
не жаль не жду в их ночь отголоска  
костлявую точит слезу

прошлого лист дубовый не слышен  
выйду пустыня торчком  
устал покоя звать сколько брошено  
и не о чем говорить

## ЛЕБЕДА

спит и

под пах и

РОТ

с подорожником

в грудь и лед и кремнистый

земля ей дышать нипочем,

как выкорчеванных деревьев

АХ

ночь безболезненно

сорвав повязку

чтобы до самых корней

РАСПАХНУТО

\*

Пустыня выйти дай из ума

в десять стен ни стены ни окна

ни кость ни без кости ни пусть им тёлки

ни кола ни стола ни лампы сиделки

ни безголосой вам зависти ни власть твоя

разноголосицы

ни всесветных ни ведомостей ни сведущих ни в

неведомом

ни стрекотания рядом о дура не вытравишь этих

сатурновых бестий

ни бескровной корысти ни препирательств с

кровавой нечистью  
не дай  
не дай  
ни стены ни окна  
ни вечности неба сиять и бабахнет рыбой и  
скажет брось  
в море страха  
ни козлиного шороха ни тараканьего свиста  
ни одной привязчивой твари  
которая взглядом вымалывает  
ответа на вздорный вопрос  
и никаких вопросов и никаких доказательств  
особенно от противного  
ниц  
ни вздоха пошел бы лучше пройтись  
ни слева направо  
гарцуй корова  
ни солнца на плахе ни мухи под розгой ни грех  
удивляться не маленький  
братцы  
ни рабьего визга под занавес хватать в мозгу и  
каждый статист  
ни белой челюсти ни черной радости  
не дай  
не дай лебеда  
но лиши меня слуха зрения голоса  
войди в эту крепость  
швырни меня в лед  
свяжи по рукам и ногам  
выколи глаз отрежь мне язык и уши  
стань надо мной  
колесом с двенадцатью спицами

\*

Померк  
и стало сумрачнее  
    чем под властью татарина  
уходящему прочь  
снега не снега  
быльем поросло встревоженное навек  
и ночь тиха  
и соседка верблюдица  
морозоустойчиво как гор и седин  
клонится тень там никто не останется  
где обломал не допев серафим  
зубы  
    но если смыть вышел затемно  
вину  
    кому вызвездило до последней кости  
неси  
в заоблачные назвать его  
грудью в грудь ему лед донести

\*

Не то и не так. Просто. Короста или с какого возраста но до-рога точит рога. Вам радуга для кого дуга мне темна пришлось зовет рыба кость да со свистом. Весна хлопчет гремит пустельга. Не хочу. Об лед и чтобы ни лыка? Брось. Ну кому кремнисто? Кого-то жалко? Не новость. Надоест палачу балаболка? Пусть. Там чудно здесь холода здесь и там от стыда кто со дна голубея? Птица. Веретеница мерит версту любо-дорого ей пустыня но благодать да где там орлицыно дерево? Сквозь и гладь не измерено только блестит откуда напиток. Но если с дубом простится алмея поэту что остается? Дура. Столько вопросов что взять да бросить на смех курам просо клюйте пока по волнистой легка до звезды и не ждите седин не проси чтобы пел

он льды один и любимый. Где-то стая. Чей-то насест. Кто-то ест и жнет тебе мимо ли много пуста но дорога не жди ах иди ради бога сума. Просто. Как на ухо. Ли с холодком. Если ж страннице не о ком вздох и тих отшумел свое глядя малых сих в груди ну пусть не останется.

## ОТВЯЖИСЬ

корова и собачье прости  
я выкинул в море кости и здрасьте  
не стану ждать барского топора  
когда врежется в шею голоса как торговка  
многого прошу ли постоять в коридоре  
пока слова мои схватят за горло  
выпорхнут не успеете ахнуть  
и в бархатцы канут и

ВЫХОЖУ

## ОДИНОЧЕСТВО

Блошка Марьянушка прыгает на веревочке. Идет Василий: «Что ты, блошка, все прыгаешь?» «Потому, — отвечает блошка, — что у меня пузо чешется». Василий уходит.

Опять прыгает блошка и снова — на веревочке. Идет Ферапонт: «Что ты, блошка, все на веревочке?» «Потому, — отвечает блошка, — что упасть боюсь». Уходит Ферапонт.

Потом долго никто не идет, а у блошки язык уже чешется. Как подойдет, думает блошка, я ему тут же отвечу и оставлю на месте с носом.

Но никого больше нет как нет, и блошка Марьянушка, чернея от грусти, прыгает на веревочке до скончания века, потому что веревочка под блошиной тяжестью не оборвется ни за какие пироги.

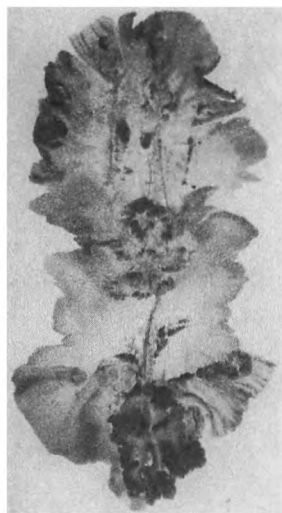
\*

Ты соловушка не соловей  
спяну воробушка не разбей  
возьму плетку  
ударю по переносице  
уйди с миром  
не смущай побродяг  
не горлань бесхлебный дурак  
о ворованном счастьее



Анри Мишо  
«Помраченные»

ПЕРЕВОД В. КОЗОВОГО



*Показываясь, они скрываются.*

*Скрываясь, они показываются.*

Страницы, родившиеся при разглядывании картин душевнобольных, мужчин и женщин в бедственном состоянии — тех, которые неодолимое одолеть не смогли. Большинство — под присмотром в лечебницах. Снедаемые тайным, невнятным, стократно выявленным и тем не менее скрытым недугом, они первым делом, в срочном порядке изливают свою невыразимую смуту.

1

Тот, кто от посягательств «окружающих» стремится убе-речься, отныне защищен неповергаемой телесной массой огромного четвероногого, в которой по-животному укрылся. Львиный хвост, завершающийся когтями и вдобавок способ-ный хлестать, застыл на страже, готовый к бою, концом по-давшись вперед.

Оборонительным порядком удовлетворен, он ждет. Ждет незыблемо, неприступно.

Гнездящееся под спудом беспокойство не помеха уверен-ности, восседающей на представлениях, чья укорененность не-колебима.

Монолит немоты, ни проникнуть в себя, ни пронять себя чем-либо не позволяющий.

Сфинкс, на наши вопросы не отвечающий и не шевелясь, бессловесно задающий вопросы *собственные*, глубокомыслен-нейшие из всех. Прямо в лоб и всегда те же самые.

Всею длиной опираясь на внушительное основание, облада-ющий знанием Невыразимого, сфинкс с человеческим глазом за-мер в позе, которую впредь ничто не должно потревожить.

Распластан, изрезан, раздроблен, в полнейшем забвении человеческих свойств, этот ничем теперь, кроме как почвой, себя не воспринимает — почвой, истерзанной до невозможности, с обвалистыми, безликими, высящимися-клонящимися глыбами, которая вовсе уже и не грунт, а волны разбушевавшегося моря — всклоченного земляного моря, где покоя не будет вовек.

В этой бесформенной форме, утратив себя, он еще существует, не в силах очнуться. Безостановочный распад.

Груды до бесконечности; груды, осыпи, трещины... Покатая развалина.

Волна, двугорбая, трехгорбая волна, волна, с разбега встающая стеной, ширь заполняющая до предела, глаза укрыла в своих ленивых завитках.

Грозным валом катясь и раскатываясь, без конца на него надвигаясь, она несет, уносит, вновь несет эти глаза, огромные глаза, пышущие упреком и злобой.

На весу средь вскипающей зыби, они впились в него, только его и видят, им только и живут: глаза-недоброхоты, горящие неистовством глаза, на волнах неизбывных, чей заряд колоссален.

Над жидкой, широко раскинувшейся гладью, в пироге колоссальной, тяжелогрузной, протестантской, рожденной Севером, торчит он одиноко — один, как может быть лишь тот, кто путь спасительный оставил в стороне, чтобы в краю зловещем прокладывать запретную тропу. Вокруг — вода: покой невозмутимый; без жизни, без любви — тяжелая вода.

На этой плоскостной горизонтали, где продвижение дается через силу, как если бы ему пришлось всходить по крутизне, уединенный человек, отшельник «Абсолюта», показан со спины, отвесный, как стена.

В нем дышит истовость единовластной Мысли. Истовость — против всех. Над всеми — убежденность. Но вместе с тем какая-то унылость, тоска вселенского конца, что-то несокрушимо-роковое разлито в этом холоде ландшафта, где проплывает тот, кто так обманывается на свой счет.

Тяжелая, из одного куска, пирога неторопливо рассекает мертвое пространство.

Небо нависшее. Однокрылые птицы. Деревья без веток.

## 5

Головы, прошедшие сквозь нечто не менее жестокое, чем смерть, и не сумевшие, разве что в скудной мере, сохраниться.

Головы прошлого, знающие ночь жизни, Потаенное, без имени Жуткое, на чем держится, опершись, бытие.

Борющиеся с маревом массы в попытках безнадежных отряхнуться, в единоборстве с охватившей топью.

Головы, сокрушенные глубоко, веру утратившие, вспоминающие.

Одна из них — примятая изрядно, с распахнутыми, порыбьи неподвижными глазами, чей зрительно-моторный нерв так, вероятно, стиснут, чтобы смотреть осталось лишь в упор, лицом к лицу, к другому, не лицом — вызовом, брошенным в лицо.

Нос огромный, выпирающий, вылезший, вывернутый набок, вкривь, весь кривой, от корня до кончика, вид имеет почти что в профиль.

Сверху, не искаженные вывихом, который, конечно же, малоприятен (как в ноздрях прирученных бычков кольцо), а то и

вовсе невыносим, глаза без страха — великолепный диссонанс, печать его недуга — ведут себя как ни в чем не бывало; в этом немыслимом, жесточайшем противоречии они держатся, они стоят на своем.

Обитатель раздерганного лица сдаваться не намерен.

## 6

С глухими окнами жилище.

Тень внутри грандиозна. Дышащая, массивная, сладострастная. Округлости, объемы. Дымка женственная сгущается. Потом что-то брезжит. Потом алчно гложет. Бисер черепов.

Сожаленья ли? Угрызенья? Убожество? Упрямство?

В оскверненном Дворце поселилась корова.

## 7

Лишась невинности, девчонка, на которую ревет олень, безропотно, с постелью и прочим заодно, тащит огромного каймана, готового нырнуть и под струями скрыться.

Цветы осыпаются, плоды сорваны, землистые корни выходят на поверхность. Так вспоминается насилие давнее, нестерпимое раз навсегда.

В нищете пожитков, в убожестве ложа, в угасающем колорите цветов, в крохотности сжатых рук, в гримасных извивах уносимого платья, в неистовстве вскипающих вдогонку ей клубов злокозненность вражеских сил *говорит*.

Склоняясь сверху — чуждые, с напускным благодушием лица, головы в ожерельях из слизней и червей, выражения существ холодных, никакой не сулящих опоры, застывшие, фальшивые общественные маски. Внизу слева — опять крокодил, вместе с жертвой скрывающийся под водой.

Снабженная стеклянной створкой (она не шевелится), голова-одноглазка, голова хилая, но строптивая, которая не даст себя обидеть и не позволит соблазнить, эта раздувшаяся, «знающая себе цену» голова есть та, что, с миром разорвав и строй покинув, висит здесь, держится на небывалой высоте.

Почти что вечность.

В уединении, сидя на куцой ветке, пусть недостаточной, но ей, решила, хватит, она обозревает скорее горизонт, чем землю, столь незадачливо покинутую ради беспочвенных высот — высот без будущего, без надежды их покинуть... и не таких уж, право, неземных.

Достигла цели.

В этой хилой, лишь мнимо выносливой голове раскрывается веер: то ли веер и впрямь, то ли вроде как некий павлин. И вот это самое, этот павлин, распускает здесь хвост.

Какие-то крысы — или же микроскопические, — на четырех лапках, человечки — носятся по земле. Она, однако, выше этого отродья.

Зона, в которой стал, заштилев, этот трехмачтовый корабль сплошной, необычайной белизны, весь белый до того, что просто ужас быть таким белым, необозрима и пустынна.

Пусть ветер, пусть безветрие или опасность ветра, — трехмачтовый, меняться не желая, он все равно не расснастится. Хрупкий, зато выстаивающий твердо, особенно против очевидности, особенно же очевидности изменчивого бытия, вот он, выстояв, и очутился в пространстве, где ничто уже не шевелится, где мертв данным давно последний ветерок. И вспять теперь повернуть невозможно.

Что ж, вокруг никого, ничего больше нет? Есть. В нескольких приоткрывшихся складках пестрой ткани пяти континентов обозначены на расстоянии жмущиеся в засаде цепочкой двусмысленные физиономии «других».

Угрожающие? Завистливые? Главное, на безопасной дистанции: предосторожность соблюдена вполне.

В тиши невозмутимой, где никакому шквалу не подняться, не убирая белоснежных парусов, кораблик девственный, убережен от скверны, застыл под ледяным непогрешимым небом.

## 10

Громадный Змей, в объятиях, как собственность, держащий пьянеющую тушу Матери-Земли, ей вырваться не даст. Смердно дышится рядом с ними, можно не сомневаться. И что он с нею творит! И что она с собой творить позволяет! (Таков Стыд в его невыразимости, все же выраженный без стыда.)

Огромная, с раздвоенным языком, голова похотливого демона следит за тем, чтобы Земля не приближалась ни за что к светящемуся конусу. Не так уж, впрочем, отдаленно сквозят прекрасные, прозрачные, животворящие лучи, однако, судя по всему, она вряд ли туда дотянется, поглощенная, зацелованная, отяжелевшая неизлечимо. Она к тому же опутана сетями, как если бы ей мало было одной вполне надежной хватки.

## 11

Круглый столик охраняем парой лебедей. Каждый лебедь охраняем парой оцелотов. Каждый из оцелотов (или пантер, или больших пятнистых кошек) — парой змей. Каждая из змей — шестнадцатью клиньями, а клинья — под присмотром бесчисленных зрачков, пристальных, испытующих.

Ничто укрыться не должно от полицейской массы. Ничто не может избежать всепроникающего Распорядка.

Во всем этом ощущаешь угрозу: вдруг охраны не хватит, вдруг бдительность притупится — вполне ведь достаточно будет и минутной рассеянности. Один невнимательный миг способен в ближайшие доли секунды спровоцировать разрушение, а затем и всеобщий распад.

Косвенное последствие какого-то Приговора? Не исключено.

Так легко в разных точках рвется внутренняя «согласованность» естества, что за безответственность нескольких расплачиваться будет, возможно, весь мир — мир, покоящийся фактически на плечах *одного*, которому больше нельзя отвлекаться: он теперь сторож незаменимый, единственный, кто посвящен, кто следит, кто в силах еще отсрочить надвигающуюся бескрайнюю гибель.

## 12

Лица вдавленные, втиснутые друг в друга. Агломерат из лиц с никчемной птичкой сверху, увенчанный нелепо, как дурочка для смеха на праздничной, хмельной от пива вечеринке. Лица грудой, в мареве лица, как в амнионе зародыш. Одно лицо съедается другим. Неудержимо одно к другому липнет, а то, другое, его претерпевает — и тонет в нем, и потихоньку гибнет. Лица всасывающие, с вытянутым языком травоядных, с видом паточным, тягостным, дряблым, слизисто вождедеющим, — и которые пожирают друг дружку не торопясь.

Какая-то физиономия-лакомка склеивает в одно всю шеренгу соседних физиономий, силясь их размягчить, сделать их еще мягче (все человечье так схоже, так поразительно схоже с тестом!), и лицеедство движется дальше, множится в холмике пресных, без выраженья, наружностей, которые друг друга ли-

жут, друг друга гложут и не могут остановиться, ностальгически устремляясь в бесповоротный дрейф. Царство теней земных, тех, кто лишился способности отторгать.

13

На некотором расстоянии от высочайшей Вершины — нечто вроде Ковчега. По сторонам — плотины. Люди, которых возьмут, другие, кого не берут: отверженные последнего часа. Покинутые, убогие.

Движение интенсивное, бесплодное, разбросанное, противоречивое, которому не видно конца... между тем как лучи солнцеподобного светила просвечивают без проку «на просторе».

14

Хищник, выбравшись из тюфяка, не обделен аппетитом. Его широко обнажившиеся клыки демонстрируют всем, что розами волк не питается. Пространство млечное знаменует брожение и восход, наплыв, водоворот и потоки блаженства.

Что ж теперь, интересно, произойдет?

Произойдет! С этим-то, к месту приросшим?

Застывшие, с поволокой, большие глаза, сосущие зрелище мира, созерцают снаружи то, что внутри, все вокруг себя, что попадется, перетапливая в молочко. Их скоро затопит, эти большие задумчивые глаза. В одном из них жидкость уже поднялась — и расплескивается, и струится вовне на фигуры, которых он больше не различает. И впрямь ли молочны эти молоки?

15

Вытянувшаяся, с подобранными ногами, беленькая кобылка. Ее голова, пусть поменьше объемом, уже явно встречалась

где-то на девичьей шейке, с выраженьем, которая эта неотличимо хранит, и вот та же, однако, тут, на лугу, на шее улегшейся животины, замечтавшаяся на влажной, тяжелой и скудно цветущей земле.

Сзади — густое, почти твердое облачко, странно похожее на беленькую кобылку, так похожую, в свой черед, на задумчивую девушку, на девушку, совсем еще «не тронутую», дивящуюся своему очарованью, которому нет конца.

Истома.

Дальше — странное, ширящееся, как бухта, пространство, куда стремятся войти странной породы облачко, странная с виду кобылка и повсюду как-то представленная одинокая девушка.

А какой на ней девственно-чистый покров! Как он, должно быть, нежен, нежен невообразимо, превыше всякого племенного покрова, — чудо единственное, неприкосновенное, на которое «им» неизбежно придется, остолбенев, покорившись, в безраздельном восторге оглядываться!

Такова на сельской картинке юная задумчивая девушка-лошадка, с которой все соотносится.

## 16

Женщина крупная, с пышными формами, со взбухшими, налитыми, завораживающими сосцами багрово-жгучего, как газовая вспышка, цвета, женщина-губительница, вся усеянная и увешанная дешевыми побрякушками, носит черную, шире обычной бархатной, маску вокруг глаз (глаза без простоты, глаза бесчестья и пошлого господства) и вот теперь в хвосте влачащейся, комически величественной юбки тянет за собой шлейф, в котором погрязли чьи-то фигурки: микроскопические фигурки мужчин.

Краски диссонирующие, вульгарные, как понос, выражают на свой лад то, чего бы она от мужчин хотела. Орудий пыток и

тирании не видно, зато видишь их преобразенными в свирепые колеры с хлещущими штрихами.

Кто, кроме ничтожнейшего из живущих, отзовется на их сигнал, не отрехшись заведомо от самого себя?

## 17

Четвероногое вялое, в этих никчемно-благообразных местах движущееся среди густых клубов, выставило из-под тяжких, слегка приподнятых завес, выпятило над зубастой меланхолической пастью пару глазищ, не совсем угасших, с запасом жидкости в слезном мешочке, — одним словом, луковичные, навывкат, глаза пятидесятилетнего алкаголика.

Нерешительное, проснувшееся не вполне, с видом липнувшим (по-видимому, след «падучей»), — можно всего от него ожидать.

Его проходящее в собачьем обличье под роскошными пошлыми драпировками, беспардонной навязчивостью гнетущее присутствие — присутствие неотступной низости, животной непредсказуемости, грозящего припадка — тяготит неизбывно, как вязнущая в воске сила.

Вязнущая — до каких пор?

## 18

Принадлежащее явно существу, ни на что не способному, — тело тощее, хилое, с двумя повисшими тшедушно ручонками, символами бессилия, зависимости и жизни по воле волн. Лицо, однако, значимо: выразительное, тревожное — лицо создания, не разобравшегося до сих пор в замыслах бога, который так часто к нему взывает, и так загадочно.

С ватного горизонта мощно восходит небо в двух долях: одна — эфирная, другая — забита крупными засохшими стручками.

Под этаккой массой как еще понадеяться?

Все равно: жизнь напрасная, жизнь загубленная, жизнь отверженницы устранившейся, упрятанной, приговоренной, но жизнь тем не менее как дароносица.

19

Ангел злой, ангел порока и смерти, ангел в золотистых лучах удерживает под собой сонливца, уже пробуждающегося, сонливца трепещущего, который становится маленьким, весь ссыхается и сходит наконец на нет... под грозным отвесом глазища без жара, похожего на глаз гиены и нагоняющего страх.

Меж тем как арфа цветет и некто вроде церковнослужителя подвергается членовредительству, которое, может быть, станет закланием, никто вокруг не удивлен. Никто, кажется, не замечает тут чего-либо странного, из ряда вон, вне порядка вещей и той неизбежности, с какой столкнулась душевная смута — его, бедолаги, смута, поглощающая без остатка: его мысль и сам он — внутри, как муха в сыре под стеклянным колпаком.

20

Темен, с глазами безумца, является демон душевного мрака. В цепких пальцах — игра судьбы, карты, требующие разгадки, таблицы тайн, ужасающие того, кто теряет в домыслах голову. Сверху — угрюмое, без снисхождения, небо, приговор уже вынесшее, слушать больше не собирающееся, — свод, его подавляющий, как если бы там не стихал стук пронзительных жестких тарелочек, отовсюду грохочущий, оглушительный, властно затыкающий рты.

Вдали стерегут две башни и сверкает болотистая гладь.

На исходе зловещей пагубы четыре-пять тощих невнятных цветочков торчат косо: нищие, скованные, натужные, жалкие.

.....  
Значит, жизнь еще что-то сулит?  
Что?

## 21

Занимая все место, загромождая горизонт, одна в диапазоне картины, громадная голова движется на смотрящего и, следовательно, на того, кто ее запечатлел и видел близящейся грозно, истребительно, помеченной кричащими чертами хищного господства. Без носа, без рта, без лба или с их неразборчивой смесью, обязанной нечеловеческой, вихреподобной силе, она устремляется, в темпе спокойном, но неукротимом, наготове имея в запасе несметный завоевательный резерв.

Лицо, возникшее из водоворота ненависти. Все, что в мире доньше было этому человеку враждебно, теперь — ставшее чистой энергией — здесь и держит на сей раз его в своей власти.

Заряженные дьявольским, почти клокочущим динамизмом, вспыхивающие вампировидными, — невыразимо-зверскими импульсами, глаза «командуют».

Никакого оружия нигде не видеть. Нет нужды.  
Одной неотразимости достаточно.

## 22

Тварь породы неведомой, буквально под носом, с чудовищной, жутко разинутой щелью, способной проглотить и следа не оставить от созерцателя, тотчас замороженного, тотчас гибнущего, в ком гибнет, главное, всякая воля к бегству. Падение в тенета плоти. Кого-то оно соблазняет наверняка.

Темные, сверху, глаза, сосуды зрения гипнотического, с прямым одномысленным взглядом, говорят без обиняков: «Ты надумал? Или еще подождать?» Ибо свобода выбора, кажется, входит крохой в правила этой зловещей захватывающей игры.

Зубы цепочкой несут — кое-как — охрану у входа. Почти прозрачные, они больно не сделают, разве что при выходе, если выход еще возможен.

На дне небной пещеры, в каких-то бахромчатых, шерстистых недрах, — ряд гибких черных пластин наподобие потемневшего китового уса.

Станный вход! Зев почти огненной красноты своей округлостью и совершенством изгиба приводит на ум изумительный пробег планеты вокруг своей владычицы Звезды — Звезды, от которой нет сил оторваться.

## 23

Она тонет в невнятном, эта девочка-монголоид, появившаяся на свет ниоткуда.

Смутная форма на смутной тропе, она шествует, повитая марево, та же дымка, только чуть поплотней, подвигаясь едва уловимо, как прошлое — в настоящее, настоящее — в будущее, сумеречность — в ночь.

Смутная и насквозь беззащитная.

Она не знает, кто она, она не сознает, что делала, когда мягким зеленым карандашом, невесомым касанием рассеянно выводила наружу, на бумажную гладь, эту бледную форму, бесформенную и призрачную, которая не столько шествует, сколько стелется — и хотела бы стелиться и дальше... не натываясь.

Перспектива сомнительная.

Свиток жизни только начал раскручиваться — и так скверно начал, о бедное, обделенное природой дитя.

Она еще не знает, что кто-то будет ее направлять... обтесывать упорно, бесконечно. Руки, ноги, ступни, другие части тела — всему, настаивают «эти», должно найтись у нее занятие.

Так решили работники в белых халатах, действующие по строгой системе.

Украдкой посматривают, дитя, на тебя, как принято смотреть на монголоида, убогого, невинного, почти не человека — и тем не менее...

## 24

Голова низколобая, с глазами тьмы и чудовищной пастью, своими заточенными клыками схватила, нещадно трясет и кромсает, крошит тщетный остов ненадежного прибежища.

Непоправимое свершилось, свершается, как свершалось уже многократно: та же самая, без конца возвращающаяся «расправа».

Новый приют, как все предыдущие, как предстоит и дальнейшим, выявлен и уничтожен, планка за планкой.

Беззащитному не устоять.

Униженному, сраженному, раздавленному нужно преобразиться полностью. Лишь тогда прибежище не понадобится и никакой хищник, ни днем, ни ночью, более не возникнет, во всяком случае, такой зубастый.

## 25

Черный-пречерный, весь черный сплошь, с носом, задраным непомерно (как вызов, последний брошенный вызов), с короткими бортами и кормой, корабль без пассажиров, без экипажа, без снастей, без всяких признаков того бравого вида,

который присущ всему носящемуся по волнам: корабль, который с водой не дружен и к морю не причастен.

Меланхолическое, с грузом черных воспоминаний, судно застопорилось... Ничто на борту не свидетельствует о предстоящем маневре.

Совершенно безжизненное, неподвижное, приблизительное, как две его черных мачты, едва обтесанные, не слишком прямые, оно не лишено, застыв, какого-то странно-величественного достоинства.

Отчего так? Быть может, сознание, как всегда, поражает зрелище безнадежной отваги, той твердости духа, когда ни удары судьбы, ни враждебность стихий, ни мучительнейшие лишения явно не в силах сломить и смирить свою жертву.

В нескольких кабельтовых — еще корабль, стоящий с тем же плачевным видом: две боевых единицы, которым плавать не нужно — только бы выстоять, не потонув.

Оба особняком, в том числе и один от другого, особняком, как скорбь, в которую чужаку вход закрыт, невеселые, как тайна печали, такой глубокой, что выдать нельзя, они замерли, мрачно «замкнувшись», лицом к опустелому, злорадствующе-пустынному берегу.

Говорящие тем не менее на свой лад, говорящие, на разных уровнях и по всем направлениям, о драме, о трагедии, эти морские посредники иной реальности: помраченного разума, бездействующей мысли, двигательных затруднений, — на неизбежно грубой, убогой, но все-таки существенной картинке воспроизводят нестерпимую, подавляющую и вездесущую напасть, которой страдалец не видит конца.

Апатичный, над окружающим не властный, один из тех, кто пан или пропал. Оказывается, пропал. Ему бы в свое время хоть

как-нибудь вооружиться, например, знанием или крохотным навыком. С теми картами, что у него на руках, игра заранее обречена — либо сложна чудовищно.

Отныне — пария, тот пария, которому не выбраться со дна. Мешает кляп, больше всего ему мешает, хотя не виден или виден чуть — и тотчас замаскирован.

Все, что он рисует, что еще нарисует, с чего бы он ни начал и к чему бы ни возвращался, завершается неразберихой. Какими бы, в самом деле, внушительными ни выглядели животные и человеческие формы, изображаемые поначалу, все они распадаются на куски, которые, в свой черед, — ноги и лапы, грудь, подбородок или сосцы — вытягиваются и увенчиваются ветвями, а ветви — нитями и волоконцами.

Схваченные и стянутые неисчислимыми линейными лассо, первоначальные изображения исчезли без остатка.

Итак, несообщаемое выдано не будет.

Но сомнение, подозрительность берут свое. И рисунок.

Теперь нити и волоконца сменяются письменами, которые он совершенствует, выводя их все тоньше и тоньше, покрывая и пронизывая так, чтобы, если придется, они не поддались никакой расшифровке. Тем самым оградив себя и свои тайны, он может наконец выражать их свободно потоком слов из тощих анемичных букв, в котором укрывается, который впитывает его монологи. В результате достигнута неразборчивость высшая, которая уж точно утомит терпение шпионов, надумавших в него проникнуть и его «присвоить».

.....

А впрочем, как знать. Потом рисунок, изуродованный многократно, будет разорван на мелкие кусочки, после чего развезен в отдаленных местах. Так надежней.

На картине их трое. В фас, рядом, стоя. Мужчина, женщина, ребенок. Та же шея, те же руки, та же поза.

Выражение то же: все индивидуальное устранено, отличительность личности стерта. Такими их изобразил человек, уткнувшийся в стену жизни: неразличимыми. Разнообразие чувств, в нем утраченное, утрачено во всех.

Ничего женственного в женщине, ничего детского в ребенке. Женщина своей талией не выделяется ничуть, и, посади мы на плечи мужчине ее голову, точную копию снятой, никто бы подвоха не обнаружил. Малец посредине, за вычетом своей малости, иной особенностью не отмечен.

«Семейный портрет».

Но он не смог преодолеть воцарившуюся в нем монотонность, чью печать он оставит на любом существе, какое будет впредь рисовать.

Безликость восприятия, его обособляющая, обособляет их. Способность отличать — соль Земли — выветрилась в нем непостижимо.

Ту же хмурую взрослую мужеподобность встречаешь как в женщине, так и в мальчишке — даже в собаке, когда он подчас вводит ее в картину: статиста с неизменным выражением замкнутого, застывшего мужчины.

Этот выучился когда-то живописи, писал по правилам учителей, в их манере рисуя формы, воссоздавая предметность, оттенки, жизнь.

В том месте, где его держат после какой-то тяжелой драмы, ему только что принесли чем писать: акварельные краски, листы бумаги, кисти.

Замешательство. Мучительность ситуации в придачу к мучительности душевной. Формы? Какие там формы! Бесформенность теперь его стихия, ее-то и нужно бы ему выражать, если уж что-то выразить нужно.

Что касается цвета... он теперь озабочен бесцветностью. Каким образом в цвете передать обесцвеченное, цвет потерявшее?

Ну а жизнь... она смысл утратила, жизнь, до полной противоположности; он в не-жизнь погружен, ей подвержен, ее наблюдает: вакуум жизни, мерзлоту жизни, немоту и застылость непреступных существ, — что он и выразит так или иначе, в меру возможностей.

То лицо, что он пишет, от цвета избавленное, протертое двадцатикратно и которое он норовит подчистить еще, побледнело настолько, что кажется лишь следом неуловимых испарений, пустым вместилищем изгладившихся черт.

Равным образом исчезает и тело, куцее, лишенное плотности, кое-где незавершенное, как если бы и без цельности его было достаточно. Изображенное тщательно в отдельных местах, в других — оно сплошной пробел, «терра инкогнита».

Из двух рук — но к чему теперь руки? — одна правильная, хотя непонятно, что ее прикрепляет к голому телу, вторая короткая, завершаемая... ростком. Царство растительное, ставшее, в сущности, его царством, где опять же нет ни движения, ни намерений, ни мыслей. Инертность. Рука застывшая, со стебельками на конце, на которые преспокойно садятся букашки.

Тело полураспахнутое, захлестываемое без защиты, как захлестнуты морем на океанографических картах территории с кружевными, изрезанными, ломаными берегами.

«Ничто» само собой заняло место плоти.

Пустота между ног поднимается, не задерживаясь, к области сердца, высоко внутри тулова, в самой груди, которую

рассекает до середины; там осторожно, робко восстанавливается бледное подобие тела, сложенное как будто из розовых лепестков.

Действительность — только воспоминание: приблизительное, отрывочное, пробуждаемое с трудом. Человек (что осталось) — завеса, тоненькая завеса.

Отношения с окружающим будучи мучительны.

## 29

Скромный интерьер: стулья, табуретки, стол, кресло.

Однако впечатление такое, как будто на картине кто-то вяжет. Атмосфера пронизана странной собственнической хваткой.

То ли нитки, то ли бечевки (или волокна шерсти) рожают связи (или преграды), каких изначально быть не должно. Комната лишилась свободы.

Головокружение. На следующей картине собственником, в свою очередь, становится кресло.

Усилие вязкое, поразительное, свою власть простирающее...

Над кем? Над чем? «Средой»? Человеком «желанным»? Или над уже завоеванным... и которого нужно вновь завоевывать без конца?

Доспехи и снасти слабых. В ком сил поменьше, тот берет уловками. Всем объемом комната держит, хочет, хотела бы удержать.

Удерживать — что это для нее, для той, у кого ничего больше нет, не осталось ни своих мыслей, ни собственного существования, ни родных, ни растаявших в прошлом нехитрых пожитков?..

Перепевы желаний. Удержать... но комната по-прежнему пуста.

Темны, бескрайни, беспроглядны — земля и небо, землистое неотлично.

Обломки. Длинный ломано-скачкообразный контур наполовину рухнувших строений: здания падающие, акведук расщепленный, церковь полуобвалившаяся, с перекосом, как будто шарахнулась от толчка, но стоит еще — диву даешься.

Акведук повис над голой землей. Гладь земная — единственное, что не тронута катастрофой.

На фоне удивительно опрятной, не вполне беспорядочной вереницы недавних развалин два человека, повернувшись к ним спиной, голенастые по-журавлиному, ведут беседу. Оба, правда, лишь полуодеты; по-видимому, неработающие. Действительно, такие позы, такой непринужденный вид встречается в салонах и в иных местах, предназначенных для людей досужих, у которых есть время, кого интересуют учтивые дебаты и незатейливая болтовня на первую попавшуюся тему. (Не потому ли у них такие тощие, плоти лишенные ноги?)

Два манекенистых человека продолжают разговор.

Конец света? Если так, последние в человечестве — два говоруна.

Глаз на лице — уже не существующий, как будто впитанный промокашкой. Осталась щель. Глаз, отказывающийся быть, не нашедший снаружи ничего по вкусу.

Другой, прикрытый крупным набрякшим веком, настроен, по-видимому, твердо впредь не оживать.

Человек свои ставни запер.

Мучительный и горький рот показывает явно, что глаз отнюдь не ради грезящихся цветиков и чар с такой бесповоротностью задернут, не для разглядывания затейных конструкций

подсознания, но единственно чтобы замкнуться в беде, раз навсегда укрыться в беде, там, где все недействительно, кроме скорби.

На расстоянии, в виде рдеющей, угрожающей неровной черты горизонта, — пожар, узкие губы чудовищного пожара. Пламя, которого не унять. Никто теперь остановить его не сумеет.

Еще далекое, уже обступающее, видимое *ему одному*.

## 32

Человек этот мальчиком, в незрелом детстве, сидевший на лошади, долго еще вспоминает приятеля-великана.

В мелких обыкновениях юного, в ссоре с миром, городского мечтателя проглядывает лошадиная кровь.

Резвый конь, поводя ноздрями, выбегает, уносится, опять тут как тут, нетерпением распираемый, безудержный в нетерпении.

Иной раз лошадка выглядит так, будто поглощена заботой, не обыкновенной заботой, а серьезной, безотлагательной озабоченностью Невыразимым, всем тем, что переходит, что переклестывает за грань повседневности.

Его ведь тоже занимает, неизмеримо больше всего, таинство Абсолюта. Такова даже, можно сказать, его миссия: лошадь-левит... Как смотреть без неловкости на всякого предстоящего?

Изъян изъяном, а довольствоваться ничтожеством данная лошадь не согласится.

## 33

Картина:

На четырех куцых лапках — тело вытянутое, зачаточное, трубообразное, мужской головой вперед, грудь короткая, бока

(таз) длины непомерной и зад торчком, раздутый, вздернутый, распахивающийся, как горло саксофона, анус-горло; такой предстает эта нескончаемая человекотакса.

Что она все-таки человек, доказывает не утратившая значения голова этого беспредельно стесненного существа: голова высящаяся, чтобы могла наблюдать, и мощный румпель, чующий то, что чутать необходимо.

На другой стороне анальная, еще более важная часть — сток разнузданный, сток отхожий, сток-устье непреборимой утробы — собрала все подряд, как обвал, в сплошной поток невменяемости, чьи тлетворные массы, накатываясь отовсюду, захлестывают, топят, душат беспомощное сознание. Все это, громче, тише ли, выразит саксофон. Вместо слабой апатичной персоны в нем прокричит истошный сумбур ее дна, ее мрака, ее гипертрофированного до чудовищности нутра. Подноготная, о стеснениях позабывшая, ставший раструбом анус, грянуть готовый под аккомпанемент густых и сердитых контрабасовых нот, чьи три ключа, за отсутствием самого инструмента, нарисованы крупно у него по бокам, с тем чтобы в гуле смешавшихся звуков хотя бы несколькими управлять. Отяжелевшая, помраченная глубь обретет свой напев.

Звуки саксо-контрабаса — для признаний самых подспудных, самых смущающих, самых завораживающих, самых неудобопроизносимых, касающихся всего, что с ним творится в его исковерканном существе, что затопляет его нечистотами и что он хотел бы, если удастся, вытолкнуть на белый свет, в уши тех, кто по-прежнему отказывается понять.

В низкорослом, так странно тянущемся теле этого монструозного животного предмета, чья неподвижность обманывать не должна, высказано без разбору то, что всякий порядок изгнав, теснит и давит в загроможденном, утратившем свое «я» человеке, который натужливо, небезопасно, нескладно еще пытается кое-как наобум себя восстановить.

Человек меченый.

Все должно было пройти через круг. В том была его жизнь: пройти, нужно пройти через белизну. Не хватило упорства. Сил не хватило, чтобы первоначальный порыв удержать. А потом зло болезни пришло — еще сорвался, еще увяз, еще затопило... Восхождение теперь невозможно.

На фоне обыденном он и сейчас меченая фигура.

Меченым ходит, меченым ложится, меченым живет. Прежде не позволявший блуждать, светящийся круг не дает забыться. Плененный небом круг, оберегающий его от жалких авантюр.

Носитель знака. Этого у него не отнимешь. Прочно сидит на нем, внутри картины, большой белый круг.

У круга немало врагов; как только увидят, тотчас свирепеют.

Может быть, есть круги и в затонах погубленных душ? Круги подспудных озарений, круги мерцающих теней? Одним пятном обозначены все, кто в массе этих и тех предопределен изначально.

Раз навсегда.

Ощущение надвигающейся катастрофы сосредоточено в этих местах... и весь мир художника с бессмысленной улыбкой.

Существо минимальное: ни человек, ни обезьяна, ни ангел. На всем сказалась преждевременная поглощенность Смертью.

В своей меланхолии он теперь приобщился к первоосновам естества.

Мрак сгущается над планетой, все более зловещ.

В стороне — беспорядок, лишь кажущийся беспорядком. Даже самая очевидная несообразность предметов опять-таки с

чем-то сообразуется, выражая именно великую несообразность всего, во всем ту же самую, со всем лезущим несогласуемо, вкривь и вкось одно на другое — но лезущим только затем, чтобы поспеть к роковому исходу.

Конец света — для умеющих видеть, для умеющих распознать смысл предвестия.

На другой картине светило — огромное кровавое светило — заполняет собой всю поверхность: грядущее.

Однако даже на самых хаотических картинах всякий раз остается чистенькое, абсолютно невозмутимое местечко.

Станным образом этот уголок сохраняется, не тронут как крушением миров, так и, в свой черед, ни малейшим унынием, иступлением или порчей.

## 36

Тот, кто здесь, на этой картинке, показывается, обвив ноги вокруг головы и с рукой, вылезавшей из груди, — не символ, не уподобление, не претенциозность и не чудачество: так, как есть, как изобразил, он это испытывает, с такой безнадежностью в себе ощущает.

Даже если ноги на шее, какими он их нарисовал, могут иметь нечто общее с «ноги на шею закинуть»<sup>1</sup>, выражением, чей комизм, несуразность, абсурд, попадая все разом в точку, поражают его, как ничто, и действуют гипнотически, главное — то, что своей навязчивостью оно лишней раз напоминает ему о его плачевном состоянии, никак не вяжущемся со смехотворным словосочетанием, которое приходит в голову другим.

---

<sup>1</sup> Буквальный перевод выражения «prendre ses jambes à son cou»: дать стрекача, улепетнуть. В русском языке идиоматического аналога не существует. — *Прим.перев.*

Подбородок свисающий, вьющийся бахромой (!) — как слизь какая-то, как тошнотворная блевотина, — это ведь правда, правда, сушая правда.

В мучительном рывке выходит из плеча конечность: недосугающая рука (?), больше похожая на шланг.

Ему не нужно искажать действительность: сама действительность, какой он ее чувствует, какой отягощен, — то, что осталось от прежнего тела, — предстает теперь настолько обезображенной, что сжиться с ней заново уже невозможно.

Кто в таком состоянии, с подобной бедой позволит отвлечь себя захватом заложников, беспорядками в каких-то дальних территориях и войсках?

Он слышит, как где-то на самом дне в уши ему кричит голос иной, голос витии, теснящий пространство, впитавший всю мировую премудрость, отовсюду способный его достичь и достать в незащитных глубинах, чтобы высказать, чтобы твердить ему то, чего он никогда не хотел бы услышать: нескончаемый смрадный укор.

## 37

Он уже ослабел и слабеет неудержимо. Полутруп в лихорадке, он вот-вот сдастся, сдастся придется.

Мало-помалу прибывают фигуры, населяющие Тот Свет. Близящаяся смерть привела их в движение.

На подушке — лицо заострившееся, с чертами запавшими, ничего предпринять в свою защиту не способное. Сопrotивляемость по капле растеряв, теперь он в самый раз: изнемогший и вскоре недвижимый.

Фигуры неспешные, неотвратимые, надвигающиеся как будто стелясь, ничем не поддерживаемые, бледные, безволосые, головы невыразительные, как у безусых тюленей или пумальбиносок, и в знак равенства — почти сферические.

Он — сама импульсивность (качество в эти минуты нелепое): весь осунувшийся. Они — откормленные, без забот, сгустки неземного покоя, витающие над незримым потоком. Наготове, в ожидании последнего перед концом содрогания

Атака начнется на рубеже или чуть раньше. Умеющие собой владеть, они, кому не терпится на новоприбывшего хлынуть, со всех сторон сжимая и тесня, подстерегают без неуместной горячности.

В углу *«картины наступления смерти»*, которую нарисовал этот мучимый страхом, Земля — все земное, конечно, — рушится одновременно.

Клочок серого горизонта — обрывок Былого? — как прощальный ливень вдали.

## 38

Невзрачная, ставшая чинной, строгой, с манерами гувернантки, в иные минуты напевающая, в другие — вспыхивающая внезапно бурным гневом, эта женщина, лишенная очарования, на бумаге чарами блещет.

*Замкнутая. Независимая.*

О внешности своей забыв, она выставляет на красочной глади свою полнокровную отныне грудь, пышущую желанием возбуждать желания.

Прелести, оставшиеся втуне, теперь превозносимые в сотнях картин, вздувшиеся, перламутровые, опаловые резервуары нег, эти груди мечты возникают, даруемые без удержу: дары, перед которыми никто в мужской толпе устоять не сумеет.

Ее тело, ее новое, расцветающее на бумаге, любовным голодом одержимое тело без конца предлагает мясистую, распираемую соками грудь, с какой, вконец ослепительной, хотя в чем-то малом отличной, появляются Клеопатра и другие прославленные в веках любовницы, красуясь без выражения «в рост»,

и только сосцы, вызывающие, приманчивые, магнитные, — одни на всех, всюду с кончиком красным-красным, почти кро-воточащим: неизменные раны той, что зря прождала и не стала избраницей.

Как еще ей отдаться — девушке гордой, которая занята сейчас рисованием и что-то невнятное бормочет под нос?

Покуда старческая, в трещинках, рука завороченно, яростно кладет и растирает приторные тона податливости или похоти, на запестревшем листе показываются истомившиеся, все с себя сбросившие невесты: воздыхательницы раздутые, с телом-аэроостатом, с лицом в экстазе, с глазами без зрачка, без радужки, без склеры, сплошь синими, небесно-голубыми, небесными насквозь, — с глазами, каких всем прочим не дано, которые, себя не помня, тонут в блаженстве без предела.

Тут-то любовный пост и кончается.

Та, которую только любовь наследного принца, мельком когда-то замеченного верхом, в роскошном мундире, за решеткой великолепного парка, могла бы удовлетворить вполне, запертая, презираемая, в убогой одежке, в узком пространстве больничной палаты, берет теперь неслыханный реванш в этой ни с чем не сравнимой свободе.

## 39

Она принялась вдруг швырять в окно все подряд: бусы, кольца, браслеты, какие-то драгоценности, и, выхватывая из бумажника, деньги тысячами, вразброс, и следом — подушки.

Платья сыплются на тротуар. Уже нагая, она швыряет новые.

Ужас обладания. Нестерпимое, непозволительное обладание.

В минуту прозрения спала завеса. Она видит, как это низко — обладать, хранить, умножать.

Иметь на себе одежду ей стало невыносимо; из круга сученных, сгрудившихся вещей понадобилось тотчас вырваться.

Отвратительно было желание завладеть, держать при себе.

После этого в высшей степени личного, но все же публичного (замечен с улицы) поступка ее лишили свободы.

Сперва она говорила много, скороговоркой, не умолкая, потом — почти ни звука.

Как всем другим больным, которых побуждают рисовать и красить, ей однажды вложили в руку цветные карандаши и положили перед ней на стол лист белой бумаги.

В апатии она рассеянно роняет там и сям несколько точек и штрихов, потом внезапно, внезапно и уже без остановки, — цветы: цветы, лишенные опоры.

Цветы бесхитростные, с простыми, просто окрашенными лепестками, цветы-приношения, цветы-самородки, невинностью дышащие цветы. Много. Много.

Теперь — ни слова, теперь — навсегда.

Цветы, цветы; только цветы.

Дар, дарить, всю себя раздарить.

«Ведь ее от нее же самой надо было спасать...»

Цветы — ее единственный ответ. Цветы, цветы, цветы.

## 40

Ни на каких деревьях, ни в каком парке, нигде во владениях Королевы цветов подобных не встречалось; никаким летом, ни в какой стороне, ни в каком царстве.

Кроны странных сосредоточенных деревьев на всех своих ярусах, по всем ветвям перегружены ими, густыми, мясистыми.

Кущи великодушия, дарственно разметавшиеся, разросшиеся, раскинувшиеся; безудержные ради сдержанной девушки цветы райского древа, единственного.

О, эти цветы, если б их только тронуть, какую бы ощутили мы нежность!

Так сердце убогой с мучительным телом привечено в его великой скорби нерассуждающим радушием природы.

В отраду ей, всем исстрадавшимся в отраду, особенно же, девушка, чтобы тебя, безумную, согреть.

Чтобы поправить непоправимое — всюду эти растения с тысячами раздвинутых губ: слепящие, неотвязные, необходимые.

Плодов на заросшей картине не видно; редкие листики, краска на краске. В этой цветочной перенасыщенности чувствуется какой-то пресный осадок.

## ЧЕЛОВЕК ДВУХ КУЛЬТУР\*

Меньше всего я имею в виду идиллию. Быть, как Вадим Козовой, человеком двух культур — или двух литератур, обе из которых он, по словам ценившего его Мориса Бланшо, «блестяще знал» и к обеим из которых «принадлежал своим творчеством»<sup>1</sup>, — состояние отнюдь не безоблачное. Уж скорее, тут вспомнишь старые слова любимого Вадимом Тютчева:

Две беспредельности были во мне,  
И мной своевольно играли оне.

Но еще труднее и многократно драматичнее стать человеком двух культур в стране, невротически закрывшейся от мира, в обществе, где официоз десятилетиями насаждал равнодушие и недоверие к другим, думающим и говорящим иначе, взращи-

---

\* В основе статьи — выступление на международной конференции «Русская поэзия — французская поэзия», организованной Мишелем Окутюрье и Элен Анри-Сафье в Парижском университетском центре Мальзерба 14–16 марта 2002 года. Для публикации («Иностранная литература», 2002, №7) исходный текст был значительно доработан.

<sup>1</sup> Maurice Blanchot. *Poésie et temps* (машинописный «внутренний отзыв» 1988 года на программу работы В. Козового в Национальном центре научных исследований — здесь, как и во всех других случаях ниже, я цитирую тексты по материалам, хранящимся в архиве вдовы поэта, Ирины Емельяновой, которой приношу глубокую благодарность; переводы с французского во всех случаях принадлежат мне. — Б.Д.).

вал непонимание, нежелание понять разномышленника, где укоренялась душная неприязнь ко всему чужому.

После смерти Вадима Козового французский историк и искусствовед польского происхождения Кшиштоф Помян назвал русский ум своего друга «в то же время глубоко и полностью европейским» и добавил: «В своих книгах, в самой своей личности он воскресил это единство, которому русская культура обязана несколькими из собственных вершин»<sup>2</sup>. Поэт — его ум, сама его личность — и язык, Россия и Европа соединены здесь не зря, как не случайно с подобным единством связываются и высшие достижения русской культуры. В чем логика такого соединения и что эта более общая логика приоткрывает в жизненном, творческом пути Вадима Козового, в логике этого пути?

Первыми в голову приходят, конечно, сделанные Козовым переводы французских поэтов — Гюго и Нервала, Бодлера и Малларме, Лотреамона и Рембо, Клоделя и Валери, Реверди и Аполлинера, Шара, Мишо, Деги и многих других<sup>3</sup>. Казалось бы, так. Но ведь сам поэт на их примере говорил об «отвращении к переводу... упроченном истинными муками, какие ... испытывал, когда помогал другим ... втискивать свой голос в «кадаверическую» жесткость французского синтаксиса и письменной речи» (имеется в виду работа Мишеля Деги и Жака Дюпена над переводами стихов Козового, завершившаяся выходом двуязычной книги<sup>4</sup>). Но ведь он, презирая племенной национализм, все-таки напористо аттестовал себя «русофи-

---

<sup>2</sup> Poésie, 1999, № 89, p. 7.

<sup>3</sup> Значительная часть их собрана в антологии: Французская поэзия. Перевод В.М. Козового. М., 2001. Полную библиографию публикаций поэта, включая переводные, см. в кн.: Твой нерасшатанный мир: Памяти Вадима Козового. Стихи, письма, воспоминания. М., «Прогресс-Традиция», 2001.

<sup>4</sup> Vadim Kozovoi. Hors de la colline. Прочь от холма. Version française de l'auteur avec la collaboration de Michel Deguy et de Jacques Dupin. Postface de Maurice Blanchot. Avec des illustrations de Henri Michaux. P., Hermann, 1984.

лом», а русский и французский языки называл «противоположными полюсами». Больше того, Козовой, кажется, и вообще считал перевод несовместимым с «бескомпромиссностью поэзии». Как же тогда понять его пожизненную привязанность к переводам? Ведь много раз переписанные и вновь и вновь переписываемые по-русски «Озарения» Рембо сопровождали его буквально до последних часов. Собственный вариант ответа у Козового таков: есть внутренняя, не рассуждающая корысть поэзии, и поэзия (подчеркну, поэзия, а не «литература»!) ищет «сродства душ» вот в такой неожиданной, парадоксальной, форме, умножая и углубляя различия.

Поэзия (а поэтический перевод — одна из законных и полноценных форм поэзии в новое время, свидетельство ее усложнившегося существования) идет от различия между естественным языком и языком стихов. Так называемый родной язык — всегда словно чужой поэту, то есть одного языка поэту мало. Вместе с тем, он чужой еще и в ином смысле: только благодаря другому языку, причем маячащему — проступающему, ускользая — внутри твоего родного, вообще становятся возможны стихи. Но точно так же и только так становится возможным перевод, этот ответ на стихи другого. Поэтому язык поэзии, объединяющий через различие, всегда ощущается как мимолетно опознаваемое «целое», обособленное и всеприсутствующее здесь и сейчас даже на слух. И хотя этот язык никогда не дан до конца, в любом стихотворении, любой строке, в ее фрагменте он воплощен «весь», воспринимается разом, как единство («в Слово сплочены слова», по Пастернаку). Больше того, это единство — моё, это и есть «я».

Таков один полюс языка, полюс тождества — Козовой называл его утопическим, а я назову адамовым, райским. Он для поэта исходный и определяющий; им, как бы он ни был недостижим, жива поэзия. Второй полюс можно назвать историческим или полюсом различий: здесь говорит послевавилонс-

кое многоголосье «другого» с напластованиями разных эпох и укладов, переплетением ремесел и биографий, включая горячую, горячечную речь нынешнего дня. Козовой называл эту разноречивую поэтическую материю интонацией, а искусство нового времени — интонационным. Для него оно определялось переживанием «роковых минут», разрыва времен, и предчувствием их апокалиптического конца — ницшеанских сумерек и смертельной борьбы богов. Двойственность, которую чувствует в поэзии новейший поэт и его неразлучная аватаропереводчик, — не просто индивидуальная черта, психологический бзик: она связана с самим современным миром, с новым статусом и состоянием языка в нем, с расколотым мироощущением послеромантической эпохи. Об этом новом чувстве и назначении языка писал еще Вильгельм Гумбольдт: язык для него вынужден принимать в себя «двойную природу мира и человека, чтобы передавать их взаимное действие друг на друга»<sup>5</sup>.

В этом смысле семантический и символический барьер «чужого языка» — своего рода вечный двигатель перевода, его *primo motore* и вместе с тем *regretuum mobile*. В сознании переводчика, его внутреннем «театре», подобный барьер — что-то вроде ramпы: в соотношении с ней на сцене появляются и вступают во взаимодействие такие фигуры, как «я», «другой», «я как другой», «никто» (не я и не ты, но любой и всякий). Вместо понимающего истолкования в филологии поэзия предлагает прямое действие — перевод: действие через разрыв, в самом разрыве, самоощущение раны. Отсюда — «поэт в катаст-

---

<sup>5</sup> Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984, с. 305. Процесс рождения новой теории и практики перевода из нового отношения к языку у романтиков, прежде всего — Гёльдерлина и Августа Шлегеля, был обстоятельно и тонко прослежен филологом, эссеистом, переводчиком Антуаном Берманом (1942–1991), см.: Berman A. L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. P., 1995.

профе», сказанное Козовым, как точно отметил Кшиштоф Помян, не только о Пастернаке, но и о себе самом.

«Я — другой» («Je est un autre» Рембо) — исток и закон поэтического слова в новейшее время. Переживая чужое как свое, а свое как чужое, чувствуя себя чужаком любому природному языку, переводчик делает чужое опосредующим. Так он работает с речью: выращивает в своем родном наречии другой язык, способный усвоить и передать чужое. Тем самым он создает новое, уже не *натуральное*, а *символическое* измерение языка, без которого его детский язык и не смог бы повзрослеть, стать для него языком культуры — путем к другому. Как не смог бы такой неповзрослевший язык и выстроить, вместить, сделать понятным другому его, поэта, стереоскопическое «я», которое, словами Рембо, «есть другой». Вызов, который улавливает переводчик в воздухе эпохи и ответить на который он берется, это вызов недостачи, вызов со стороны нехватки, обращенный к его «я», к самим основам его «я» — материнскому языку. Не став языком перевода, не дорастая до способности переводить — то есть, не испытав, не впитав, не преобразив в поэтическое действие интерес говорящего на родном языке к чужому и к языку чужого, — этот родной язык останется обедненным, однобоким, плоским. А не достигнув этой воображаемой взаимности и полноты, он не сможет в полной мере ощущаться даже и как родной. Провалы и сбои в переводе (говоря не о невольных ошибках, а о косноязычии, спазме, афазии, подстерегающей немоте одиночества, самоизоляции, некоммуникабельности) происходят не от слабого или неточного знания переводчиком чужого языка: это признак его натянутых отношений с природным языком, неестественности его отношения к себе.

Антологию французской поэзии XIX—XX веков, над которой Вадим Козовой работал фактически всю сознательную жизнь, он в наброске предисловия к ней называл «собранием того, что русский поэт любит в чужой поэзии и что, на его взгляд, ему

удалось передать в поэзии родной, с достаточной точностью и надлежащей силой... главная задача поэта — сделать переводимое обогащающим фактом русской поэзии». И пояснял в дружеском письме: «Главное добиться впечатления, что данную вещь писал ты, со всей силой, на какую способен, но “ты” другой, лишь потому с предельной смелостью оригинальному поэту изменяющий, что хочешь остаться ему верен в наивысшей степени...». В наиболее развернутом виде соображения о возможностях, цели и цене поэтического перевода представлены Вадимом Козовым в краткой, но чрезвычайно насыщенной «Заметке переводчика», которая завершала в 1998 году его публикацию русскоязычного Малларме в журнале Мишеля Деги «Поэзи». Там он писал: «...каждое твое следующее слово — независимо от любых технических задач — целиком остается *внутри* русской поэзии и, значит, подразумевает *соперничество* с тем, что переводишь... Либо сделанный тобой перевод со всей вложенной в него строгостью станет фактом, обновляющим твои собственные стихи и поэзию, которая пишется сегодня на твоём родном языке, пусть даже её ресурсы представляются тебе окончательно исчерпанными, — либо игра вообще не стоит свеч ... подобная задача со всеми откликами одного поэтического языка в другом, одной интонации, преодолевающей границы разумного — а также заумного и даже безумного — языка, в близкой ей другой, выходящей за такие же границы своего наречия, понятно, не уместается в сферу чисто цивилизаторских трудов по просвещению и популяризации»<sup>6</sup>.

Скажу еще раз: источник и двигатель переводческого труда по Козовому — сознание смысловой катастрофы, гностическо-

---

<sup>6</sup> Vadim Kozovoi. Note du traducteur // Poésie, 1998, № 85, p.179. Это эссе, вместе с другой русской и французской прозой поэта, а также подборкой его писем, вошло в книгу «Тайная ось», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2003 году.

го несовпадения, неустранимого разрыва вещи и смысла, смысла и слова, речи и языка. Поспешная мысль будней предпочитает скользить подальше от таких разрывов; твердолобая власть чувствует в подобном скандале угрозу и измену, вызов себе. И, надо сказать, чувствует верно. Поэт — и переводчик поэзии — это испытатель языка на отзывчивость, а значит и мира на прочность: разрыв и усиление смысла он носит в себе. Козовой даже во французской поэзии выбирал для себя то, что расшатывало, говоря словами Целана, «решетки речи» («Sprachgitter»), что и в «классическом» по ясности галльском наречии жило самыми границами слова — выбирал не просто труднейшее, но как бы уже и не принадлежащее языку или еще до него не дошедшее. Близко знавший Вадима французский социолог, историк, переводчик русской литературы Алексис Берелович в недавнем личном разговоре заметил, что Козовой, задолго до вынужденной эмиграции в 1981 году, уже создал для себя пространство на границе существования, в конце пятидесятых, читая за колючей проволокой лагеря новейших французских поэтов, — того же он искал потом и в слове как поэт, как переводчик. Характерно, что в своей, составленной уже во Франции заявке на издание «Озарений» Рембо в собственных переводах Козовой писал, что этот шедевр французской литературы «торчит» в ней особняком, каким-то ни на что не похожим “монстром” и что «Рембо вышел за пределы устоявшегося письменно-синтаксического французского литературного языка, буквально взорвав его экстатической речевой интонацией».

И, конечно же, прав писавший о Козовом Морис Бланшо: непереводаемость поэзии — «вовсе не в непосильном переложении с одного языка на другой, а в самом первородном языке, в том, что ускользает в нем именно тогда, когда дается в руки, не оставляя и только что оттиснутого следа, который всякий раз тут же стирается». Поэтому первоочередная для Бланшо задача поэта (переводчика как поэта и поэта как пере-

водчика) — «переложить *главное* в этой чужеродности языка. Но мало того, переложить на такой язык, который никогда не дан тебе так, как дается родной: это некая ритмическая траектория, где важен лишь переход, напряжение, модуляция, а вовсе не точки, которые при этом минуешь, не пределы, которые не определяют здесь решительно ничего. Тем самым поэзия становится как бы воплощенной тягой к переводу, который сама же делает невозможным, или бесконечным переносом, к которому вызывает, тут же его отбрасывая или перечеркивая»<sup>7</sup>.

«Перевод, “это безумие”, — завершает Бланшо, цитируя здесь Малларме, — становится для нас несбыточной необходимостью... Написанное на родном языке поэта, стихотворение уже и всегда отличается от этого языка, его то ли восстанавливая, то ли устанавливая впервые. Вот это неустранимое отличие, эту коренную несовместимость и схватывает переводчик, ею он сам и захвачен, а это, в свою очередь, изменяет уже его собственный язык, заставляет данное ему с детства наречие двигаться в непредвиденном, небезопасном направлении, отнимает у него то равенство себе, ту однозначность, которые, в противном случае, ...свели бы язык к “здравому смыслу”»<sup>8</sup>.

«Traduire, “cette folie”... Жизнь в разрыве не противостоит для Козового жизни во взаимодействии, в диалоге: поэзия питается энергией их напряжения, током конфликта. Отсюда двуязычие Вадима — не просто адаптивное, бытовое, но творческое, литературное, необходимое его поэтическому слову. Отсюда его постоянная переключка с множеством ушедших и живых — в стихах, эссе, письмах, надписях на книгах, уличных разговорах и ночных беседах, в его деятельности переводчика, публикатора, комментатора русской и французской словесности.

---

<sup>7</sup> Maurice Blanchot. La parole ascendante // Vadim Kozovoi. Hors de la colline, p. 121.

<sup>8</sup> Ibidem, p.126.

Его жизнь поддерживали и несли два крыла: поэзия и дружба. Обоими этими дарами он был награжден с избытком, об их связи писал в эссе к девяностолетию Мориса Бланшо<sup>9</sup>. Еще раз вернусь к рассказу о первых годах Вадима во Франции, когда он вместе с Мишелем Деги и Жаком Дюпенем готовил для издательства «Hermann» книгу своих стихов в переводах на французский язык. Вот как об этом рассказал недавно, уже после смерти Козового, Жак Дюпен: «Помочь переводу Вадима на французский значило для нас хотя бы на несколько медяков уменьшить наш ему общий долг. В этом самоперекраивании из одного языка в другой ему, нам приходилось отделяться от себя, чтобы над собой подняться, отрывать от себя, чтобы начать видеть, углубляться в подземные жилы и залежи двух наших языков. В их складки, жерла, расселины. Скользить, проваливаться, нырять. Чтобы добыть энергию, жажду, необходимую двузначность. Воля к различению, отделяющему волоконец от волокнца, высвечивает узлы, перекрестки, общность. Труд всепоглощающей неточности, какое-то нечеловеческое переплетение несоединимого...»<sup>10</sup>

Картина, только что вызванная французским поэтом в памяти (три собрата, бьющихся каждый над собственным родным языком и тянущихся к чужому, — опять-таки, каждый к своему — чтобы прийти к какому-то незнакомому, пока еще неизвестному для них общему), кажется парадигмой современной словесности, чуть ли не ее аллегорией. Чем заняты у нас на глазах трое друзей? Они повторяют первичное движение поэзии в Новое время: ищут единое через разрыв, свое через чужое. Но, поглощенные этим, они на деле, в собственной борьбе с собой и другим, в этом одолении/подчинении, схватке Иакова с ангелом, воспроизводят формулу современности (modernite Бодлера и Рембо), больше того — саму матрицу культуры как ее «язы-

<sup>9</sup> Vadim Kozovoi. Pour Maurice Blanchot// Poésie, 1997, № 82, p. 106–109.

<sup>10</sup> «Твой нерасшатанный мир». М., «Прогресс-Традиция», 2001. С. 231.

ка». А вместе с тем как бы возвращают в ответ России — *donnant donnant*, по заглавию книги Мишеля Деги<sup>11</sup> — тот дар, который она в свое время приняла от Европы, создав русскую литературу XIX—XX веков в качестве отклика на услышанный и принятый ею европейский вызов. Не зря Козовой, незаурядный медиевист и глубокий знаток российской старины, в собственных стихах тяготевший к архаике Аввакума и Державина, раннего Гоголя и Лескова, Ремизова и Хлебникова, в своих переводах был полностью сосредоточен именно на новейшей эпохе или, как он ее именовал, «*ars nova*» — от романтиков через сюрреалистов до второй половины теперь уже прошлого столетия<sup>12</sup>. Как бы по некоему биогенетическому закону поэзии он повторял в своем индивидуальном пути путь своей страны, историю ее словесности. Ведь только там и тогда, где и когда Россия чувствовала себя не посторонней современности, а деятельно и дружески участвовала в ней вместе с Европой, заодно с миром, она и приходила к своим наивысшим вершинам. Не случайно, говоря о такой поэзии, без которой невозможно жить и которая держится сама собой, «ни на чем», Козовой называл протеическое имя «Пушкин». По мысли Козового, для подобной, «поверх барьеров», дружбы культур даже «время, погибель и смерть» — не враги, а сообщники, и «Пушкин там целует Хармса, Батюшков ходит в обнимку с Кафкой, Мишо выкидывает коленца рядом с Розановым, а Нерваль бормочет на ухо Тютчеву...».

*Борис Дубин*

---

<sup>11</sup> Michel Deguy. *Donnant donnant*. Paris: Gallimard, 1981.

<sup>12</sup> В отчете для Национального центра научных исследований в 1997 году одной из главных тем своей работы — не отделимая в ней политики от культуры, а исследований от публикаций и переводов — Козовой указал «разрыв времен» в его связи с языком авангардного искусства или, точнее сказать, *ars nova* и среди знаменательных для этой эпохи имен поставил рядом Достоевского и Ницше, Рембо и Малларме, Блока и Цветаеву, Пастернака и Валери, Хлебникова и Малевича.

## СОДЕРЖАНИЕ

*И. Емельянова.* «Существо вне гражданства столицы»

«След двух прошедших лет» (письма)

1981	февраль.....	17
	ноябрь.....	18
	декабрь-1.....	36
	декабрь-2.....	39
1982	январь.....	44
	март-1.....	55
	март-2.....	61
	май.....	69
	июнь.....	82
	июнь — июль.....	99
	сентябрь — октябрь.....	133
	октябрь—ноябрь.....	148
	ноябрь.....	179
	ноябрь—декабрь.....	217
	декабрь—1983 январь-1.....	228
	декабрь—1983 январь-2.....	248
1983	февраль—март.....	287
	«Прочь от холма» (стихи).....	287
	<i>Анри Мишо.</i> «Помраченные». <i>Перевод В. Козового</i> .....	333
	<i>Б. Дубин.</i> Человек двух культур.....	364

**Козовой Вадим**

## **ВЫЙТИ ИЗ ПОВИНОВЕНИЯ**

Директор издательства *Б.В. Орешин*

Зам. директора *Е.Д. Горжеская*

Зав. производством *Н.П. Романова*

Подписано в печать 17.02.05. Формат 60×84/16

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Печ л 23,5 Тираж 500 экз Заказ № 14

Издательство «Прогресс-Традиция»

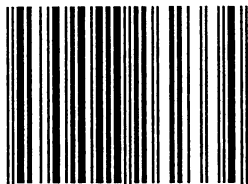
119048, Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 9

Телефоны. (095) 245-53-95, 245-49-03

Отпечатано в ООО «4 цвета»

140006, г. Люберцы, ул. Южная, д. 22

ISBN 589826233-4



9 785898 126233 4



